

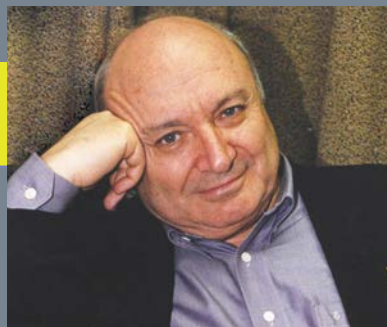
Одесский
альманах

№88

1 / 2022



ДЕРИБАСОВСКАЯ ШРИЦЕЛЬЕВСКАЯ



PLASKE
ПЛАСКЕ

УДК 908(477.74-25)+821.161.1(477)'06-92](082)

Литературно-художественное издание

«Дерибасовская – Ришельевская». Альманах

№ 1 (88), 2022

Издается с 2000 г.

Учредитель и издатель: Издательская организация АО «ПЛАСКЕ»

Редактор: Феликс Кохрихт

Редакционная коллегия: Евгений Голубовский (заместитель редактора), Олег Губарь, Иван Липтуга, Михаил Пойзнер, Алена Яворская

Технический редактор: Геннадий Танцюра

Верстка, корректура: Татьяна Коциевская

Не периодическое издание

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии «ТакиБук»

Украина Одесса ФЛП Карпенков О.И.

Свидетельство ОД №21 от 20.01.2003 г.

Тел.: +38 (067) 486-20-34

E-mail: takibook.odessa@gmail.com www.takibook.od.ua

Тираж 100 экз.

Заказ № _____



ISBN

Літературно-художнє видання

«Дерибасовская – Ришельевская». Альманах

№ 1 (88), 2022

Видається з 2000 р.

Засновник і видавець: Видавнича організація АТ «ПЛАСКЕ»

Редактор: Фелікс Кохріхт

Редакційна колегія: Євген Голубовський (заступник редактора), Олег Губар, Іван Липтуга, Михайло Пойзнер, Олена Яворська

Технічний редактор: Геннадій Танцюра

Верстання, коректура: Тетяна Коцієвська

Не періодичне видання

Надруковано з готового оригінал-макету у типографії «ТакиБук»

Україна Одеса ФОП Карпенков О.І.

Свідоцтво ОД №21 від 20.01.2003 р.

Тел.: +38 (067) 486-20-34

E-mail: takibook.odessa@gmail.com www.takibook.od.ua

Наклад 100 прим.

Замовлення № _____



© «Дерибасовская – Ришельевская», 2022

От редакции

Альманах «Дерибасовская – Ришельевская» объявляет конкурс на короткий иронический (юмористический или сатирический) рассказ памяти Михаила Жванецкого. Хотим заметить, что пару лет назад мы успешно провели конкурс короткого рассказа, ограничивая авторов количеством слов – до 192 слов в тексте, напомнив, что это количество ступеней в Потемкинской лестнице.

В этот раз мы просим присылать рассказы в две компьютерные страницы – до 4000 знаков с пробелами. Оценивать будем не размер, а философичность, глубину постижения жизни. Помните, Жванецкий как-то написал: «Литература – это искусство избегать слов». Во всяком случае – лишних слов.

Прием текстов с 6 марта, дня рождения Жванецкого, до 6 июня, дня рождения Пушкина. Рассказы направлять во Всемирный клуб одесситов – odessitsclub@gmail.com (на конкурс). Решение жюри будет оглашено ко 2 сентября, ко дню рождения Одессы. Победители получают премии, средства на которые выделяет фонд члена Президентского совета клуба Михаила Ревы.

Всем желаем успеха!

Если вы читаете сейчас эти строки, то появилась уверенность, что очередной, открывающий год номер нашего альманаха все-таки вышел в срок и не нарушил уже ставшего привычным порядка: он уже двадцать с лишним лет поспекает к первому месяцу весны. Раньше наша мотивация объяснялась особым отношением – уважительным и не только – к прекрасной половине человечества, а нынче диктуется и 6-м марта – днем рождения Михаила Жванецкого. В его честь и память учрежден литературный конкурс, о котором вы уже прочли.

Есть еще одна особенность нынешнего номера – в числе 88: оно интересно не только математикам и нумерологам, но и тем, кто знает: восьмерка, прилежшая на бочок в космосе, – древний символ вечности, а пара увеличивает шансы на вечность вдвое...

А нам, да и вам, наши читатели и авторы, сегодня очень нужна надежда, да что там – уверенность в том, что строй альманашных книжек не оборвется на этой магической цифре. На нынешний выпуск собраны средства – спасибо тем, кто нам финансово помог, но хочется, чтобы увидел свет номер, в котором мы объявим лауреатов конкурса памяти Жванецкого на лучший короткий иронический рассказ – это должно произойти на День города, в сентябре, в номере 90.

Мы передадим все рассказы с конкурса памяти Жванецкого в музей-квартиру Жванецкого. Сейчас и город, и клуб заняты созданием этого музея. Наталья Жванецкая передает все фотографии, личные вещи писателя, пластинки и кассеты с его выступлениями. Город, а этим руководит мэр Одессы Геннадий Труханов, укрепляет дом, приводит в порядок двор на Старопортофранковской, 133. Надеемся, эти работы завершат ко дню рождения Михаила Жванецкого, к 6 марта. Вот и первое оправдание знака – вечность. В музее тексты рассказов должны храниться, как и остальные экспонаты, вечно.

И еще на что хотим обратить внимание читателей этого номера альманаха. Уже не первый раз в преддверье 8 Марта мы отдаем разделы прозы и поэзии женщинам – прозаикам и поэтам. Уверены, что женская проза и поэзия не уступают по глубине, тонкости мужской. Так что наши писатели-мужчины подождут свои публикации до июня, до дня рождения Пушкина.

Читайте наш альманах. Как говорил Михаил Михайлович Жванецкий, мы всегда рядом.



Михаил Жванецкий

Где находится любовь?

Цветок не ищет пчелу.

Он привлекает её.

Цветом, ростом и сладостью глубоко внутри.

Надо искать дружбу...

А когда она спадёт, под ней окажется любовь.

Часто настоящая дружба возникает от общего диагноза.

Стоит обратить внимание на окружающих в очереди к врачу.

Чаще ходите пешком. Вас заметят.

Гуляйте с собакой... Собаки всегда водят на поводке приличных и симпатичных людей.

Отсюда прямой путь в ветеринарную лечебницу. Там должна быть масса интеллигенции.

Не суйтесь в гламурье. Ни вам их, ни им вас нечем брать. Ничего хуже гламурья для любви нет.

И даже после того, как на вас подсчитают костюм, туфли, прикинут, что вы стоите суммарно, – разговор будет итогово идиотским:

– Теперь расскажите, кто вы! Кем? Кем отец? Вы в чём? Вам сколько? У вас сколько?..

В поисках в ней человека вы пройдёте эту девушку насквозь и не встретите её человеком.

Идите в аудиторию, на выставку... Там и побогаче, и покрепче.

Где ещё водится любовь?

В книжном магазине. И особенно в провинции...

Почему-то все в поисках любви съезжаются в Москву, а любовь остаётся в провинции.

Поезжайте из Москвы на лето в маленький городок и там чаще ходите пешком.

И вы увидите, и вас заметят.

Это я про любовь.

Я не про звериный секс мохнатым животом об татуированный зад.

Любовь – это не путь к достижению чего-то.

Это состояние уже достигнутого.

Любовь где?

Там, где она. Вам не надо искать это место.

Это место ВЫ.

Привлекайте, стойте и разговаривайте.

К вам подойдут.

Возле вас присядут:

– Вы не подскажете...

– Почему не подскажу...

Там может быть что-то не так, когда вы встанете...

Кто-то намного выше, у кого-то что-то со здоровьем...

Поэтому предупредите, как меня когда-то...

– Я встану, только вы не смотрите, ладно... У меня в детстве произошло...

– Ладно, – сказал я и запомнил её на всю жизнь.

Мама сказала:
– Если б у тебя было две ноги, ты была бы красавица.
Так что здоровые добиваются стоячей женщины.
Она всё равно долго не простоит.
Смелей, она уже пошатнулась.
Надо продолжать говорить.
Уже села – продолжайте говорить.
Уже шатается, но сидит...
Есть! Перестала сидеть...
Продолжайте говорить. Не замолкайте.
Всё! Вам залепила рот поцелуем...
Всё. Тушите свет.
Кстати, вопрос, где находится любовь, как и вопрос,
где находится душа, до сих пор наукой не исследован.
Вперед, пытливые умы!

Продолжаем жить по Жванецкому, впитывая его уроки.
В этом году 2022-й мы тихо встречали дома – дочка, внучка, ее ка-
валер и я. А в компе тихо шел фильм Рязанова, мы не мешали героям
смеяться, но хоть видели его сотню раз, смеялись с ними.
Как хотелось бы смеяться, не плакать, а смеяться весь 2022 год.



Юрий Михайлик

Никто не прав

* * *

Что поделаешь – время прощаться,
ритуалы твои отменя.
Если волны в твой берег стучатся,
то одна – прямым от меня.
Летним дождиком – легким и кратким,
пролечу над ночной тишиной,
чтоб разбиться на скользкой брусчатке,
на коричневой, на обливной.
И в туманную осень врезаясь,
оборвется тревожный сигнал,
чтоб тебе хоть на миг показалось,
будто ты этот голос узнал.
И в порту, у пустого причала,
вдруг приснятся железные сны,
где безумная чайка кричала
то, что было важнее тишины.
Так что жизнь – небольшая утрата,
потому что с тобой – на века –
и багряная строчка заката,
и волны голубая строка.

* * *

А что если Атлантида
всплыла, обросла льдом
и, вырядившись Антарктидой,
врывается в каждый дом.

Град, обезумевший ветер,
в небесах свинцовая тьма.
Где-то июль – лето.
Извините, у нас – зима.
Деревья, рухнув, повисли
на проводах тугих.
Конец света в буквальном смысле,
а также во всех других.
Континент как кораблик в буре,
ветер рвет остатки снастей,
сила ветра и температура –
никаких других новостей.
Мачты падают, рвутся ванты –
лед вырос на крыльях рулей...
Все наверх, господа атланты!
Надевайте что потеплей.

* * *

Итальянский лукавый амфир кое-где обретается здесь,
утверждая, что весь этот мир состоит из морей и небес.

Да, мой друг, из небес и морей, ибо море лежит у дверей,
небеса тишиной голубой берегут синеву под собой.

Из морей, из чужих якорей, из огней, уходящих ко дну,
если темный Борей январей до Босфора гоняет волну.
Отдохнув после шторма, волна – тише радости, жизни нежней,
наша память всегда солоня, наше море еще солоней.

Мир опять состоит из небес, выбирающих нас наугад.
одаряющий светом чудес, белизною своих колоннад.

Двадцать дивных колонн на холме подпирают тугой небосвод,
там, за ними, взывая ко мне, море дышит и небо живет.

Триптих

1.

Над Петроградом в белых небесах
стоит луна, от ужаса дрожа.
Адмиралтейский ангел на часах
опять проспал начало мятежа.

Ночной патруль. Матросская проверка.
Дверь хлопнет за спиной.
На саночках серебряного века
да с горки ледяной.

Попомнишь эту горку удалую –
с раската прямо в грязь,
от стужи, смерти и от поцелуя
лишь муфтой заслонясь.

2.

Никто не прав. Ни здесь, ни на орбитах
холодных звезд.
Наш путь из трилобитов в троглодиты –
увы! – не прост.

Черным-черна от злобы и пожара
за нами степь.

Мы все, что помещается в гитару,
успели спеть.

И только запах, горький и отвратный,
сгоревших трав,
он говорит, что нам пора обратно.
Никто не прав.

3.

Не нужно пророчеств. Но там, вдалеке,
под дождиком редким
ты будешь слова выводить на песке
случайною веткой.

Нездешним богам и чужим берегам
досталось под старость,
но тех, кто умел прочитывать по слогам,
уже не осталось.

И только встревоженный хищник лесной
почует – и страшен, и жалок –
не век ледяной, не шаги за спиной –
слабеющий запах фиалок.

* * *

Черное море. Белый пароход.
В небе вместе с нами облако плывет.
А ночью небо низкое – со звездочкой во лбу.
Крымскую, Колымскую гуляй свою судьбу.
Фуражечку надвинув, по морю идет
«Адмирал Нахимов», белый пароход.
Огни во мрак навькат, трофейный исполин,
но, извините, выкрест, – он раньше был «Берлин».

Ах, все уже предсказано – в грядущем и в былом,
все давно завязано двойным морским узлом.
В городочке Пинске помнят – кто кем был.
Секунд-майор Нахимов был раньше Самуил.
Он принял христианство по узелку причин,
он выслужил дворянство и офицерский чин,
А сын, Пал Степаныч, российский адмирал,
себе он, как положено, судьбу не выбирал.

Ах, городочку Пинску отпущено сполна –
он слишком долго помнил иные имена.
У этих рвов под Пинском морская глубина –
первая, пятая, девятая волна...
Черное море. Белый пароход.
Встречным сухогрузом разорван правый борт.
В небе бывшим длинным отзвуком возник
плывший над Берлином долгий женский крик.

Короткие зарницы. У них на уме –
бортпроводницы в кренящейся тьме,
там девочки-студентки глядят изглубока,
как белые по небу всплывают облака.
Крымская, Колымская удача и беда,
о том, что знает море, – на море ни следа.
Пенные сплетенья по гребням веков –
волна качает тени белых облаков.

Ах, все на свете связано, срифмовано давно,
по небу размазано, ахнуло на дно,
а глядя из моря – все наоборот,
там голосом горя скрипочка поет –
светится, колеблется, тает и поет –
белое море, черный пароход...

* * *

Евгению Голубовскому

В этом сборище скифских, гуннских и готских прибрежий
ни промеров, ни лоций, ни зла не найти, ни добра,
и останки галер попадаютя реже и реже,
а все больше подводные лодки, торпедные катера.

Это греки включали кораблекрушенья в поэмы,
археологи бредят, а я и гадать не берусь –
что же было в тех амфорах? Ибо погибла трирема
меж Харибдой и Сциллой, и волны похитили груз...

За три тысячи лет эти скалы укрылись в сказаньях,
обменявшись местами, исчезло добро или зло.
Через тысячи лет эта форма и есть содержанье,
тем, кто знает об этом, неслыханно повезло.

Просто белая глина своевольна, как белая пена,
виноградной лозы измышляя капризный извив,
средиземный орнамент таится в морях неизменно,
ни волны, ни струны в дивных замыслах не повторив.

Пальцы мастера – глина хранит торжество и дрожанье.
Винным камнем иль масляным крыто пологое дно.
Жизнь наполнена жизнью. Эта форма и есть содержанье,
продолжение в вечность того, что постичь не дано.

Ни следа на песке, кто стоял здесь, потерю оплакав.
Ни следа на воде, кто тонул, пропадая в беде.
Но сосуд возрожденный три тысячи лет черно-лаков –
эти люди танцуют в городах, не возникших нигде.

Что же было в тех амфорах, смытых и морем разбитых?
Масло, уксус, вино? Но морская волна наизусть
сохраняет далекий зеленых соленых забытых,
обжигающих память, горчайший и сладостный вкус.

* * *

Прилетает орел для расправы –
и клюет ему печень,
древнегреческой скукой и славой
навсегда обеспечен.
Вот опять он клюет и бросает,
то ли вправду наелся,
то ли впрямь от рутины спасает
и титана, и Зевса.
Мы Зевесовы сроки отбыли,
догорает эпоха,
то, что мы ей огня не добыли, –
тоже, в общем, неплохо.
Что ж, над нами унылые грифы
не попросят добавки,
ибо нам не легенды да мифы –
только сплетни да байки.
Если вдуматься честно и строго –
что там сверху витает?
И богов в этом небе немного,
и орлов не хватает.



История, краеведение

- 16 Андрей Добролюбский**
Мир гарпий и каллипидов
- 31 Константин Васильев**
Два одесских периода жизни профессора
Всеволода Викторовича Стратонова
- 43 Виктория Коритнянская**
Одна из тысячи историй о войне...
- 58 Татьяна Потапова**
Мы из «Солнечного»
- 66 Феликс Кохрихт, Михаил Пойзнер**
Нашему Губарю
- 70 Рафаэль Гругман**
Исхода жертвенный алтарь

Андрей Добролюбский

Мир гарпий и каллипидов

«Местность, занимаемую Одессой» (выражение проф. Ф.К. Бруна), в VII-III веках до н. э. античные поэты, философы и историки Гомер, Гесиод, да и Геродот считали страной «вечного мрака». Ее населяли гипербореи, киммерийцы (они же галактофаги), скифы, алазоны, каллипиды, гарпии, андрофаги и многие другие. Они вполне могут восприниматься как «загробное», так и реальное население. Общим у всех этих народов был обычай съедать не только врагов и соперников, но и всех своих родственников по достижении ими 60 лет – пенсионного возраста.

Территории вокруг Одесского залива в те времена были обиталищем *гарпий* (древнегреч. *Ἄρπυιαι* – *похитительницы, хищницы*). Эти гарпии отличались, прежде всего, своей редкостной зловонностью. Эти же гарпии, судя по карте Птолея, и размещались в самых зловонных местах причерноморского побережья – в устьях нынешних лиманов от Дуная до Буга. Из них едва ли не самым зловонным (хотя одновременно и лечебным) является Куяльницкий лиман у Жеваховой горы. Затхлые и сероводородные запахи здесь, как известно, повсеместны. Во все времена. Они побуждают к мыслям о смерти и бренности бытия. И, конечно же, такие места священны.

И действительно, когда, согласно рассказу Гомера, Одиссей пересек Океан и достиг его крайнего предела, там он увидел «народ и город киммерийских мужей, которые окутаны влагой и тучами». В эту страну никогда не заглядывает солнце, ее несчастные обитатели живут в постоянном мраке. А мрак – это царство Келайно, одной из гарпий. Значит, он попал в царство Гарпий. А возможно, и в город Гарпис. Очевидно, именно они



Карта Птолемея

испускают вокруг себя упомянутые сероводородные и гнило-болотные запахи.

С гарпиями, которых Клавдий Птолемей поместил в приморской части междуречья Днестра и Днепра, невозможно однозначно связать какие-либо археологические памятники. Иногда археологи их соотносят (видимо, по мнимому созвучию: гарпии – карпы) с фракийскими памятниками карпо-даков в Восточном Прикарпатье.

Зато с местами проживания гарпий, которые прославились не только исключительным зловонием, но и крайне дурным нравом, можно вполне определенно и обоснованно связывать многочисленные природные объекты, отличающиеся своим подобным же «зловонием»: сероводородные лиманы, источники с крайне неприятным запахом, гнило-болотный смрад приднепровских и прикарпатских плавней – иными словами, всю приморскую часть

вокруг нынешней Одессы. Именно здесь они размещены на карте Европейской Сарматии Клавдия Птолемея. Правда, ни Птолемей, ни многие другие картографы специально не отмечают здешнего «тяжелёго духа». Зато он отмечен в подобной местности в Приазовье. Так, Гераклид Понтийский в IV веке до н. э. сообщает, что около Меотиды (Азовское море) есть озеро с таким дурным запахом, что его не могут даже перелететь птицы. Видимо, это известное «гнилое» озеро Сиваш (цит. по: [1, 133]). Впрочем, есть мнение, что птицы вовсе не желают перелетать эти места – там идеальные гнездовья.

Дополнительные, не слишком чарующие обоняние вкус и ароматы придавал этой местности источник Эксампай (Exampheus fons, Ἐξάμπαϊος), отвратительную воду которого специально отмечает Геродот. Здесь, к западу от «торжища Борисфенитов», по реке Гипанису, он помещает племя каллипидов. Там же граничат владения каллипидов и алазонов, а Тирас и Гипанис сближают свои течения, Гипанис принимает горький источник Эксампай (Мертвовод или, возможно, Черный Ташлык) [2, 5].

В «Хорографии» Помпония Мелы рассказывается, что Гипанис «рождается из большого болота, которое местные жители называют его матерью... недалеко от моря принимает он из малого ручья по прозванию Эксампай настолько горькие воды, что и сам, начиная отсюда, течет, на себя непохожий и не сладкий». Однако и до Помпония Мелы в сочинении знаменитого архитектора и механика Витрувия (I в. до н. э.) «Об архитектуре» имеются сведения, что река Гипанис, приняв в себя маленький ручеек, стала горькой на вкус. Витрувий сообщает и о причине такого явления: он говорит, что ручеек протекает по земле, богатой жилами «сандараки», отчего вода становится горькой.

Поэт Овидий повторил в своих «Метаморфозах» общеизвестную, по-видимому, характеристику вод Гипаниса: «Что же? Разве рожденный в скифских горах Гипанис, ранее того сладкий, не испорчен горькими солями?». Впрочем, Иордан, восприняв сообщение о горьком ручье, портящем вкус воды в большой реке, спутал название реки, и сведения, относившиеся к Южному Бугу, написал Днепру. Употребляемый им термин «Infectus» точнее всего переводится просто как «инфекционный», «зараженный», иног-

да – «окрашенный». Хотя первоначальное значение глагола «inficere» – «макать», «красить». Этот глагол, кроме того, означает: «смешивать», «растворять», «портить», «заражать».

О гарпиях пишет тот же Птолемей. Они соседят с певкинами, живущими в устьях Истра, а «внутри материка до реки Гиерас» (Прут или Сирет) живут, по его словам, «гарпии ниже тирагетов-сарматов, бритолаги выше певкинов». Им же при описании побережья к западу от Днепра названы, с координатами, устье реки Асиака, город Фиска, не известный другим античным авторам, устье реки Тираса, упоминаемая Страбоном Гермонактова деревня и, наконец, город Гарпис.

Если попытаться его локализовать по силе «дурного запаха», то на место Гарписа должна претендовать Жевахова гора. Однако Птолемей ясно указывает на морское побережье западнее Тираса. Значит, «резиденцией царства Гарпий» была Гермонактова деревня с замком Неоптолема в районе Затоки и Будацкого лимана, запахи которого также далеки от благовонности [3, 40].

Для Гомера «гнусные гарпии» – олицетворение критской богини смерти в образе бури (Одиссея, песнь 1, стих 237). Они коварны и похищают беззащитных дев (песнь 20, стихи 66, 78). Видимо, они этим занимаются вместе с галактофагами («питающимися молоком») и при посредстве гиппемолгов («доителей кобылиц») [4, 73-74]. В том же контексте Гесиод, со своей стороны, описывая здесь же «землю галактофагов, что дома имеют на повозках», указывает на гарпий, которые сюда, на край земли, уволокли несчастного и слепого фракийского царя-прорицателя Финейя.

А Финей был несчастен потому, что никак не мог поесть – ему не давали гарпии, отвратительные крылатые существа женского пола, которые, как только Финей усаживался за трапезу, спешили во дворец, хватали со стола что попало, а оставшуюся пищу заражали таким зловонием, что ее невозможно было есть. Когда Финей навестили аргонавты, он умолял Ясона избавить его от гарпий. Иначе он ни за что ему не скажет, где достать золотое руно. Но Ясон при всем своем желании не смог помочь – когда аргонавты с Финеем сели за стол, явились гарпии и немедленно нагадили всем в пищу. А самого Финейя уволокли к галактофагам, в Скифию. Здесь Финей повторно женился на скифской принцессе

Идее. И с ней вернулся в свою Фракию. А крылатые сыновья Борея – Калаид и Зет – прогнали отсюда и гарпий.

Но и в Скифии Финей никак не мог спокойно поесть. Он чуть не умер от голода. И выяснилось, что гарпии в данном случае были невиновны. Оказалось, что вторая, скифская жена Финей Идея, как свидетельствует Диодор Сицилийский, обманывала своего супруга. Она утверждала, что гарпии крадут его пищу и заражают зловонием ее остатки. А на самом деле это совершали ее собственные слуги по приказу своей госпожи. Тогда те же Калаид и Зет разоблачили происки Идеи. И перестали преследовать бедных гарпий, которых оклеветала злая скифянка. Возмущенный Финей в гневе отправил Идею к ее отцу. И тем избавил себя от голодной смерти. А реабилитированные гарпии были отпущены на свободу [5, 440-441].

Именно такие «дамские» страсти кипели в «местности, занимаемой Одессой», когда сюда попал Одиссей. Здесь, в «стране вечного мрака», и царствовала, как уже говорилось, одна из пяти сестер-гарпий – Келайно («мрачная»). Ее сестер звали Аэлла, Аэллопа, Подарга и Окипета. Согласно греческой теогонии, их родителями были морской бог Тавмант и океанида Электра. Они были внуками Геи и титанов Океана и Тефиды и имели также сестру Ириду. Аэлла была «бурной», Аэллопа – «вихреподобной», Подарга – «быстроногой». Она же была матерью волшебных коней Ахилла – Балия и Ксанфа, отцом которых был Зефир. Окипета была всегда «стремительной», а Келайно всегда оставалась мрачной, угрюмой и сумрачной. Все они были, естественно, богинями смерти. Как, впрочем, и их «коллеги» по ремеслу – покровительницы и наставницы Одиссея Кирка (Цирцея) и Каллипсо («скрытая», «скрывающаяся»), жившая в пещере на острове-усыпальнице Огигия («древний», «первозданный», «океан») [5, 540-541]. Все эти дамы были необычайно капризны и стервозны.

Есть мнение, что название «гарпии» происходит от греческого глагола «похищаю», так как в греческой мифологии гарпии являлись похитительницами человеческих душ и детей. Они изображались в виде полуженщин-полуптиц, были противницами олимпийцев в их борьбе с титанами и вообще символизировали хаос. Иногда изображались в форме, соответствующей форме свастики.

У гарпий очень плохая репутация в мировой культуре. Они стали восприниматься как сверхъестественные существа, одно из олицетворений космических сил зла. Они – виновницы шторма и всегда являются причиной внезапной смерти человека. Они же – космическое воплощение порока. Борьба с гарпиями составляет один из сюжетов Аргонавтики. О гарпиях упоминал Вергилий. Сюжет о гарпиях присутствует и в «Песне о Роланде». В Средние века они символизировали нецерковную музыку и использовались как геральдические знаки [6, и др.].

Слово «гарпия», как известно, стало нарицательным. В седьмом круге дантовского ада гарпии едят на листьях колючего кустарника, в которые воплотились после смерти души самоубийц. Только страдая от кровоточащих ран, причиняемых этими тварями, которые оскверняют все, к чему прикасаются, грешники могут получить искупление своих поступков.

При этом известно, что Одиссей во время своего посещения Аида лично с гарпиями не сталкивался. Но зато на обратном пути ему довелось познакомиться (или суметь избежать



Гарпии

знакомства) с их близкими родственницами – четырьмя двоюродными сестрами, тоже богинями смерти – сиренами. Сестры обитали на одном из понтийских островов близ материкового Аида.

Напомним читателю Гомера, что Одиссей с оставшимися спутниками на пути из царства Гарпий и Аида возвращается на остров Айайа, где хоронит Эльпенора – одного из своих спутников. Кирка, встретив их с неподдельным восхищением, предупредила, что теперь им придется миновать остров сирен.

О сиренах известно, что они подобны гарпиям, и также вырезались на каменных надгробиях. Их тоже изображали в виде хищных птиц, которые только и ждут, чтобы овладеть вылетевшей душой. Как и у гарпий, у них лица женщин, но тела птиц. Их было четыре: Парфенопа («юнолика»), Лигия («звучная»), Аглаопа («прекраснолика») и Телксиэпея («очаровывающая словом»). Они, как и Каллипсо, или Кирка, вполне могли обитать на острове-усыпальнице Огигия (Березань). Или на острове Левке (Змеиный).

Сказанное означает, что все путешествие Одиссея, по сути, проходило в Понте Эвксинском (Аксинском), в «море, принимающем мертвых». Поэт Василий Капнист был в этом совершенно убежден еще в начале XIX века. Значит, после знакомства с сиренами свое очередное испытание при возвращении домой, на Итаку, – пройти между Сциллой и Харибдой – Одиссей должен был преодолеть уже у черноморского выхода Босфора – у известных скал Симплегады (или Планкты) (греч. *Planktos* – блуждающий).

Литература о гарпиях и сиренах необозрима. Для нашего сюжета важно подчеркнуть лишь то, что одесское черноморское побережье, как, впрочем, и черноморское побережье Болгарии, с островами между ними, является их «исторической родиной». Это территория между двумя Одессосами – фракийским и скифским. Именно отсюда гарпии и сирены распространились по всему миру. Со всеми вытекающими последствиями для окружающих.

* * *

Помимо гарпий в районе нынешней Одессы в античные времена известны также некие *каллипиды* (*Καλλιπίδαί*). Они описаны Геродотом как племя, обитающее между Тирасом и Гипанисом (совр. Днестр

и Южный Буг): «...от торгового порта Борисфенитов – а он из приморских поселений всей Скифии самый срединный – первыми живут каллипиды, которые являются эллинами-скифами» [7, IV; 17-18]. Имя *каллипиды (Callipidae)* встречается также у римских авторов Помпония Мелы, Плиния и готского историка Иордана [8; 116].

Хорошо известны и изучены археологические памятники, которые были оставлены каллипидами [8; 114-118]. Они относятся к V-IV векам до н. э. и охватывают весь ареал южной части между речья Буга и Днестра.

Принято считать каллипидов скифским племенем, отличавшимся от других своей сильной эллинизацией. Имеется и иное мнение – каллипиды были отдельной самостоятельной кастой, или корпорацией, – жрецами-прорицателями, или «гадателями». Такой самой высокопоставленной жреческой корпорацией были *энареи* [9; 174-179, 190; 10; 178-196].

Этимология имени каллипидов, как и энареев, совершенно неясна. По Геродоту, они обитают в низовьях Гипаниса. Здесь были сосредоточены скифские святыни и культовые центры. При этом указание Геродота на факт занятия каллипидов земледелием нисколько не опровергает толкования их как жречества. Предположение, что жречество как социальная группа совпадало с определенным племенем, вовсе не означает, «что все члены этого племени поголовно были жрецами, но лишь то, что это племя монополизировало отправление культа» [8; 46].

Есть мнение, что этноним «каллипиды» включает два корня: «прекрасный Лип» и патронимическое окончание. Каллипиды, таким образом, суть «сыны прекрасного Липа» [11, 47-48]. Лип же тождествен Липоксаю скифской этногонической легенды. В таком случае этноним «каллипиды» можно толковать как «потомки Липа».

Не исключено, что название каллипидов связано с богиней смерти Каллипсо («скрывающая»), у которой некоторое время жил Одиссей. Или же с гарпией Келайно («мрачная»). Оба предположения вероятны, но недоказуемы [9, 168-173].

Куда более убедительным нам кажется другое предположение. «Каллипиды» записаны под таким именем ошибочно, на самом деле это термин «каллипиди», что однозначно переводится как «прекраснозады». Иными словами, эпитет «каллипиды» – это искаженный



Афродита Каллипига. Неаполитанский музей

от «каллипиги». Не исключено, что он появился в результате описки или ошибки переписчика (возможно, сознательной), и на самом деле это было им сделано из соображений ханжеской христианской традиции. Хотя «прекраснозадая» Афродита Каллипига (римская копия с греческой скульптуры IV в. до н. э.) совершенно откровенно по сей день чарует взор посетителей Национального музея в Неаполе. И тут ошибки в истолковании термина быть не может [12, 243]. В таком случае имя «каллипиды» можно истолковывать как «прекраснозадые» (греч. *καλλιπυγή* – *имеющие красивый зад*).

Таких искажений в античном источниковедении известно и выявлено великое множество. А невыявленных еще больше. И имя им – легион.

Последнее толкование может показаться пикантным, однако оно в научном смысле вполне оправданно и более чем продуктивно. Потому что оно прямо наводит на ассоциации с загадочными жрецами-энареями, страдавшими не менее загадочной «женской болезнью». А что это за болезнь, никто толком не знает. Но можно догадываться.

Здесь уместно заметить, что имя Каллипид носил известнейший в тогдашнем греческом мире афинский актер. Он неоднократно одерживал победы на драматических состязаниях. Игра Каллипида отличалась исключительной эмоциональной выразительностью. По словам Ксенофонта («Пир», III, 11), Каллипид гордился своим

умением вызывать у зрителей слезы. Его приглашали к выступлениям великие драматурги Софокл, Эврипид и Аристофан. А во время морских сражений управлял гребцами, возбуждая их боевой дух, именно Каллипид, сообщает Алкивиад: «...в длинной епанче и в великолепном платье, какое носят во время игры в театре».



Актер Каллипид с трагической маской.
Вторая половина V в. до н. э.

Впрочем, пишет Аристотель, («Поэтика», 26, 1462а), «актер Минниск... называл его обезьяной за то, что он слишком переигрывал». Сам же Аристотель полагал, что «...нельзя отвергать всякие телодвижения, если не отвергать и танцев, а только плохие. В этом упрекали Каллипида, а теперь упрекают других за то, что *они подражают телодвижениям женщин легкого поведения*» (курсив наш. – А. Д.).

Женоподобные повадки Каллипида отражены в самом значении его имени, первая часть которого, *καλλι*, означает «красивый», а вторая часть – *Πηδάω*, *Πηδάω*, «пидо» – значит прыгать, подпрыгивать, перепрыгивать. Но лишь в том значении, когда кобель прыгает на сучку, – это не просто подпрыгивание, но подпрыгивание с ясно определенной целью [12].

Вернемся к «нашим» каллипидам – их повадки были очень похожими. Геродот рассказывает об одной типичной для этих скифов «болезни»: мужчины становятся женственными по характеру, надевают женское платье и занимаются женскими работами. Они называются энареями. Для объяснения этой «скифской болезни» Геродот приводит миф о том, что эту болезнь наслала на скифов Афродита за то, что они разрушили ее храм в Аскалоне во время набега на Сирию: «На тех скифов, которые ограбили Аскалонский храм, и на все потомство их божество ниспослало женскую болезнь, так что скифы говорят, что они болеют вследствие этого поступка и что посещающие скифскую землю иностранцы видят, в каком положении находятся у них больные, которых называют энареями».



Женоподобные каллипиды.
Вазопись V в. до н. э.

Гиппократ же считал, что скифские лекари лечили больных, отворяя вену около уха, а это якобы ведет к импотенции. Врачи XIX века считали, что атрофия половых органов развивалась просто от неумеренной верховой езды, и приводили в подтверждение аналогичную напасть у татарских конников. Само слово «энареи» специалисты по иранским языкам объясняют словообразованием от корня «нар» (муж-): «энареи» должно означать «не муж», «обезмужественный».

Таким образом, женоподобные энареи – гадатели и прорицатели – носили женские платья, усвоили женские привычки и даже говорили, «подобно женщинам». Так считали Геродот и Псевдо-Гиппократ.

Они были, с точки зрения греков, самой экзотической корпорацией среди скифского жречества и, естественно, привлекали к себе наибольшее внимание.

Основные сведения о положении энареев в скифском обществе содержатся в двух литературных традициях, связанных с именами Геродота и Псевдо-Гиппократа. Отдельные намеки имеются и у других авторов. Из их сопоставления явствует, что энареи были профессиональной жреческой корпорацией, связанной с культом богини Афродиты – Аргимпасы, и являлись гадалками. «Искусство гадания даровано им Афродитой; они гадают при помощи липовой коры: гадалка разрезает ее на три полоски, затем, переплетая их между пальцами и расплетая, произносит предсказание» [7, IV: 67-68]. Ясно также, что корпорация энареев имела наследственный характер.

«Женоподобные» особенности энареев, явно связанные с требованиями религиозного культа, передавались также их потомству [2, I: 105; IV: 69]. При этом энареи происходили из аристократических слоев общества, может быть, даже близких к царскому дому. Псевдо-Гиппократ отмечает, что энареи – «скифские богачи, не люди самого низкого происхождения, а, напротив, самые благородные и пользующиеся наибольшим могуществом». «Причину такого явления, – считает Псевдо-Гиппократ, – туземцы приписывают божеству и поэтому чтут таких людей и поклоняются им, каждый боясь за себя» [8; 168-179]. Однако из сообщения Геродота следует, что боязнь энареев и гадалей вообще имела под собой и более реальные основания, потому что от их гадания иногда зависела человеческая жизнь.

Существует также мнение, что «женская болезнь» – результат сифилиса, которым якобы заразились скифы у иеродул храма Афродиты. Не менее странна точка зрения, что «женская болезнь» у скифов – социальное или профессиональное заболевание – следствие имущественного неравенства. Впрочем, не исключено, что мы имеем дело с трансвестизмом или с кувадой [8: 89, 168-170]*.

Таким образом, тождественность, или явная визуальная сопоставимость «прекраснозрых» каллипидов с «женоподобными» энареями кажется очевидной [9; 174-179, 190]. Псевдо-Гиппократ утверждает, что такой «женской болезни подвержены скифские богачи – не люди самого низкого происхождения, а, напротив, самые благородные и пользующиеся наибольшим могуществом», и ее причина «заключается в верховой езде».

Аристотель полагает, что она была распространена среди скифских царей. Климент Александрийский называет легендарного царевича Анахарсиса «как человека, который сам сделался женоподобным в Элладе и стал учителем женской болезни для прочих скифов». Известно, что Анахарсис совершил обряд самооскопления в честь Кибелы и был за это убит – «за чужеземные свои установления и сношения с эллинами». Ибо обряды в честь Кибелы предусматривают обязательное самооскопление,

* Кувада (франц.: *couvade* – высиживание яиц) – обрядовая симуляция отцом родового акта при рождении ребенка. Известна у многих народов.



Мудрец Анахарсис

во всяком случае для тех, кто собирается стать ее жрецом. Именно таковы были намерения Анахарсиса, который, «осмотрев многие страны и ознаменовав там великую мудрость... дал обет, – пишет Геродот, – коли жив и здоров возвратится в Скифию, принести Матери богов (Кибеле. – А. Д.) жертву... и установить всенощное служение» [7, IV: 76-77]. Действительно, остаться живым и здоровым после самооскопления – это большое везение.

Сам Анахарсис (греч.: *Ἀναχάρσις* – небесный глас) (жил около 605-545 гг.) был

сыном скифского царя Гнура, братом царя Савлия и Кадунта. Он прибыл во времена Солона в Афины, где подружился с самим Солоном и с другим знатным скифом, Токсаром, который был известен в Афинах как врач и мудрец, позже путешествовал по другим греческим городам. Бывал у лидийского царя Креза, которого персы считали своим советником по Скифии.

Анахарсис прославился как мудрец, философ и сторонник умеренности во всем, его причисляли к семи мудрецам и ему приписывались многие разумные изречения и изобретения. Письма, носящие его имя, позднего происхождения (датируются III веком до нашей эры) и отражают позиции близких Анахарсису стоиков. По легенде, Анахарсис изобрел якорь, усовершенствованные гончарный круг и парус.

«Вернувшись в Скифию, – сообщает далее Геродот, – Анахарсис тайно отправился в так называемую Гилею (эта местность лежит у Ахиллесова ристалища и вся покрыта густым лесом из разных пород деревьев; низовья Днепра и Буга). Так вот, Анахарсис отправился туда и совершил полностью обряд празднества, как ему пришлось видеть в Кизике. При этом Анахарсис навесил

на себя маленькие изображения богини и бил в тимпаны (медные тарелки). Какой-то скиф подглядел за совершением этих обрядов и донес царю Савлию. Царь сам прибыл на место и, как только увидел, что Анахарсис справляет этот праздник, убил его стрелой из лука. И поныне еще скифы на вопрос об Анахарсисе отвечают, что не знают его, и это потому, что он побывал в Элладе и перенял чужеземные обычаи». Значит, Анахарсису не повезло – живым и здоровым он не остался. Не исключено, что Савлий его убил из жалости – чтобы тот не мучился после обильной потери крови.

Не исключено, что каллипиды-энареи, как и Анахарсис, должны были быть скопцами. Или страдали иными отклонениями, связанными с понятием «женская болезнь». Они, видимо, были поселены скифами отдельно от себя, в особую «зловонную», но священную местность. И не «на правах сексуального меньшинства», а за «сакральную избранность». Л.С. Клейн в книге «Другая любовь» рассматривает «женскую болезнь» скифов как разновидность гомосексуальности (13; II, 6). То обстоятельство, что социальный статус энареев был очень высок, подтверждается подобными наблюдениями у сибирских народов – у них статус гомосексуалов не ниже мужчин, а выше.

Это подтверждается и статусом актера Каллипида. Плутарх упоминает, что он был прославлен среди греков, и все его принимали с большим почетом [14]. Актеры являлись свободными гражданами и на праздниках Диониса выступали, прежде всего, как участники религиозного действия. Поэтому их социальный статус был высок. Они принимали в V-IV вв. до н. э. деятельное участие в общественной жизни, их могли избирать на высшие государственные должности и отправлять послами в другие государства.

Равным образом и «наши» каллипиды-энареи, «гадатели» и прорицатели, предсказывающие будущее, были жрецами-проридцами с высочайшим сакральным статусом в Скифии. И совершенно не исключено, что земли каллипидов-энареев воспринимались как своеобразная эллино-скифская «Папская область» в Северном Понте, с центром-«Ватиканом» в Борисфене-Одессе на Жеваховой горе [9; 105-132]. В состав этих земель входила, как известно, и Гилея, где совершал свои «кошунственные» обряды знаменитый скифский царевич, философ и мудрец Анахарсис.

Литература

1. Щукин М.Б. Машина времени и лопата. – Кишинев: Штиинца, 1991, с. 133.
2. Карышковский П.О., Клейман И.Б. Древний город Тира. – Киев: Наукова думка, 1985, с. 5.
3. Охотников С.Б. Греческие колонии Нижнего Поднестровья. – Одесса: Ивлия, 2000, с. 40.
4. Скржинская М.В. Древнегреческий фольклор и литература о Северном Причерноморье. – Киев: Наукова думка, 1991, с. 73-74.
5. Грейвс Р. Мифы Древней Греции. – М.; Прогресс, 1992, с. 440-441.
6. Борхес Х.Л. Бестиарий: Книга вымышленных существ. – М., 2000.
7. Геродот. История в 9 книгах. – Л.: Наука, 1972, I: 105; IV: 67-69.
8. Хазанов А.М. Социальная история скифов. – М.: Наука, 1975, с. 114-118, 168-179.
9. Добролюбовский А.О. Археология Одессы. – Одесса: Optimum, 2012, с. 105-132, 174-179, 190.
10. Раевский Д.С. Мир скифской культуры. – М., 2006, с. 178-196.
11. Болтенко М.Ф. До питання про час виникнення та назву давньої йонійської оселі над Борисфеном. // Вісник Одеської комісії краєзнавства. Секція археології. – 1930, № 4/5, с. 47-48.
12. Словарь античности. – М.: Прогресс, 1989, с. 243; Словарь греческого мата: <https://rua.gr/greece/study/stgrek/21724-slovar-grecheskogo-mata.html>
13. Клейн Л.С. Другая любовь. – СПб, 2000, раздел II, 6.
14. Плутарх. Застольные беседы. – Л.: Наука, 1990, с. 57.



Константин Васильев

Два одесских периода жизни профессора Всеволода Викторовича Стратонова

В этом году исполняется 100 лет изгнанию инакомыслящей интеллигенции, осуществленному большевистской властью.

К 80-летию высылки из Украины я опубликовал статью, написанную по материалам протоколов заседаний Политбюро ЦК КП(б) Украины, которые хранятся в Центральном государственном архиве общественных объединений (Киев).¹

К 70-летию этого трагического события у меня появились публикации на страницах «Вечерней Одессы» о двух одесских изгнанниках, профессорах-медиках Б.П. Бабкине² и Д.Д. Крылове³. Здесь должен отметить, что из Одессы были высланы и преподаватели, не имевшие звания профессора. Среди медиков – ассистент 2-й хирургической факультетской клиники Одесского медицинского института Александр Федорович (Исаак Юфудович) Дуван-Хаджи. О нем – в разделе «Питомцы университета» моей книги «Медицинский факультет Новороссийского университета».

Так получилось, что хотя я являюсь историком медицинской науки, мне довелось участвовать в сборе материалов об одесском астрономе Стратонове, который также был в 1922 году выслан из советской страны.

В советскую эпоху увидел свет прекрасный биографический справочник «Астрономы», который выдержал два издания – в 1977 и 1986 годах. Однако не ищите там фамилию нашего героя, а в статье 1956 года об одесском профессоре А.К. Кононовиче – он первый учитель в астрономии Всеволода Стратонова, о последнем сказано: «получив в условиях советской власти



В.В. Стратонов. 1895 год

широкие возможности для научной работы, Стратонов, однако, возглавил реакционное крыло профессуры (в Московском университете. – К. В.), боровшееся против советской власти. В 1922 г. советское правительство выслало Стратонова за контрреволюционную деятельность за границу, где он позднее и умер, не дав уже ничего ценного для науки». ⁴ Мы специально привели цитату из работы, вообще-то, добротного исследования, для того чтобы дать читателю почувствовать время 50-х годов, когда появилась эта статья. И мы не хотим кидать камень в советских историков науки

за то, что они не публиковали работы о профессоре Стратонове, – это невозможно было сделать в те годы.

Только с 1990-х годов в московских изданиях появляются первые публикации о В.В. Стратонове (1991,⁵ 1997,⁶ 2011⁷). Ему посвящен отдельный подраздел в пражской книге «Дом в изгнании» (2008).⁸ В 2005 году сотрудники научной библиотеки Одесского национального университета имени И.И. Мечникова, чуткие ко всему новому, что публикуется в мире, поместили биографическую справку о питомце университета в энциклопедическом словаре «Выпускники Одесского (Новоросійського) університету»,⁹ а в 2019 г. последовало еще одно издание этого словаря.¹⁰ Интерес к крупному астроному Стратонову понятен и закономерен, но исследователи и в Чехии, и в России не преследовали цели осветить именно одесские периоды его жизни.

Из проведенного анализа литературы о В.В. Стратонове следует, что о двух одесских периодах жизни видного астрофизика опубликовано крайне мало и с ошибками. Вместе с тем в 2019

году были изданы воспоминания В.В. Стратонова, в которых мы находим рассказ о втором одесском периоде его жизни.¹¹ Они также требуют критической оценки с точки зрения достоверности приведенных в них фактов и дат.

Цель данной публикации – не повторять сказанное об астрономе Стратонове и им самим написанное, а опираясь на исторические источники, с которыми историки науки еще не работали, дополнить два одесских периода его биографии.

Дата и место рождения Всеволода Стратонова

Всеволод Стратонов родился в семье директора Ришельевской гимназии Виктора Исаевича Стратонова. Родился он в Одессе 5 апреля 1869 года. Эта дата проставлена в два раза в год публиковавшихся – к осеннему и весеннему семестрам – «Списках студентов и посторонних слушателей» Императорского Новороссийского университета. В Российской империи летоисчисление велось по юлианскому календарю, а мы уже более ста лет живем по григорианскому. Так как в XIX веке разница между названными календарями составляла 12 суток, мы должны к 5 прибавить эти самые 12 дней. Получаем 17 апреля 1869 года. Авторы, писавшие о профессоре Стратонове, не вдавались в эти подробности одесского рождения нашего героя. Или, даже посчитав, что 17 апреля – это по старому стилю, переводили эту дату в новый, и у них получалось, что Всеволод родился аж 29 апреля (17+12=29), что, конечно, является ошибкой.

Мы можем попытаться установить место рождения В.В. Стратонова, что, безусловно, представляет интерес. Студенты-медики XXI столетия на вопрос, где мог родиться тот или иной одессит века XIX, дружно отвечают: в местном родильном доме. Они отлично знают, что нынешние врачи-акушеры страхуют возможные риски и поэтому роды современной женщины должны проходить в стационаре, где есть возможность в неотложных случаях оказать немедленную медицинскую помощь. Не так было в прошлые столетия, а точнее – всю предыдущую историю человечества. Женщины ранее рожали на дому –

в хижине, в квартире, во дворце, если хотите, там, где они жили. Новорожденный появлялся на свет на той же кровати, где был зачат. Родильные же приюты, а они были только в больших городах, и их было крайне мало, предназначались для самых бедных женщин, которым негде было голову преклонить. Там они получали бесплатно акушерские пособия с надлежащим уходом и содержанием.

Вспомним «Войну и мир» Л. Толстого. Когда князь Андрей Болконский уезжал на военную службу, он свою беременную супругу оставил в имении Лысье Горы и просил отца, когда будет время жене рожать, послать в Москву за доктором акушером, что было и выполнено. Кроме того, из уездного города была выписана акушерка. Все знают, что роды закончились смертью роженицы, – в ту эпоху материнская смертность была высока.

Не столь состоятельные дворянки вынуждены были для получения акушерского пособия ехать из своих имений в населенные места, где были доктора и повивальные бабки. Так отец Николая Васильевича Гоголя повез свою беременную супругу в местечко Сорочинцы к доктору Трахимовскому, в доме которого она благополучно разрешилась сыном, который стал гениальным писателем. Теперь в этом доме литературно-мемориальный музей Н.В. Гоголя.

Вернемся в Одессу. На Базарной улице под номером 4 до сих пор стоит доходный дом, который принадлежал Стурдзовской общине сердобольных сестер (то есть медицинских сестер, как мы бы теперь сказали). Одну из квартир этого дома снимала семья Катаевых, и в этой квартире родились два брата, ставшие писателями, – Валентин Катаев (родился в 1897) и Евгений Петров (род. 1903), а принимала обоих братьев некая сестра-акушерка Акилина Саввишна (об этом рассказал в автобиографической повести «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона» В. Катаев). Ныне на фасаде дома, где родились писатели, две мемориальные доски.

Итак, отец Всеволода Стратонова на момент его рождения был директором Ришельевской гимназии. В те года она уже находилась по адресу улица Садовая, 1. Комплекс зданий гимназии сохранился. На самом углу улиц Садовой и Торговой двухэтажный

флигель, а затем длинный внушительный корпус основного здания Ришельевской гимназии, ныне в три этажа.

Вот как раз в этом основном строении на втором этаже кроме четырех классных комнат, кабинетов естественно-исторического и физического, зала заседаний педагогического совета, двух комнат под канцелярию и одной для письмоводителя находилась квартира директора.¹²

Напомним, что содержание тогдашнего служащего состояло из трех частей: жалованье + столовые + квартирные. Но квартирные деньги полагались только лицам, которые не пользовались квартирой в натуре. Не всегда, стало быть, предоставлялась казенная квартира. Но не в нашем случае. Таким образом, мы можем утверждать, что Всеволод Стратонов появился на свет Божий на втором этаже данного здания.



Улица Садовая, 1. Досоветская открытка

Отец



Виктор Исаевич и Ольга Акимовна Стратоновы, отец и мать В.В. Стратонова. 1860-е годы

Отец нашего героя Виктор Исаевич Стратонов высшее образование получил в Одессе, где окончил курс Ришельевского лицея с правом на чин 12 класса (согласно «Табели о рангах», чин 14-го класса низший, а 1-го класса – высший). В начале 1860-х он служил учителем истории в Симферопольской гимназии.¹³ Затем его перевели учителем истории в Одесскую 1-ю гимназию, которая состояла при Ришельевском лицее, а в 1863 году была отделена от лицея, получив самостоятельное бытие с наименованием Ришельевская гимназия.¹⁴ В Одессе В.И. Стратонов преподавал и в Одесском институте благородных девиц.¹⁵ В связи

с освобождением должности инспектора Ришельевской гимназии, а инспектор был «ближайший помощник» директора гимназии по учебно-воспитательной части, вторым после директора человеком в гимназии, Виктор Исаевич поднялся по служебной лестнице – 25 июля / 6 августа 1865 г. был назначен на названную должность.¹⁶

В этом же 1865 году, 5/17 ноября, инспектор Ришельевской гимназии Стратонов был назначен исправляющим должность директора сей гимназии,¹⁷ и, наконец, 22 июня / 4 июля 1866 года исправляющий должность директора Стратонов был утвержден в этой должности,¹⁸ а в 1870 году он уволился от службы, и с 1871 года семья Стратоновых жила в Екатеринодаре (ныне Краснодар, РФ).

Служащие по ведомству министерства народного просвещения имели гражданские чины, и поэтому мы должны здесь привести чины В.И. Стратонова. В бытность службы в Симферополе он имел чин титулярного советника – чин 9 класса. В Одессе он уже коллежский асессор (с 1864 года; чин 8 класса)¹⁹, затем надворный советник (7 класс), а в 1869 году произведен, опять же за выслугу лет, в коллежские советники (6 класс).²⁰

Кроме того, служащие награждались орденами. Так 19/31 декабря 1869 года директор гимназии Стратонов «за отличную усердную службу и особые труды» был пожалован орденом Святой Анны 2-й степени.²¹

При директорстве Стратонова как раз состоялось обустройство Ришельевской гимназии в наемном доме № 1 по Садовой улице. Именно он в мае 1866 года заключил контракт с управляющим домами И. Фундуклея на наем упомянутого двухэтажного каменного здания. Все переделки для приспособления одного под помещение гимназии были произведены за счет домовладельца и закончены в августе 1866 года, а в сентябре того же года в этом здании гимназисты приступили к занятиям.

Состоя директором Ришельевской гимназии, Виктор Исаевич опубликовал работу «Сведения о числе учащихся и о состоянии учебной части в гимназиях Одесского учебного округа за 1868/9 академический год».²² На фотографии – мягкая обложка этой публикации с автографом автора.

Просматривая «Новороссийские календари», я натолкнулся на имя некоего И.А. Стратонова. В 1840-х годах он учитель в ланкастерской школе в Хотине (ныне в Черновицкой обл.



Украины), а в 50-х уже был смотрителем еврейского училища в том же Хотине. Сразу подумалось, не дед ли он астронома Стратонова. Инициалы хотинского учителя позволяли это предположить. Однако затем последовало разочарование: оказывается, учителя из Хотина звали Исаак Андреевич Стратонов, а Исаак и Исаия (от которого отчество Исаевич) – разные имена.

«Я избрал свою родину – Одессу»

В 1880-х годах наш герой учился в Кубанской войсковой гимназии в Екатеринодаре, которую окончил с золотой медалью. Как выпускник Кавказского учебного округа Всеволод Стратонов мог поступать в три университета – в Харькове, в Киеве или в Одессе. В воспоминаниях он написал: «Я избрал свою родину – Одессу».

Такими образом, В.В. Стратонов возвратился в родной город, тот самый город, где в свое время получал высшее образование в Ришельевском лицее его отец, но лицей к этому времени уже давно – в 1865 году – был преобразован в названный университет.

Всеволод Стратонов поступил на математическое отделение физико-математического факультета Императорского Новороссийского университета, точнее – он поступил на юридический факультет, но сразу же перевелся на отделение математических наук. Студентом университета в Одессе он стал или в 1886, или в 1887 году, в литературе, ему посвященной, на этот счет нет единого мнения, но «Списки студентов и посторонних слушателей» университета в Одессе позволили установить и подтвердить «Воспоминания» нашего героя о том, что он был принят на первый курс в 1887 году, а точнее – в августе того года.²³ Они же позволяют проследить, как он переходил с одного семестра на другой, и весной 1891 года студент Стратонов учился уже на 8 семестре, а тогдашний полный курс обучения на физико-математическом факультете составлял 8 семестров, или 4 курса.

В бытность Стратонова студентом кафедры астрономии и геодезии занимал профессор Александр Константинович Кононович. Он читал лекции и вел практические занятия у В. Стратонова. Для студентов, желающих в свободное от обязательных занятий вре-

мя дополнительно заниматься практически по астрономии, была открыта ежедневно от 6 часов вечера университетская обсерватория, которая находилась в заведывании того же профессора астрономии Кононовича.²⁴

Кроме обычных учебных занятий некоторые из студентов уделяли время для особых работ, так как ежегодно все университетские факультеты предлагали студентам темы для соискания наград медалями. Одну из таких научных работ выполнил В. Стратонов. Тема, предложенная кафедрой астрономии и геодезии, была следующая: «Пассажный инструмент и его применение к определению географических координат». В мае 1891 года за эту работу Всеволод Стратонов получил золотую медаль, а в 1892 году он сдал выпускные экзамены с дипломом первой степени.

Здесь надо обратить внимание, что золотая медаль ему была присуждена не «за выпускную квалификационную работу», как ошибочно утверждают его биографы, а за студенческую научную работу. В статье 134 университетского устава 1884 года на этот счет было сказано: «Для поощрения студентов к научным занятиям факультетскими собраниями ежегодно предлагаются задачи с назначением за удовлетворительные по оным сочинения, смотря по достоинству их, медали золотой или серебряной, или почетного отзыва».

При этом могло оказаться, что на предложенную факультетом тему (задачу) ни один студент факультета (а научную работу могли представлять студенты всех курсов данного факультета) не откликнулся; могла поступить всего лишь одна студенческая работа или две, или три и т. д., но в любом случае их было мало, единицы. Работы принимались факультетами под девизами, проходили рецензирование профессоров, затем на факультетских собраниях принималось решение, присуждать награды представленным работам или нет; а если присуждать, то какие – золотые медали, серебряные медали или, наконец, только почетные отзывы.

Мы обещали не пересказывать воспоминания В.В. Стратонова, но все же дадим одну цитату: «Эта золотая медаль (медаль за научную работу 1891 года. – **К. В.**), большая и массивная, мирно пролежала у меня тридцать три года вместе с гимназической.

Неожиданно они помогли мне в 1922 году. Большевики выслали меня одновременно с некоторыми другими профессорами из Москвы вместе с семьей. Средств на выезд не дали, а своего имущества у нас почти уже не было. Продал свои золотые медали, и это помогло нам выехать».

И еще об одном ошибочном утверждении биографов нашего астронома. Они пишут, что Всеволод Стратонов окончил университет в 1891 году. Нет, в 1891 году он только окончил полный курс наук математического отделения, получил зачет восьми семестров и, стало быть, был допущен к государственным (выпускным) экзаменам, но только в 1892 году сдал эти самые государственные экзамены, и ему вручили диплом первой степени. Стало быть, В.В. Стратонов окончил университет в 1892 году.

В 1892-1894 годах юный астроном работал «отчасти» в астрономической обсерватории Императорского Новороссийского университета, но «преимущественно» в Николаевской главной астрономической обсерватории в Пулкове. Так он написал в автобиографии, копию которой нам любезно предоставили в научной библиотеке Одесского национального университета им. Мечникова, а в опубликованных воспоминаниях он четко написал, что с мая 1893 года в последующий год он работал в Пулковской астрономической обсерватории, а не в Одессе.

* * *

Таким образом, на 1869-1871 и 1887-1893 годы приходятся два одесских периода жизни, учебы и научной деятельности В.В. Стратонова. Мы не только определили хронологические рамки его одесской биографии, но и выяснили, в каком именно доме родился будущий известный астроном, впервые привели ряд фактов биографии как его самого, так и его отца.

О втором из указанных периодов В.В. Стратонов подробно написал в воспоминаниях «По волнам жизни», и привлеченные нами исторические источники не выявили каких-то ошибок в его воспоминаниях. Желаящие не только могут купить два тома этих воспоминаний, но и почитать их в Интернете. Здесь я должен очень сжато изложить то, что вы найдете в его воспоминаниях об Одессе: студенческая жизнь; профессора – А.О. Кова-

левский, А.В. Клоссовский, Н.А. Умов, Ф.Н. Шведов, А.К. Кононович, В.Н. Лигин и др.; приват-доценты – Н.Д. Зелинский и др.; товарищи-студенты: А.Р. Орбинский, В.Ф. Каган, А.С. Оганджанов и др.; открытие памятника Пушкину; однодневная одесская перепись 1891 года; театральная жизнь тогдашней Одессы.

И в заключение. Прах одессита Всеволода Викторовича Стратонова покоится на православной части Ольшанского кладбища в Праге. Когда вы будете в столице Чехии, посетите это кладбище, побродите между могил наших соотечественников. Так сделал я в августе 1995 года, когда в Праге проходила конференция «Русская, украинская и белорусская эмиграция в Чехословакии между двумя мировыми войнами». Тогда я нашел и сфотографировал места упокоения профессоров Новороссийского университета терапевта С.С. Груздева и патологоанатома Д.П. Кишенского.

Литература

- ¹ Васильев К.К. Философский пароход 1922 года: по материалам протоколов заседаний Политбюро ЦК КП(б) Украины // Сумська старовина. – 2002, № 10, с. 258-263.
- ² Васильев К.К. «Исключить из списков»: к 70-летию разгрома высшей школы Одессы: [О проф. Б.П. Бабкине] // Вечерняя Одесса. – 1992, 12 сент., № 160 (5642), с. 3.
- ³ Васильев К.К. Высланные: к 70-летию разгрома высшей школы Одессы [О проф. Д.Д. Крылове] // Вечерняя Одесса. – 1992, 8 авг., № 139 (5621), с. 3.
- ⁴ Корпун Я.Ю., Цесавич В.П. Александр Константинович Кононович, выдающийся украинский астрофизик; его предшественники и ученики // Историко-астрономические исследования. – М., 1956, Вып. 2, с. 347.
- ⁵ Бронштэн В.А. Изгнание Стратонова // Природа. – 1991, № 1, с. 124-128.
- ⁶ Бронштэн В.А. Стратонов Всеволод Викторович // Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть XX века. Энциклопедический биографический словарь. – М.: РОССПЭН, 1997, с. 603-607.
- ⁷ Стратонов Всеволод Викторович // Российское научное зарубежье: Биобиблиографический справочник. – М., 2011, с. 569.
- ⁸ Петухов С. Всеволод Стратонов. Бури солнечные и бури социальные // Дом в изгнании. Очерки о русской эмиграции в Чехословакии. – Прага, 2008, с. 103-106.
- ⁹ Стратонов В.В. // Випускники Одеського (Новоросійського) університету. Енциклопедичний словник. – Одеса, 2005, с. 198.

- ¹⁰ Стратонов В.В. // Випускники Одеського (Новоросійського) університету ім. І. Мечникова. Енциклопедичний словник. – Одеса, 2019, с. 167.
- ¹¹ Стратонов В.В. По волнам жизни. В двух томах. – М.: НЛО, 2019.
- ¹² Заузе Р.Э. Исторический очерк Ришельевской гимназии. – Одесса, 1881, с. 80.
- ¹³ Новороссийский календарь на 1862 год. – Одесса, 1861, с. 297.
- ¹⁴ Новороссийский календарь на 1863 год. – Одесса, 1862, с. 311.
- ¹⁵ Новороссийский календарь на 1865 год. – Одесса, 1864, с. 81.
- ¹⁶ Циркуляр по управлению Одесским учебным округом. – 1865, № 7, с. 507 (далее: Циркуляр...).
- ¹⁷ Циркуляр... – 1865, № 11, с. 856.
- ¹⁸ Циркуляр... – 1864, № 8, с. 338.
- ¹⁹ Циркуляр... – 1864, № 8, с. 338.
- ²⁰ Циркуляр... – 1870, № 10, с. 405.
- ²¹ Циркуляр... – 1870, № 1, с. 12.
- ²² Стратонов В.И. Сведения о числе учащихся и о состоянии учебной части в гимназиях Одесского учебного округа за 1868/9 академический год. – Одесса, 1870. – 28 с.
- ²³ Список студентов и посторонних слушателей Императорского Новороссийского университета в осеннем полугодии 1888-89 учебного года. По физико-математическому факультету. – Одесса, 1888, с. 10-11.
- ²⁴ Обзорение преподавания в Императорском Новороссийском университете на весеннее полугодие 1891 года. – Одесса, 1891, с. 25-26.



Виктория Коритнянская

Одна из тысячи историй о войне...

9 апреля 1938 г. Совнаркомом было утверждено Положение о спецшколах (Постановление № 452). Однако почти годом ранее, в мае 1937 г., в Москве в пяти средних школах началось экспериментальное обучение мальчишек 8-10-х классов по программе, близкой к программе военных училищ. Одесса, видимо, решила не отставать от столицы – занятия в Одесской артиллерийской специальной школе № 16 также начались в 1937 г., но 1 октября. Поначалу школа располагалась по адресу улица Ботаническая, 4 (в настоящее время проспект Гагарина), позднее, с 1 сентября 1938 г., – в здании на Чичерина, 1 (сейчас – ул. Успенская). В 41 году, 28 июля (в других источниках упоминается также 1 августа), учащиеся школы вместе с педагогами отбыли в эвакуацию. Путь на Восток был нелегким, лишь в начале 1942 года школа прибыла в Сталинабад (в настоящее время г. Душанбе, Таджикистан), где в недостроенном здании театра оперы и балета продолжилось дальнейшее обучение курсантов. После освобождения Одессы школа вернулась в родной город, в 1946 г. была реорганизована в Одесское артиллерийское подготовительное училище.

Более трети выпускников Одесской артиллерийской спецшколы № 16 довоенного и военного периода погибли, защищая Родину, на фронтах Второй мировой войны... Герои очерка Владимир и Пусик – среди них...

Я не знаю, о чем этот очерк... Возможно, он об одной одесской еврейской семье, из пятнадцати членов которой войну пережили лишь пятеро... А возможно, он о дружбе двух одесских мальчишек – впоследствии курсантов-однокурсников Одесской артиллерийской специальной школы № 16. Война разлучила

их в ноябре 41-го, а смерть немногим позже... Или же, может, это история о нескольких дворах, которых до войны в Одессе было великое множество, а после войны не осталось ни одного... В них дружно жили, работали и растили детей Штейнгольцы, Шойхеты, Женичковские, Штивельбанды, Файнгольды, Гимельфарбы, Вайсбанд-Гитгарцы, Чечники, Ладыженские... Но почти все они исчезли, пропали бесследно в 41-м, не по своей воле променяв теплые стены родных квартир на сырые объятия противотанковых рвов Дальника, оврагов Богдановки и силосных ям Доманевки... Мне кажется, этот очерк обо всем этом... Но... Пусть читатель решит сам, а я же, пожалуй, начну...

Жила-была в Одессе на улице Воровского в доме 104, в квартире из трех комнат семья Файнгольд: супруги Хана и Вольф с пятью дочерьми. Вообще-то, дочерей было десять, но пятеро умерли еще во младенчестве, а спустя годы оставил свое семейство и Вольф. Под венец Хана вела красавиц-дочерей уже одна. Первыми вышли замуж старшие: Женя, Ева и Фейга, которую в семье все ласково называли Феня. Новобрачные перебрались жить к мужьям и там, под чужими крышами, пытались устроить свое счастье. Правда, не всем это удалось – вскоре в отчий дом на Воровского вернулась с годовалым сыном Владимиром Феня. В 38-м Одессу покинула Ида. Ее увез на Моонзундские острова в Эстонию устроившийся там работать по найму шофером муж, и там у счастливых супругов родился первенец – дочь Анечка. В 40-м умерла от сердечного приступа одна из сестер, Елизавета... Она была самой младшей, очень болезненной и поэтому бессемейной. А в 41-м... Страшный 41 год обрушился на семью, подобно смерчу. Поначалу он забрал всех мужчин: ушли на фронт мужа Евы и Иды – Самуил и Вольф. Уехал с Киевским артиллерийским училищем в эвакуацию в Красноярск выпускник Одесской артиллерийской спецшколы, сын Жени Владимир. Бесследно пропал в октябре, выйдя из дому по делам, отец Владимира Виктор. 10 октября, за шесть дней до сдачи города румынам, чудом смогла выехать из осажденной Одессы Феня с сыном... Судьба забросила их в Ташкент, где в жуткой нищете они прожили долгих три года. В 42 году, а может, в самом начале 43-го, к ним из Челябинской области переехала Ида. Она при-

ехала уже вдовой с двумя дочерьми – вторая дочь, Лизочка, родилась в далеком Кыштыме спустя три месяца после начала войны...

Остальные же... В декабре 41-го Владимир писал Идочке, именно так называл он любимую тетю, из Красноярска:

«Еще хуже дело обстоит со всеми нашими, т. е. мамой, тетей Евой, бабушкой и остальными. Они, очевидно, не успели уехать. Вовка (сын Фени. – **В. К.**) пишет, что Цили Мазлер муж обещал их вывести из Одессы 12 октября (он работал на пароходе). Но у меня очень мало надежды на то, что они выехали... В письме за 8 октября мама мне писала, что

не выезжает из-за того, что не знает... где папа – глупо и печально. Одна фраза из этого письма: «Вовочка, ты себе не можешь представить, как лишь теперь хочется жить», – никогда не выпадет из моей памяти и будет служить девизом, когда я буду на фронте и буду иметь возможность мстить тем, кто довел до такого ужасного положения десятки тысяч семей, в том числе и маму».

Увы... Сыновье сердце не обмануло Владимира... И бабушки Ханы, и мамы с младшей сестренкой Марой, и тети Евы с дочерьми Верочкой и Фирочкой тогда уже, вероятно, не было в живых. Они погибли в Доманевском гетто – так, во всяком случае, думает Елизавета Вольфовна, та самая Лизочка... Потому что других сведений у нее нет, но она помнит, как, когда она была девочкой, не раз звучало после войны в их доме это страшное слово – «Доманевка»...

Да и сам Владимир, так мечтавший мстить за маму, погиб спустя всего несколько месяцев после прибытия на фронт. Его



Курсант Одесской артиллерийской
специальной школы № 16
В.В. Штивельбанд

отправили туда сразу же после совершеннолетия... 26 ноября 1941 года он писал:

«Нам осталось заниматься 22 дня, после чего нас бы выпустили лейтенантами. Но Родине нужны квалифицированные артиллеристы. Сейчас, именно сейчас. Поэтому нас, бывших спецшколовцев (свыше ста человек) отозвали из училища. Вчера мы оставили училище, прибыли на место, где ждем отправки на фронт. Чувствую себя бодро. Правда, немного больно. В четырнадцать лет после окончания семилетки я, волнуясь, но с гордостью писал заявление в спецшколу: «Прошу принять в Одесскую специальную артиллерийскую школу. Хочу быть командиром-артиллеристом. Клянусь всю свою энергию, все свои силы, а если понадобится, и жизнь отдать служению Родине». В школе занимался хорошо. В училище пришел с багажом военных знаний, что помогло сразу стать отличником боевой теоретической подготовки. Готовился поехать на фронт лейтенантом... но ничего, знания, которые я приобрел в школе и за эти четыре месяца в училище, не пропадут. Идя на фронт, я смогу честно послужить Родине. А после войны, если останусь живым, закончу учебу. И дочка, клянусь тебе, что на фронте я отомщу немцам за разрушенные семьи, за убитых товарищей, поруганных друзей и сестер, за не сбитые мечты (так написано в письме. – **В. К.**) – за все...»

И Владимир мстил. На Западном фронте, в составе 41-го артиллерийского полка 97-й стрелковой дивизии II формирования, участвовавшей в боях за Ржевско-Вяземский выступ (в рамках контрнаступления советских войск под Москвой). Но 5 апреля 42 года зам. командира батареи 41-го артполка, младший лейтенант Штивельбанд был ранен. Его отправили в медико-санитарный батальон. А дальше? Что было дальше – неизвестно. В официальных документах Владимир числится пропавшим без вести... Так что же случилось?

Документов, отображающих боевой путь 41-го АП (артиллерийского полка) в начале апреля 1942 г., сохранилось немало. Во-первых, это доклад капитана Дятленко о деятельности артиллерии 97-й дивизии за апрель 1942 г. Согласно указанным в нем данным, в период со 2 по 16 апреля дивизия вела наступление

на Кремищное, Усты, Буда-Монастырская, Пустанка. Артиллерия и минометы (41 АП и 139 ОМД дивизии) своим огнем поддерживали наступление. За описанный период:

«Уничтожено 6 автомашин с пехотой и грузами противника, уничтожено и рассеяно до роты солдат, разрушено 4 ДЗОТа, подавлено 3 блиндажа, 4 минометных батареи, 8 пулеметов, 1 орудие противника.

Расход боеприпасов: 122 м/м – 81, 76 м/м – 926, мин 120 м/м – 362.

Потери: артиллерийским и минометным огнем противника было выведено одно 76 м/м орудие ДА (дивизионной артиллерии) и одно 76 м/м орудие ПА (полковой артиллерии), сейчас восстановлены».

Во-вторых, боевые донесения, распоряжения и оперативные сводки штаба дивизии от 4-5 апреля. В них 41-й артполк упоминается несколько раз. К примеру, в боевом донесении № 36 (Вертное, 18:00, 4.04.42) находим: «41 АП и 139 ОМД, имея ОП (огневые позиции) в р-не Думиничи ведет огневой бой за Кремищное и Дубровку. Уничтожено и подавлено 5-6 огневых точек противника»; в оперсводке № 47 (Вертное, 1:00, 5.04.42): «Артиллерия на прежних ОП»; в оперсводке № 48 (Думиничи, 10:00, 5.04.42): «Артиллерия 1/41 АП (первая батарея 41-го АП) на прежних ОП»; в боевом донесении № 37 (Думиничи, 19:00, 5.04.42): «Артиллерия дивизии ведет огонь на подавление огневых точек пр-ка в районе Кремищное»; в боевом распоряжении № 22 (Думиничи, 22:30, 5.04.42) перед артиллерийскими подразделениями дивизии поставлены такие задачи: «а) подавить огневую систему Усты, Кремищное; б) не допустить контратак: 1) с юж. окр. Высокая, 2) с направления Голованов, 3) с направления отм. 188,7 и 4) роши южнее Поляки 1,5 км; в) не допустить отход пр-ка из Усты, Кремищное. КП – юго-восток Думиничи (северные), доп: Усты, Вертное».

В ночь с 5 на 6 апреля войска дивизии, взяв, наконец, в упорных боях Кремищное и Усты, двинулись дальше, в направлении д. Усадьба. Все это время 41-й артполк активно поддерживал их огнем...

В именном списке безвозвратных потерь начальствующего и рядового состава 97-й стрелковой дивизии в период с 1 марта

по 30 апреля 1942 года Владимир среди 1126 погибших не значится. Потери дивизии 5 апреля на удивление малы – всего четыре человека (все артиллеристы!). В тот день у села Думиничи был убит уроженец Смоленской области, старший политрук и комиссар дивизиона 41-го арtpолка Зайкин Исаак Зеликович, а у деревни Поляки (Думиничского р-на Калужской (в то время – Смоленской) обл.) погибли смертью храбрых два командира орудия – Рыбаков Николай Степанович и Малинин Александр Петрович, а также артиллерист Лаповенко Константин Константинович. Был ли в тот день среди пострадавших у орудий и Владимир? Думается, что да. А далее... Вероятно, для последнего лечения Владимир был направлен в госпиталь, находившийся за пределами Думиничского р-на, во всяком случае, согласно сообщению командира поискового отряда А.И. Гану, в списках воинских захоронений Думиничского района, а также перечне солдат и офицеров РККА, которые погибли на территории района, но память о них в настоящее время еще не увековечена, Штивельбанд не значится...

Последнее, совсем коротенькое письмо с фронта Владимир написал Иде на открытке. Отправлено оно с полевой почтовой станции № 1664 (ППС № 1664 обслуживала бойцов 97-й стрелковой дивизии):

«Здравствуй, дорогая Идочка. Сегодня, после трехдневного боя мое подразделение расположилось на отдых в деревне. Сейчас я сижу в избе, ем сухари с молоком и пишу тебе открытку. Самочувствие прекрасное, как всегда после удачно проведенного боя. Вчера в течение всего дня мы вели ураганный огонь по укреплениям противника: сначала по дзотам, а затем по церкви, в которой враг сильно укрепился, и в течение четырех дней его нельзя было выбить. Вчера к вечеру мы так раздробили ее, что камень на камне не остался, а по немцам, бежавшим оттуда, мы открыли огонь шrapнелю, так что живым никто не остался. Ну все, с нетерпением жду ответа. Целую, Вова».

Ида получила письмо 18 марта 1942 г.

Однако «перемена судьбы», как называл Владимир отправку на фронт, могла случиться с ним и раньше. В письме, полученном Идой 4 ноября 1941 года, он писал:



Последнее письмо Владимира с фронта

«Прибыли мы в часть 25/X. Так как там еще ничего не было (часть находилась в стадии формирования), то мы все время до 1/XI шатались в городе. У меня денег не было, но у Пусика, Мони и Ньюмы (друзья Владимира. – В. К.) было около 500 рублей. Эти дни мы погуляли на славу. Нет ни одного ресторана, кафе, столовой, где бы мы... (далее неразборчиво). За это время я прослушал в оперном «Запорожец за Дунаем», «Риголетто», в драмтеатре мы смотрели «Хозяйка гостиницы», «Любовь Яровая» и «Продолжение следует». Уже 31/X формирование части закончилось, а 1/XI начали жить нормальной жизнью. Первого ноября мне удалось пойти в город. Вернулся я, принес два кило пряников, булки, бублики Пусику, Ньюме и Моне, а тут меня вызывает командир части. Прихожу к нему, а у него 9 человек наших ребят. И я среди них. В штабе я узнал, что нас 10 человек 24-го года рождения направляют в училище для продолжения занятий из-за несовершеннолетия. Получив все документы,

мы пошли в ресторан, где за 24 рубля так позавтракали, что, приехав в 6 часов в училище, не могли обедать, а нам еще впереди предстоял ужин, который мы так и оставили. Из нашего курса, который должен был выпускаться 15/XI, все находятся в части, так что нам придется заниматься с другим курсом, который через месяца два закончит учебу. То, что они учат, мы прошли давно, так что пару дней мы не будем заниматься вообще. А затем будем усовершенствовать свои знания. Только жалко, что Пусик и Моня не с нами. Они так хотели быть лейтенантами... Но что поделаешь? Неохота было расставаться, в особенности с Пусиком – прекрасным товарищем. Но ничего, еще встретимся и не один раз еще «протрем» все тротуары Одессы...»

Друзья Владимира попали, вероятно, в 44-ю Красноярскую отдельную стрелковую курсантскую бригаду, которая была сформирована 19 октября 41 года (в состав бригады входил артиллерийский дивизион, состоявший из курсантов 1-го Киевского артучилища). 14 ноября, после месячной подготовки, 44-я бригада была отправлена из Красноярска на фронт, чтобы в составе 1-й Ударной армии начать контрнаступление советских войск под Москвой. Увы, для многих солдат – вчерашних курсантов, первые бои бригады стали последними...

А пока... Владимир расстроен разлукой с друзьями... Понимал, осознал ли он тогда, что разница в возрасте подарила ему несколько месяцев жизни? Наверное, нет. Владимир был полон надежд... «Еще встретимся...» – писал он в письме... Увы... Владимир пропал без вести. А Пусик?

В своих письмах Владимир неоднократно пишет о своем друге по спецшколе – Пусике. Как оказалось, Пусик был его соседом... Об этом рассказал Матвей Лазаревич Полищук – единственный из ныне живущих выпускников спецшколы довоенного набора. Владимир жил на Воровского в доме № 106 (в списках потерь 97-й дивизии указан адрес: ул. Воровского, 104), Матвей Лазаревич и Пусик – в доме № 109. Каждый день Матвей Лазаревич, еще учившийся в средней школе № 2 пацан, видел, как друзья-«спецы» (так с гордостью называли себя курсанты спецшколы) в ладной, сшитой на заказ военной форме (так похожей на мундир командира!) шли на занятия. А летом уезжали

на стрельбы... И в их форме, в разговорах было столько волнующе прекрасного, что Матвей Лазаревич с друзьями-одногодками – соседями и одноклассниками – поступил в 40-м году в ту же Одесскую артиллерийскую специальную школу № 16. Но вернемся на Воровского...

Дом № 109 – трехэтажный, с пристроенными по бокам двумя флигелями. Во дворе неперенный турник, колонка и голубятня. Теперешние старожилы двора еще помнят ее полуразрушенный фундамент, в 70-х годах он здорово портил вид ухоженной лужайки перед домом. Голубятню эту держал один из братьев Шойхетов – Янкель. Он не был призван в армию по состоянию здоровья и погиб в Одессе в первые месяцы оккупации... Его брат Шлема воевал, вернулся в Одессу и долгие годы потом работал парикмахером на Тираспольской. Но речь сейчас не о них. Шойхеты, как выразился Матвей Лазаревич, были «шпана». Речь сейчас о Штейнгольцах.

Они жили во флигеле на втором этаже. В семье было трое детей: старший Изя и два брата-близнеца: Фулик и Пусик... Как звали близнецов на самом деле, Матвей Лазаревич, к сожалению, не помнит, однако кто этот Пусик, все же удалось узнать. В своих письмах Владимир неоднократно советует Иде ехать в теплый Ташкент, в город, где живет с многочисленными родственниками из Одессы, Балты и Бессарабии мама Пусика – Штейнгольц Дора. Зная фамилию, возраст и место учебы Пусика, имя его матери и т. д., мы без труда отыскали его анкету в Электронном банке данных «Память народа 1941-1945». На самом деле Пусика звали Перец (Петр). Родился он в 1923 году в Балте, позже его родители переехали в Одессу, где и поселились в доме на Воровского. Живут ли Штейнгольцы там сейчас? Нет, но во дворе о них еще помнят... Многие из жильцов слышали эту фамилию, а Н.Н. Щербатюк 1941 г. р. – один из коренных жителей двора, вспомнил, что с Дорой Штейнгольц (с его слов это была очень красивая, высокого роста женщина с вьющимися волосами, которые, словно черепица, покрывали ее голову) дружила его мама. Николай Николаевич рассказал, что после войны Дора вернулась в родной двор и свою квартиру... Правда, до второго замужества жила там одна, потому что

муж Иосиф и сыновья – Пусик и Фулик – погибли на проклятой войне... Живым вернулся только старший – Изя, но он жил отдельно и забрал постаревшую мать к себе только где-то в начале 60-х... Следы Доры теряются на Малиновского – по адресу, указанному в анкете разыскиваемого Пусика, Штейнгольцы сейчас, увы, не проживают... Но все это было уже после войны, а тогда...

18 июня 1941 года Владимир и Пусик вместе с другими выпускниками артиллерийской спецшколы (всего около ста человек) для продолжения учебы были направлены в 1-е Киевское Краснознаменное артиллерийское училище им. С.М. Кирова. А 22-го на Киев уже падали первые бомбы...

Позднее, уже из Красноярска в ноябре 41-го, Владимир писал Иде:

«И дочка, ты пишешь, чтобы я за собой смотрел, был самостоятельным... За эти четыре месяца я столько пережил и физически, и морально, что вполне достаточно, чтобы я так закалился, что мне не страшно ничто!»

Что пережил Владимир, мы можем себе только представить. Хотя... В том же банке данных в папке с боевыми документами полка 1-го Киевского артиллерийского училища им. С.М. Кирова выложен журнал его боевых действий. В нем на тринадцати листах одним из преподавателей училища, старшим лейтенантом Темпером, отображена жизнь полка с 29 июня по 13 июля 1941 г. К сожалению для нас и, вероятно, к счастью для Владимира и Пусика, их фамилии на страницах журнала не упоминаются, но они, вероятно, были там, среди курсантов, этих семнадцати-восемнадцатилетних мальчишек, и наравне со всеми переживали тяготы походной жизни и первое боевое крещение... Итак, самые любопытные записи из журнала:

29.06.41. 13:00 Получили приказ в составе артполка выступить на усиление южных подступов к гор. Киеву и поступить в распоряжение ком-ра 9-й Армии. 18:00 Выступили по маршруту: Лукьяновка, Жуляны, Крюковщина, Тарасовка, Будаевка, Глеваха, Каплища, Васильков.

30.06.41. 1:00-3:30 Большой привал в лесу южнее Будаевка. 3:00 Ужин – сухой паек. 3:30 Выступили по маршруту. На привале к-том (курсантом) 3-го д-на (дивизиона) Мирошник была забы-

та винтовка за № 5990. Розыск производится. При спуске с горы упал с лошади ездовой корня упряжки 3-го д-на к-т Чиж. Слегка потерпел. Самочувствие хорошее. Противогаз к-та Чиж разбит. Во время марша к-том 1-го д-на Гольфманом утерян штык. Розыск производится. 8:00. Остановились на отдых в Каплища. Ждем дальнейших распоряжений из штаба армии. 10:00. Завтрак – сухой паек.

Есть (среди курсантов) отдельные отрицательные настроения как-то: к-т С. (фамилия написана неразборчиво) (1 д-н) при раздаче сухого и позднего ужина заявил: «Если так будут кормить, много не наработаешь». К-т Новиков (2 д-н) обругал мл. к-ра. Командир привел его к порядку. Новиков отошел к курсантам и говорит: «е..л я этих лягавых». Стажер-ветврач Ибрагимов по поводу выезда полка говорил: «Неужели нельзя без училища обойтись, ведь посылка училища на фронт – крайнее дело. Плохо, знать, обстоят дела. Прощай, мой юг».

Начсостав обеспокоен отсутствием подготовки у курсантов. Нервничают. Но, несмотря на это, настроение бодрое, напр.: лей-нт Чулков говорит: «Что же сделаешь, сами будем стрелять и их научим».

12:00 Проведены политинформации во всех подразделениях. За переход Лукьяновка-Каплища насчитывается бойцов с потертыми ногами: 1 д-н – 18 человек; 2 д-н – 28 человек; 3 д-н – 9 человек; 4 д-н – 20 человек. 17:00-18:00 Обед. Найдена винтовка № 5990.

1 июля курсанты училища получили первое боевое крещение.

11:15 Самолет пр-ка бомбил станцию выгрузки Васильков 1-й – есть убитые и раненые. Три бомбы не разорвались. Приказал: 1. Организовать оборону выгрузки на ст. Васильков 1-й 2. Подорвать бомбы 3. Установить телефонную связь с нач-ком гарнизона. 11:45 Согласно приказанию нач-ка гарнизона, командир полка приказал выделить четыре батареи с задачей стрельбы по снижающимся самолетам. 14:30 В районе огневых точек появились три бомбардировщика пр-ка. С огневых точек был открыт огонь по самолетам. Снаряды ложились хорошо. 18:00 Вторично появились самолеты. Стрельбой огневых точек боевой курс их изменили.

3.07.41. 5:30 Все к-ты див-ов и батарей вызваны в Киев для получения новой задачи. 6:30. Слушали по радио выступление тов. Сталина. Настроение здоровое. 8:30 Караульным к-том Щербаковым П. при самовольном разряжении винтовки был ранен в паховую часть живота курсант Маевский М.В. К-ту Маевскому оказали помощь и отправили на машине в госпиталь воинской части (4 див-н). 9:00 Возвратились батареи с огневых точек. На марше к-т Павлов (1 д-н) попал под колесо. Получил ушиб и растяжение левой стопы. 13:00 Во всех дивизионах проведены митинги по выступлению тов. Сталина. Много было выступающих по злободневным, нашим бытовым вопросам. 14:30 Убыли на рекогносцировку нового района. 15:00 Отправили в Киев трех заболевших: Гулямов 2 д-он – с аппендицитом; Конорев 2 д-он – с малярией; Шевцов 3 д-он – с фурункулезом.

4.07.41. 17:00 Появились самолеты пр-ка. Зенитки открыли огонь. Прибежал к-т и доложил, что высадился в 3-х км десант с самолета. 17:15 на 2-х машинах к-р полка, 1 и 2 пнш (помощника начальника штаба) и 30 чел. к-тов выехали на поиски. Никого не обнаружили. Местные жители никого не видели. Доклад был не верен. Как впоследствии оказалось, черные опускавшиеся облачка от разрывов шрапнелей были приняты за парашютистов. 20:00 Прибыло народное ополчение из Киева на рытье траншей и устройство заграждений.

И это только неполный список событий первых нескольких дней! А были еще: ежедневные налеты и обстрелы, постоянные рекогносцировка и смена позиций, учеба и рытье окопов, устройство блиндажей и заграждений... А потом наконец эвакуация в Красноярск, где курсантов поселили в Военном городке, в пустующие после отправки на фронт 119-й стрелковой дивизии казармы. И там в холоде и голоде продолжилась их учеба...

В середине ноября состоялся выпуск курсантов (в числе которых был Пусик), зачисленных перед войной. Из воинской части № 4463 их отправили на фронт, сдерживать чудовищный натиск немцев под Москвой. В их число не попали десять человек, те самые, о которых писал Владимир: «направлены в училище для продолжения занятий из-за несовершеннолетия». Их отпра-

вили воевать в феврале. Но вернемся к Пусику. Он так и не стал лейтенантом. И погиб на несколько месяцев раньше Владимира, сержантом. Последнее письмо с фронта Пусик отправил матери 24 декабря 1941 г. Потом связь с ним оборвалась... В 1960 году на запрос о судьбе сына Дора Перцовна получила наконец официальный ответ – «заключение райвоенкома»: «Разыскиваемого Штейнгольца Перец (Петра) Иосифовича, 1923 г. р., считаю возможным учесть пропавшим без вести в боях под Москвой (Волоколамское направление)».

Мечта же Владимира стать лейтенантом сбылась – из документов мы знаем, что он погиб младшим лейтенантом. Возможно, конечно, звание было присвоено ему уже на фронте, однако несколько строк в последнем письме Владимира «из мирной жизни» (написано 15 декабря 1941 г.) позволяют нам думать, что случилось это еще в Красноярске:

«О себе писать почти нечего. По-прежнему занимаюсь очень много, последние полтора месяца занимаемся почти исключительно в поле. Морозы – не ниже 22-23 градусов. Сначала от непривычки мой нос (не думай, что он у меня такой длинный) не мог побороть сибирские морозы и довольно часто болел, менял свою кожу, но теперь он до того закалился (или обморозился), что не чувствует никаких морозов. Я себя чувствую прекрасно. Физически, как утверждают мои знакомые, возмужал.

И дочка, на днях я кончаю (училище. – **В. К.**). Кем я буду официально, неизвестно, но, вероятно, тем, кем хотел быть».

Все это время Ида и Феня пытались устроиться в эвакуации... И та, и другая в письмах и телеграммах просят Владимира помочь. Помочь с пропиской, деньгами, просто советом... В те страшные месяцы для этих двух уже взрослых женщин юный племянник стал единственным защитником и опорой. Но что он мог сделать? Мальчишка-курсант в далеком Красноярске?! Тем не менее Владимир пытается помочь. Пытается выбить справку у начальства, настойчиво советует Иде ехать туда, где тепло, и там искать родственников, просит ее потерпеть еще чуть-чуть, потому что вскоре он уедет на фронт и будет получать «приличную» ставку... Но все это, понимает Владимир, так недействительно сейчас, и письма его полны отчаянья:

«Идочка, твое письмо привело меня в ужасное волнение, и не так твое письмо, как то, что я ничем не могу тебе помочь. С 6/ХІ по сегодняшний день я бегал абсолютно ко всем, кто имел какое-нибудь отношение к тому, что ты меня просила. Сегодня утром я был у самого последнего (неразборчиво) начальника. Объяснил ему, что родителей у меня нет, воспитывался я у тебя (ложь, придуманная Владимиром во имя спасения тети с детьми. – В. К.), а теперь ты находишься в таком-то и таком-то положении. На это мне ответили, что пока никакой справки выдать не могут, и о выезде не может быть и речи...»

«Поверь мне, Ида, что если бы я мог провалиться сквозь землю и тем самым помочь, я бы это сделал».

«Мне только больно, что я тебе ничем не могу помочь. А ты с двумя крохотными детьми, где Володя (муж Иды. – В. К.) не знаешь? Много горя тебе придется перетерпеть. Но крепись, я буду делать все возможное, чтобы добиться помощи для тебя».

С гибелью Владимира ждать помощи Иде и Фене было уже неоткуда. Феня была разведена, муж Иды пропал без вести на осажденном немцами острове Хийумаа (в настоящее время – о. Даго) еще раньше племянника (в октябре 41-го), а остальные родственники, оставшись в Одессе, бесследно исчезли... Дождавшись освобождения Одессы, сестры в начале 45-го вернулись с детьми во двор своего детства. Они жили в нем с 1917 года и совершенно не узнали его сейчас... Двор был чужой. В квартирах друзей и знакомых жили другие люди... Их квартира тоже была занята. Чтобы вернуть жилплощадь, нужны были свидетели. Казалось бы – проще простого, но соседка, одна из немногих, кто жил в доме еще до войны, соседка, которая помнила Иду еще трехлетней, сказала: «Я таких не знаю! Они здесь не жили!». Слава Богу, были еще и другие свидетели... Вместо трех комнат им отдали одну, в которой они ютились многие годы... И спали: Ида с дочерьми – на железной кровати, Вова на раскладушке, а Феня на письменном столе... Вот так закончилась война для героев этого очерка... Для тех немногих, кто остался жив...

«Будь здорова. Береги Анечку, Лизочку. Целуй их за меня бес-
счетно раз. С приветом, Вова», – прощаясь, в каждом письме писал
Иде Владимир.

Ида сберегла. И целовала бесчисленно раз Анечку и особенно Лизочку – дочь, которую из-за войны ни разу не видел отец, как, впрочем, и все ее другие многочисленные одесские родственники...

При написании очерка и предисловия к нему использованы воспоминания и письма из личного архива Е.В. Бендерской, воспоминания М.Л. Полищука и Н.Н. Щербатюка, данные сайта ЭБД «Память народа 1941-1945» и форумов, посвященных истории военных училищ СССР, а также литературные источники: В. Карп. «Юноши в командирских шинелях», 2013 г.; Н. Подлегаев. «Одесские орлята», газета «Слово», 2016 г., № 26; Т. Коленко. «История артиллерийской спецшколы № 16», 2018 г. и др.

Автор благодарит командира поискового отряда Думиничского р-на Калужской обл. А.И. Гану и председателя Калужской областной организации ветеранов А.М. Исаченко за помощь в поиске информации о В.В. Штивельбанде.



Татьяна Потапова

Мы из «Солнечного»

Мой отец Потапов Владимир Петрович в начале 50-х годов приобрел в ДСК «Солнечное» участок, расположенный за зданием правления. Вспоминается гравий, шуршащий под ногами, маленькие деревья с огромными, величиной с яблоко, абрикосами, садовник Порфендий Павлович Турецкий, который целый день работал в саду, а вечером, уходя домой, строго приказывал перенести шланг под то или иное дерево, бесконечные походы с маминими тетушками на море – по пыльным дорогам: никаких лестниц тогда не было. Особой примечательностью нашего кооператива были белые отпечатки ступней какого-то Неведомого Великана – они появлялись перед входом в главные ворота кооператива и, разбросанные по центральной аллее, приводили к дому замечательной художницы Нинель Котляровой. Сюда приезжали отдыхать и работать молодые талантливые художники: Сергей Тарасов, Николай Прокопенко (ныне народный художник Украины), Сергей Ильин и многие другие. Здесь формировалась будущая художественная элита, впоследствии прославившая Одессу далеко за ее пределами. Дочь Нинель Ольга и внучка Таня ныне заслуженные художники Украины.

А слева по центральной аллее находилась и находится сейчас дача видного ученого в области холодильной техники, термодинамики и теплоэнергетики Владимира Сергеевича Мартыновского, сына известного революционера-народовольца Сергея Ивановича Мартыновского, в честь которого была названа площадь. Одесситы помнят круглое здание, теперь уже снесенное, в котором в течение двадцати трех лет жила семья Мартыновских.

В 60-е годы Владимир Сергеевич был ректором холодильного института (Института пищевой и холодильной промышленности, сейчас – Институт холода, криотехнологий и экоэнергетики им. В.С. Мартыновского), а мой папа Потапов Владимир Петрович, профессор, доктор физико-математических наук, заведовал в нем кафедрой высшей математики. Вспоминаю, как после очередной научной командировки в Париж Мартыновский пришел к нам в гости. За праздничным столом у нас на веранде собрались коллеги, друзья, родственники. Владимир Сергеевич показывал всем привезенный из Парижа альбом Сальвадора Дали. Это было мое первое знакомство с его творчеством, и особое впечатление на меня произвела «Джоконда, разложенная на гранулы».

– А сейчас приготовьтесь к главному сюрпризу, – сказал Владимир Сергеевич, – но только, пожалуйста, выведите куда-нибудь ребенка.

Ребенок – это я. Меня вывели в сад, но я тут же спряталась за колонной веранды и все увидела: Мартыновский вынул из кармана маленькую круглую игрушку, похожую на детский волчок, завел ее и... нечто змееподобное начало бешено раскручиваться и в конце концов обрызгало всех присутствующих какой-то зеленой жидкостью.

– Так это же фаллос! – воскликнул кто-то из гостей.

– Это горчичница, – ответил Владимир Сергеевич.

Напротив нашей дачи располагалась дача Александра Эдуардовича Лопатто – профессора, заслуженного работника высшей школы Украинской ССР, многие годы возглавлявшего кафедру железобетонных конструкций в Одесской государственной академии строительства и архитектуры. Александр Эдуардович был сыном знаменитого ученого-химика, профессора Эдуарда Ксавьеревича Лопатто, активного участника партизанского движения в годы фашистской оккупации Одессы. Эта дача – одна из первых в нашем кооперативе: семья Э.К. Лопатто проживала здесь с 1933 года. Есть сведения, что во время немецкой оккупации тут находился партизанский штаб. В настоящее время на даче проживает уже пятое поколение династии Лопатто.

Нашу аллею перпендикулярно пересекала и пересекает сейчас аллея, которую тогда можно было бы назвать математической,

так как, свернув направо, мы оказывались перед дачей Моисея Аароновича Рутмана – профессора, доктора физико-математических наук, где он проживал с женой Галиной и дочерью Леной. Позднее появилась внучка Лиля, которая сейчас живет в Израиле. А рядом находилась дача, на которой проживала полностью математическая семья: ее глава – профессор Арнольд Петрович Шварцман, его очаровательная хрупкая супруга Мирра Осиповна и дочь Лина (тоже математик). Лина вышла замуж за молодого талантливого математика Адика, который впоследствии стал известным ученым (Адольф Абрамович Нудельман). Их сын Марик также стал математиком, сейчас он кандидат физико-математических наук. Да, недаром наш кооператив назывался тогда «ДСК научных работников»!

А в конце нашей аллеи находилась дача знаменитого детского хирурга-отоларинголога доктора Хаиса. Его сыновья унаследовали отцовскую профессию, и когда моей маленькой Владе было необходимо удалить аденоиды, мы обратились к Люсику Хаису – самому популярному в те годы детскому хирургу. Но как объяснить трехлетнему ребенку, что его ведут на операцию? На помощь пришла свекровь:

– Владочка, ты ведь хочешь полететь в космос? Но для этого нужно сделать очень важный анализ, без него в космос не пропустят!

И Влада с радостью согласилась, операция прошла успешно! И вот ее выводят за руки из больницы медсестра и свекровь. Увидев меня, она воскликнула:

– Мама, какой неприятный анализ!

Ей явно расхотелось лететь в космос.

Налево от нашей аллеи узенькая тропинка вела к даче Григория Мироновича Гольденберга. Известный врач-кардиолог, обаятельный человек, остроумный собеседник, отсидевший в сталинские времена два года в тюрьме «за анекдоты». Его жена, красавица Лида – высокая, стройная, в открытых сарафанах и с копной пышных рыжих волос, неизменно вызывала всеобщее восхищение. Их не менее красивая дочь Ира давно проживает в Австрии, но каждое лето приезжает на родительскую дачу, построила там дом.

И еще хочется вспомнить о замечательном враче-инфекционисте Якове Семеновиче Гиммельфарбе. Когда в Одессе вспыхнула холера, Яков Семенович проводил на нашей «главной площади» специальные собрания. Ему выносили высокое кресло, восседая на котором, он объяснял, как нужно принимать тетрациклин, как часто мыть руки, с мылом или без; нужно ли обдавать фрукты кипятком и т. д. Обсуждался и немаловажный вопрос о поцелуях: как надо целоваться – непосредственно или при помощи целлофановых кульков. Помню, что некоторые (не буду здесь называть фамилии) приобретали для поцелуев красивые кульки и хвастались ими при встречах на аллеях. А когда был пропит тетрациклиновый курс, Гиммельфарб отдал приказ пить побольше белого сухого вина для растворения вибрионов в кислой среде, и все дружно его выполняли. Естественно, купание в море было под строжайшим запретом.

И в это время в Одессе появляется врач, который вопреки всем запретам не только ежедневно купается в море, но и пьет (!) морскую воду. Пьет, чтобы хоть немного остудить охватившую многих панику. Это был Сергей Николаевич Гончаренко. Он приехал из Львова в Одессу с блестящей идеей – использовать взвесь плаценты, при помощи которой Филатов лечил катаракту, для оздоровления и омоложения организма в целом. И с этой идеей он пришел к Надежде Александровне Пучковской, возглавлявшей в те годы Институт глазных болезней и тканевой терапии им. ак. Филатова. И Пучковская с радостью предоставила ему для исследований небольшое помещение на территории института. Так в институте образовался кабинет геронтологии и гериатрии, куда ринулся огромный поток пациентов: представители обкома партии, ведущие академики, знаменитые художники. Еще бы! У мужчин повышалась потенция, женщины омолаживались. Результаты исследований (подконтрольная группа включала 200 человек) были положены в основу кандидатской диссертации. Научная работа проходила в тесном сотрудничестве с Киевским институтом геронтологии. Вышла монография, в которую вошли все материалы. Она получила широкую известность в США. Один экземпляр, подаренный мне автором, я позднее передала в дар Музею Филатова.

В 80-е годы Сергей Николаевич приобрел участок в нашем кооперативе неподалеку от дачи Гольденберга. Интереснейший собеседник, тонкий знаток искусства, он всегда был окружен друзьями: «Друзья становились пациентами, а пациенты – друзьями», – любил повторять Гончаренко. Среди самых близких – семья академика Божия. На даче постоянно находились гости, сюда приезжала вместе со папой маленькая Полина Осетинская, ныне всемирно известная пианистка.

Сергей Николаевич был чрезвычайно требователен как к себе, так и к окружающим. Будучи последователем учения Амосова, он ежедневно утром, до завтрака, в любую погоду пробегал 6-8 км и после этого купался в море. Купания не прекращались и зимой. А когда у нас замерзло море, он при помощи топорика делал прорубь и с наслаждением окунался в ледяную воду. Никогда ничем не болел. Завтракал после пробежки и купания в 12 часов (луковица и два бутерброда). «Прежде чем пополнить энергию, ее необходимо отдать», – говорил он.

Доставалось и лаборанткам. Но, пожалуй, самые жесткие требования предъявлялись к маме и тетушке, которые жили вместе с ним: летом в их обязанности входили уборка участка, работа на огороде, поливка растений. Старушки (а им было уже где-то под девяносто, тетья Оля участвовала в революции 1905 года) тщательно выполняли поставленные перед ними задания. «Будут двигаться – будут жить», – повторял Сергей Николаевич. В начале 90-х он уехал в Австралию и в Одессу больше не возвращался.

А на аллее, ведущей от главных ворот к переулку Ахматовой, находилась дача семьи Алавердовых. Алавердов Андроник Христофорович, черкес по происхождению, прошел всю Отечественную войну, брал Берлин, был на генеральской должности. В 50-е годы возглавил Одесский облкниготорг. В то время начиналась мода на подписные издания, и он помог многим быстро оформить подписку. Позднее он также возглавлял Дом музыки, который находился на улице Карла Маркса в здании, где впоследствии разместится магазин «Оксамит України». Мудрейший человек, замечательный организатор любого дела.

В начале 60-х мой отец был председателем кооператива, а Андроник – его заместителем. Папа относился к нему с большим

уважением, называл «стратегом наполеоновского масштаба». Прекрасный семьянин, он обожал жену Елену Сергеевну и дочь Галину, мою подругу. Елена Сергеевна имела немецкие корни и аристократическое происхождение.

– Я баронесса фон Блюмер, – однажды призналась она мне. Тогда это было тайной.

Преподавала в одесских вузах английский язык, великолепно знала поэзию Серебряного века, часто цитировала наизусть стихотворения И. Северянина, К. Бальмонта, А. Белого. Была постоянно окружена любовью и нежной заботой мужа.

Вспомнился один эпизод на дачной террасе:

– Андроничек, принеси мне, пожалуйста, вон ту дыню!

– Эту, Лена?

– Нет, вон ту, четвертую с права, с розовым бочком.

В настоящее время в кооперативе проживает со своей семьей дочь Галины Наталья Пилипенко.

А в те времена я училась в школе им. Столярского, и мне приходилось играть на фортепиано по 5-6 часов в день.

– Да. Все дети на пляже, а Таня играет, – вспоминала Аня Лопатко, еще одна моя дачная подруга.

Для музыкальных занятий на дачу из городской квартиры каждое лето родители перевозили рояль «Безендорф». В конце концов им это надоело, и папа, когда я училась в девятом классе, купил еще один рояль – «Блютнер», для городской квартиры, а «Безендорф» остался на даче. На этом «Безендорфе» играл Эмиль Гилельс, когда приезжал летом в Одессу. Инструмент был тугой, с тяжелой клавиатурой, и Гилельс сказал, что на нем хорошо играть гаммы. Папу с Эмилем связывала с юности крепкая дружба: они занимались в консерватории у одного педагога – профессора Берты Михайловны Рейнгальд.

Папа до университета учился в консерватории, в школе не занимался. Мой дед, профессор Новороссийского университета Петр Осипович Потапов, филолог-исследователь, знаток славянских языков, не пустил папу в советскую школу и дал ему блестящее домашнее образование. И к восемнадцати годам отец обладал настолько глубокими и обширными знаниями литературы и искусства, что преподаватели консерватории называли

его в шутку профессором. Позднее ему суждено будет стать профессором математики, автором оригинальной теории, открывшей новый подход к решению важнейших проблем как математики, так и техники (посмотреть более подробную информацию об отце и деду можно в электронном справочнике «Они оставили след в истории Одессы»). Но любовь к музыке сохранилась навсегда: он занимался со мной, безотказно и бескорыстно помогал многим музыкантам: Борису Блоху, Павлу Чуклину и другим. В консерватории познакомился с моей будущей мамой Асей. Она окончила композиторский факультет, и столь успешно, что ее портрет какое-то время висел в Третьяковской галерее. Мама всю жизнь преподавала в школе имени Столярского. Среди ее учеников – знаменитый советский композитор-песенник Оскар Фельцман, певица Галина Олейниченко, композитор Александр Красотов и многие другие. И среди самых любимых – Сергей Александрович Гешелин, выдающийся одесский врач, хирург, профессор, ушедший из жизни не так давно, за несколько дней до своего девяностолетия.

В нашем кооперативе проживали две любимые ученицы мамы – Татьяна Календерьян и Татьяна Дубинская (ныне Кнышова, заслуженная артистка Украины).

А в 70-е годы по соседству с Алавердовыми проживала семья Рихтеров. Анатолий Петрович Рихтер, народный артист Украины, ведущий оперный бас, обладатель редкого по красоте и силе голоса, очень любил ухаживать за деревьями. Находясь на даче у Алавердовых, где я проводила почти все свободное от игры на фортепиано время, я сквозь забор часто видела его в полосатой пижаме с ведрами в руках, напевающего арию Мефистофеля. Его жена Нинель Петровна Рихтер-Сочиенкова была талантливой оперной певицей, чутким педагогом и добрым отзывчивым человеком. К ней всегда можно было прийти и посоветоваться по любому вопросу. Здесь подрастала их замечательная дочь Елена, которая, преумножив достижения родителей, станет великолепной певицей. Но тогда мы с ней еще не были знакомы.

Кто мог знать, что пройдут годы – и я начну писать музыку, а Лена будет исполнительницей моих романсов?

Отдельной достопримечательностью нашего кооператива были... сторожа! В 60-х годах они изобрели оригинальный способ зимнего заработка: ночью взламывали двери, а утром звонили по телефону хозяевам и сообщали о взломе, ссылаясь на дырку в заборе. При этом с радостью оповещали испуганных хозяев о том, что ничего не украдено, и просили приехать и самим на все посмотреть. «А пока вы будете ехать, я все починю». И такой спектакль повторялся с завидной регулярностью. В конце концов одного из них выследили, разоблачили и уволили, и в дальнейшем подобные безобразия не повторялись.



Нашему Губарю

Среди многого придуманного и сделанного Олегом Губарем, и возвышенного, и земного, и грешного, и праведного... и крайне значительного, и веселого озорства – был (есть!) и особый праздничный ритуал, как бы наоборот. Это когда он в свой день рождения, еще до того, как мы протягивали ему свои подарки, вручал нам свою новую книгу – книгу для друзей. Последней стала в 2021 году веселая и грустная, поучительная и озорная «Легенды и мифы старой Одессы». Повторю еще раз: он и сам стал и легендой, и мифом, и апокрифом...

Научились делать подарки Губарю и мы – его современники, друзья, соратники, симпатии... Ко дню рождения города (сентябрь 2021) вышел его грандиозный труд «Топография пушкинской Одессы», не поспевший, но и не опоздавший.

Недавно к своему 85-летию Евгений Голубовский выпустил второй сборник монологов в ФБ и открыл его посланием Губаря, адресованным юбилею несколько лет назад. Оно начинается летучей строкой: «Мы – спина к спине – у мачты...»

«Нас было много на челне...» – это Пушкин, стихотворение «Арион». Нас стало меньше.

Михаил Пойзнер, сделавший все и даже более того, чтобы двухтомник Губаря вышел при его жизни, недавно подарил мне (нам) свою только что вышедшую книжку «На одесской волне». Вернее – передарил, потому что она посвящена «Моему Олегу Губарю». Эти строки предваряют два рассказа из сборника, изданного человеком, который в предисловии пишет: «Мне уникально повезло жить в том доме, где я родился». Повезло и нам – жить в этом городе, пусть и на других улицах.

Я выбрал для публикации два сюжета. В первом Миша и Олег бродят по Староконному, и Олег внезапно покупает не одесский кайфик, а потрепанную солдатскую шляпу из обмундирования 70-90-х годов, чем удивляет Пойзнера... А я, похоже, угадал причину Олегова интереса к ней. Уверен, что такую же рядовой Губарь носил на летнем солнцепеке, когда служил в дальних от Одессы краях...

Второй рассказ – дань уважения тем нашим землякам, кто бережно и бескорыстно хранит реликвии, в которых та история нашего города, которая составляла смысл и смак жизни нашего Олега.

Феликс Кохрихт

Михаил Пойзнер

Сердечные воспоминания?

...Как-то в выходной вырвались с Губарем на Староконный. Идем нестроевым шагом. Все вокруг знакомо, все вокруг одесское...

И тут Губарь увидел, что с земли продают форменную солдатскую шляпу. Такие вместо обычных пилоток носят в южных регионах. Где-то в Средней Азии, что-то типа Кушки или рядом. Губарь мгновенно ожил: «Сколько?!». Говорят, 60 гривен. Он тут же рассчитывается.

Теперь оживился я: «Ты что? Сразу позоришься на весь Староконный! А торговаться!!! Мало ли кто что захочет?!».

Губарь, как бы извиняясь: «Ну я давно искал такую шляпу. Не попадалась... А с этим у меня сердечные воспоминания...».

Я даже не хотел прислушаться к его словам. Иду и ворчу вслух... Губарь как-то тоже сник. И тут смотрю – старуха торгует носками. Выбираю пару противного ядовито-желтого цвета, резко передаю Губарю: «Это тебе!». Губарь возражает: «Зачем?! Мне не надо!». Я стою на своем: «Надо! Теперь я буду всем говорить, что на Староконном одел Губаря... с ног до головы!».

Мы одновременно громко засмеялись. Теперь можно с настроением рассматривать Староконный дальше.

Последнее...

Это было давно. Может, лет двадцать назад.

Тогда, как и сейчас, я по выходным не пропускал Староконный. За столько лет многих постояльцев знал не только в лицо. Часто останавливался, чтобы перебраться одесскими словами «за жизнь». И вообще...

Так я познакомился с мужчиной спортивного вида лет 50-55, который специализировался на краеведении – старые одесские газеты, журналы, фотографии, открытки, книги.

С годами мы внешне даже стали близкими знакомыми по интересам. Как-то он принес на Староконный подшивку дореволюционного «Одесского вестника» за какой-то год. Тогда я как раз занимался броненосцем «Потемкин», убедившись, что в советское время вокруг этого события много сознательного вранья и недосказанности. Особо не рассчитывая на удачу, все же переспросил: «А может, найдется что-то за июнь 1905 г. по «Потемкину»?». При случае посмотрит. Мы даже обменялись телефонами.

И вот неожиданный звонок: «Что-то есть. Заходи...». Так я попал в его более чем скромную квартиру в глубине 6-й станции Фонтана. Газету с заметкой о потемкинских днях он просто отдал: «Для работы, для Одессы – бери». И тут я заметил на столе толстую книгу в ярко-красном переплете. Это была *«Адресная и справочная книга всей Одессы за 1911 г.»*! Книга с адресами торгово-промышленных предприятий и алфавитным указателем жителей, учреждений, списком улиц и т. п. Книга весьма-весьма редкая. Можно сказать, уникальная.

Он обратил внимание на мою реакцию: «Адресная книга...»?! За счет этой книги меня когда-нибудь похоронят... Продадут – и не надо переживать за те похороны. На все хватит...».

Я только громко рассмеялся. При чем здесь похороны?!

Потом он исчез со Староконного. Еще долго его постоянное место на Ризовской, напротив дома № 18, никто не занимал.

Потом постепенно он как-то выпал из памяти, телефон тоже забылся.

И тут весной, кажется, 2004 г. высветился какой-то номер. Его голос я не сразу узнал: «Зайди. Надо...». В выходной я решил за-

скачуть на минуту. Двери открыла жена, молча проводив в его комнату. На диване лежал человек, даже отдаленно не напоминающий моего энергичного словоохотливого знакомого со Староконного. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять – одной ногой этот человек уже не на этом свете...

Он протянул мне ту одесскую «Адресную книгу»: «Держал до последнего... Держал для тебя... Как-то не принято дарить пустой кошелек. Оставь каких-то символических пару копеек...». Он сам опередил возможный вопрос: «Похороны? За все заплатит мой завод. Еще после той приватизации задолжали... Не все в руках Господа...». Он продолжил: «Мне когда-то предлагали за нее большие деньги. Я таких денег никогда в жизни не видел... А у меня, кроме Одессы, больше ничего большого не было. И деньги тут ни при чем...».

Я еще долго не мог прийти в себя, сравнивая бойкого спортивного парня со Староконного и забившегося в угол дивана изможденного старика.

...Когда он ушел из жизни, до сих пор мне точно не известно. Да и фамилии его толком не знаю. Коля и Коля... А осенью 2006 г. внезапно ко мне пришла его жена. Я не сразу понял, кто это именно. Опустив глаза, она передала мне картинку в рамке за стеклом – редкая фотография памятника Екатерине II в Одессе.

«Я слышала, что вы занимаетесь восстановлением памятника Екатерине II. Мой Коля говорил, что мы все равно доживем, когда вернут памятник на свое место. Тогда эта фотография может пригодиться». Подняв глаза, полные слез, она резко ушла.

27 октября 2007 г. в Одессе, на «старом месте», открыли памятник Екатерине II. При подготовке этого события эта фотография оказалась не лишней.

За прошедшие годы одесская «Адресная книга...» хорошо поработала. На ее счету немало добрых дел... С ее помощью бесчисленное количество раз распутывали, уточняли и решали вопросы по истории нашего города, рассказали о жизни многих одесситов «из раньшего времени».

Теперь книга эта напоминает о человеке, которому были чужды сиюминутные ценности. Человеке, для которого Одесса была смыслом жизни. Одесса, которой он мог отдать и отдал последнее...

Рафаэль Гругман

Исхода жертвенный алтарь

Какая мука – глядеть вслед уходящему московскому поезду! За пять минут до отхода клятвенные обещания писать: «Обязательно встретимся». – «Да, да, обязательно, в Иерусалиме, где же еще?» – «Через год вы приедете или мы, но лучше вы». Последний глоток шампанского из бумажных стаканчиков, сквозь слезы выведенные улыбки и... всё!

Незачем обманывать себя – не встретимся. А если встретимся, то окажемся вдруг другими, неожиданно ставшими чужими, в том же материальном, но ином астральном теле, с другой кровью и другой кожей.

Каждый поход на вокзал – тупым ножом по горлу: не режет, а надрезает, и кровь, не успевая хлынуть, лентой запекается на шее еще одной потерей.

На кладбище провожаем мертвых, на московский поезд – живых. Красная черта, после которой обратной дороги нет, – аэропорт Шереметьево.

«Северу скажу: отдай, и югу – не удерживай, северу скажу: отдай... – надрывно поет в одесском филармоническом зале американка из христианского посольства в Иерусалиме, призывая зрителей, пришедших на празднование Рош Ха-Шана, к эмиграции на Святую землю. – Не бойся, ибо Я с тобой, не бойся, ибо Я с тобой, северу скажу: отдай, и югу – не удерживай, не бойся...»

Неужели это очередное испытание на прочность, придуманное Им: рассеять по миру, прах растолочь в ступе, а потом медленно, по травинке выдергивая, собрать всех воедино, и лишь для того, чтобы еще раз услышать: «Верю!».

Неужели иного пути нет, и расколом по семьям проверяет на стойкость Он каждого, подбадривая нерешительных и в себе неуверенных: «Не бойся, ибо Я с тобой». Но я ведь не боюсь, я знаю: так оно и есть – Он со мной. Я счастлив, что родился в Одессе, но не загадываемая и подальше отодвигаемая мечта – сладкое, как сахар, и звонкое, как гитара, магическое слово: «Иерусалим».

Не сейчас – в следующем году, еще в следующем, еще... и заклинание, въевшееся в генетическую память и повторяемое как мантра: «Родиться в Одессе и жить где угодно, но умереть там, принятым в стенах Его».

* * *

Осень 1990 года.

Мощная струя вырвала Стеллу с мужем и четырьмя родителями из обжитых одесских квартир, вогнала в автобус и швырнула через румынскую границу в аэропорт Бен-Гурион.

А младшая сестра ее, Полина, зацепившись за торчавший на дороге осколок, застряла на полпути. Трагедия и драма, приобретение и потеря слились воедино в не терпящем возражений слове «любовь».

Любовный треугольник иногда называют Бермудским – остроконечные углы кинжалом врезаются в тех, кто по неосторожности оказался поблизости.

Три вершины: Полина, Эдик и Коля. Треугольник обозначен. Тайфун приближается. Его имя – тайфунам принято давать женские имена – «Эмиграция».

Сестры. Старшая Стелла – в ее имени слышна сталь – волевая, настойчивая, привыкшая всегда идти напролом, и младшая – Полина. Как удивительно музыка имени определяет характер: мягкая, добрая, покладистая. Три года разницы. Плоть одинакова. Сердце и душа – разные. Но с детства – проказы, игры, друзья – всегда вместе.

Стелла. Обычный маршрут – школа, институт, замужество, сын Вадик... Затем – всякое в жизни бывает – роман с мужем подруги, закончившийся тяжелым разводом с дележом неделимого,

но Стелла и здесь оказалась на высоте и уступила бывшему мужу лишь то, что нельзя было не отдать: несколько книг, магнитофон «Комета» и личные вещи.

...Прошло семь лет.

Вадик вырос, петушиным взором окинул окрестности, и первая же курочка, которую он нечаянно клюнул, взяла его под руку и на глазах оторопевшей мамы повела во Дворец бракосочетаний. Марш Мендельсона повторять не буду – вы его и без меня знаете.

Курочка, похлопав крыльями, яйца нести не стала, покудахта-ла, покудахта-ла и увела петушка на другой насест, в Землю обетованную.

Подобной наглости Стелла не ожидала. «В погоню!» Поднять всех: родителей, сестру! Единственный сын в чужие руки не отдается! После споров и колебаний – следует отдать должное талантам убеждения Стеллы – Полина с Эдиком и три пары родителей приняли нужное ей решение: «Едем».

Этим словом Шекспир назвал бы одну из самых великих своих трагедий, доведись ему жить во время Исхода.

Полина. Когда в ее жизни появился Коля, она умело удерживала на плаву семейную лодку: муж Эдик, увлеченный ловлей в чужом аквариуме «золотых рыбок», сделал все, чтобы она не испытывала нравственных мук. Но всякий раз, когда Коля заводил разговор о женитьбе, заканчивался он неизменно: «Сейчас не время. Немного подожди». Они ссорились, расставались. А затем все начиналось сызнова.

«Расстаемся, это невозможно», – попеременно не выдерживали то он, то она. «Да», – вскоре обещала она. «Когда?» – «Через неделю». – «Я не могу. Расстаемся, – говорила она, чтобы через неделю вновь сказать: – Да». «Когда?» – «Скоро. Чуть-чуть подожди». – «Сколько?» – «У сына выпускной класс – я не могу его волновать». – «Это точно?» – «Да, – и в последний момент вновь: – Прости, я не могу...»

Но наступил год 1989-й, когда отступать некуда – пора принимать решение.

Не приведи Господи идти наперекор сердцу, когда хочется сказать: «Да», – а из дрожащих губ: – «Нет», – когда один корешок дерева за морем, другой вылез из земли и едва держится, а третий прочно, глубоко увяз в родной для него почве, его и вынуть нельзя – только выкорчевать. Но дерево нужно пересаживать или целиком, или... рубя по живому глубоко засевшие корни.

Сердца разрываются не на пограничном шлагбауме – раньше. Тайфун безжалостно бьет по семьям, жены с детьми – налево, нерешительные мужья – направо. Вокзал и аэропорт – кладбище разбитых надежд. Треугольников и квадратов. Родители на земле, дети в воздухе. Кто будет их хоронить? Некому. Каждый самолет из Шереметьево – как последний рейс из блокадной Одессы октября 41-го. Успеть бы. Завтра уже будет поздно!

Тайфун «Эмиграция» закрутил треугольник и бросил его на скалы.

Если бы Полина не воспринимала за чистую монету риторику сына: «Если выйдешь замуж за Колю – ты мне не мать! – и решающий аргумент, хитро им задействованный: – Ты как знаешь – я уезжаю с отцом!» – то в вечном споре «чувство долга – семья – любовь», поплакав-поплакав, победила бы жизнь. То есть любовь. И все, сперва родители и сестра, а затем и сын, смирились бы с этим – примеров тому в мировой истории множество. Зачем далеко ходить? Пример Стеллы – перед глазами.

То, что легко на словах, трудновыполнимо в жизни. Полина и Эдик подали документы в ОВИР. Прощание с Колей, как удавка на шее: «Прости, я не могу терять сына. Это выше нас. Прости и забудь». Через день: «Да». «Когда?» – «Завтра». – «Точно?» – «Да». – «Где встречаемся?» – «В три часа в сквере Кирова». – «И в ЗАГС?» – «Да».

Коля ждал ее в три и в четыре, и в пять, и вернулся один в заставленную цветами квартиру, где ее ждал праздничный ужин...

А Полина, уйдя от мужа и не придя к Коле, слегла. Не выдержала напряжения. Психика сорвалась. Укрытая в родительской квартире и от ревниво беснующегося Эдика, и от издерганного обещаниями Коли, она пыталась примирить ум с сердцем. Муж ее любит, убеждала она себя, и, несмотря на фиктивный развод (из-за ухищрений с пропиской пять лет назад они развелись

и забили колышки в разных домах), ради сына она должна уезжать вместе с ним. Но и с Колей, напомидало сердце, ее связывает не один год...

Когда через два месяца затворничества она окрепла и белыми губами прошептала: «Да», – Коля, ежедневно державший наготове ЗАГС, вдруг чудо случится, и она надумает, схватил такси. Глоток шампанского в ЗАГСе и... Полина вернулась в дом мужа. Коле сказала:

– Никому о регистрации брака не говори. Дай мне месяц – я должна сама уладить все с сыном.

Коля, сто раз уже слышавший обещания и отказы, держа в руках свидетельство о браке, и на этот раз вынужден был уступить: «Хорошо, пусть будет так».

Непостижимо, но на следующий день она произнесла: «Нет».

– Заплати, чтобы быстро нас развели. Я не могу терять сына.

Я затрудняюсь в поисках объяснения – женская логика неподвластна сухим расчетам. Вспоминаю Анну Каренину – и один только довод пытаюсь привести в ее оправдание: «Женщина». Непостижимая женщина, не подчиняющаяся логике, никаким правилам, ничему. Я устало улыбаюсь, тихо произнося это слово, потому что легко объясняет оно непредсказуемые шаги и поступки.

Любовь все же победила. В конечном итоге она обязана была победить.

Родная сестра, кричавшая, что Полину, обезумевшую, завлекли в сети, и только скажи ей, она немедленно брак расторгнет; родители, бунтующий сын – все пошумели и успокоились.

– Полина, как Стелла. Дай Бог, чтобы второй брак оказался счастливым.

Со слезами: «До встречи», – Стелла с мужем и четырьмя родителями простилась с Полиной и Колей и уехала в Израиль. Через пару дней Эдик уехал с сыном...

А молодая семья слетала в Иваново к Колиной маме и взяла у нее разрешение на отъезд сына. Вернувшись в Одессу, Коля подал документы в ОВИР.

Четырехмесячное ожидание Колиного паспорта не было потеряно даром. Бесценные советы Стеллы, главы нового клана репатриантов, стали руководством к действию: «Брать электротовары, ни в коем случае не синтетику. Нижнее белье – только хлопок. Мне: лифчик, босоножки... и не медлите, мы сняли с родителей огромную квартиру и ждем вас не дождемся».

Сестры... Иногда спорящие – не без этого, но всегда осознающие свою кровно-духовную связь. Почему именно вас выбрал Он, чтобы показать, насколько человек ничтожен и мелок? Неужели недостаточно было греха Каина, руку поднявшего на родного брата? Неужели, чтобы вернуть свой народ на Землю, дарованную Им несколько тысячелетий назад, Он должен расколом пройти по семьям, как бы в наказание предкам, что не сумели они уберечь Храм?

А если дело в ином? Если избранные Им чада недостойны Святой земли? А может, и тогда, когда привел Он Моисея на новые земли, начались распри среди соплеменников за лучшее пастбище и виноградник? Уверен, что начались. Народ Его не единый монолит, а миллионы кирпичиков, в каждом из которых есть нечто от Каина, Авеля, Авраама и Моисея.

Легко быть праведником, имея дом свой и виноградник, но как ково безгрешным быть в сорок лет, полуголодным взглядом набрасываясь на плодородные земли?

Каин злорадно улыбается и бьет фонтаном на эмигрантское поле семья свое.

Сестры-сестры... На третий день строго охраняемое Стеллой шекелевое пастбище, на котором паслись две пары пенсионеров-родителей, стало полем раздора.

Неблагодарное дело описывать семейную тяжбу: долго тлеющий фитилек, вспышка, ведра воды, вылитые взволнованными родителями, клубится легкий дымок, вновь ведра воды и песок, огонь плотнее, и ни мольбы стариков, ни увещевания друзей, ничто не может потушить пламя Стеллиношекелевого гнева: «Пусть твой муж не жжет в коридоре свет, а курит на улице!».

Варианты: «Пусть тогда они больше платят за свет!» или «Вода дорого стоит – сколько раз за день можно принимать душ?».

Апофеоз: заявление в службу безопасности, что Коля – русский, имеет давнишние связи с КГБ, фиктивно женился, чтобы уехать в Израиль.

Пока Колю вызвали для беседы, пока он доказывал, что ничего в анкете не искажил, а бред о КГБ – гнусный навет, государственная работа, которую он должен был получить, ждать не стала – уплыла.

Финал закономерен. Чтобы не дошло до рукопашной, родители поделили детей: Стелла осталась с родителями мужа, а Полина, забрав маму и папу, съехала на другую квартиру.

* * *

Прошло три десятилетия. Полина с Колей живут в Натании. Эдик неподалеку – в Израиле нельзя уехать на другой конец света. Сын их женился, имеет троих детей и, забыв, как рвался когда-то в Израиль, живет в Киеве – в Украине у него ювелирный бизнес. Когда изредка навещает он страну обетованную, живет в купленной им пятикомнатной квартире, в которой проживает отец. Полина в Киев летает чаще.

Стелла с мужем переехали в Тель-Авив. А Вадик... Он не стал дожидаться маму – купил с женой туристическую поездку в Мексику, а оттуда нелегально перебрался в Америку. Оба давно уже американские граждане, успешные программисты...

Стелла, сорвавшая всех с места, простила сына с трудом. Но на вторую эмиграцию она не решилась.

Прошли десятилетия. Сестры примирились с трудом, сумели ради родителей преодолеть вражду и простить обиды, но трещина в душе нет-нет, и о себе напоминает в часы одиночества. Бесследно склеить разбитый бокал невозможно. Мелкими осколками рассыпался он на жертвенном алтаре Великого Исхода.



Одесский календарь

Приморский
бульвар

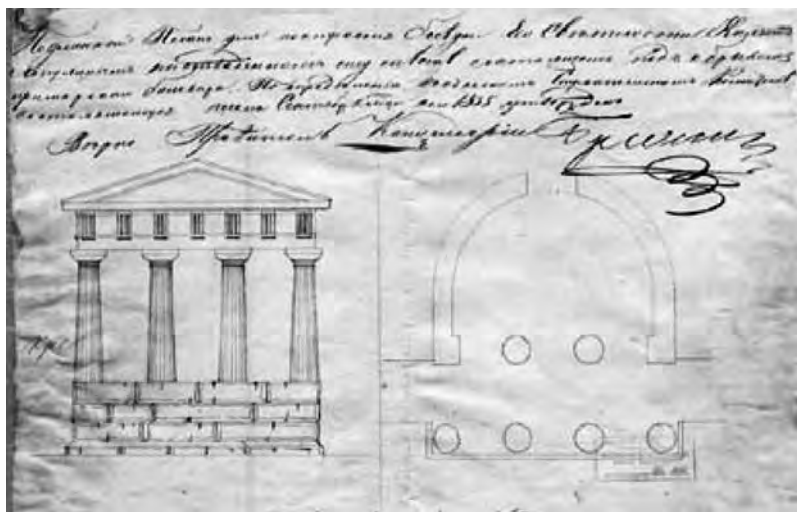
78 Олег Губарь
Гостиница «Лондонская»

Олег Губарь

Гостиница «Лондонская»

Приморский бульвар, № 11

Здание, в котором изначально помещалась «Лондонская», как и ряд других частных аристократических особняков Бульвара (Бульварной улицы), возведено в 1826-1828 годах по проекту Ф.К. Боффо. Особняк этот принадлежал князю П. Лопухину. Любопытно, что в 1830-е годы он получил в собственность также участок земли на оползневой террасе, прямо против своего дома, и соединил оба своих владения подземным ходом. Вероятно,



План и фасад декоративно оформленного входа в штольню из сада в дом князя Лопухина.
Ф.К. Боффо. Сентябрь 1835 г.

по этой причине будущую «Лондонскую» причислили потом к тайным местам, из которых одесситок против их воли переправляли в гаремы сладострастных восточных вельмож. На самом же деле подобные участки выделялись тут под сады. При этом преследовалась и другая цель – укрепить склоны корневищами кустарников и деревьев. Заметим также, что выход из упомянутой «штольни» Лопухин оформил в 1835 году в виде античной колоннады, которая просматривается на старинных гравюрах и литографиях. Колоннада эта (грот) входила в систему стены, укрепляющей откос бульвара, – проект сооружения сохранился в фондах Одесского историко-краеведческого музея.

Дату рождения гостиницы можно установить с большой точностью, вопреки уверениям некоторых краеведов в обратном. Сопоставляя «Новороссийские календари» на 1846 и 1847 годы, мы видим, что в первом упоминания о ней отсутствуют, тогда как во втором факт ее существования («на Бульваре, № 11»)



Вид на Приморский бульвар со стороны гавани в начале 1850-х. Слева различим декоративно оформленный вход в штольню князя Лопухина

зафиксирован. Цензурное разрешение на издание первого из календарей последовало 15 сентября 1845 года, а второго – 21 августа 1846 года. Следовательно, «Лондонская» открылась в промежутке между этими датами.

Имея в виду, что одесские гостиницы во второй-третьей четверти XIX столетия всегда открывались весной, накануне купального сезона, можно с уверенностью утверждать, что «Лондонская» открылась не позднее первой половины апреля 1846 года, то есть смело сможет отпраздновать свое 160-летие.

Имеются и вполне определенные известия об ее основателе и владельце. Жан-Батист (Джованни-Батиста) Карута – один из тех французских кондитеров и гастрономов, которые налаживали в юной Одессе систему общепита и гостиничного хозяйства.

Карута – владелец всего дома на Бульварной улице, № 11. А есть ли возможность достоверно оценить качество этого строения, сравнить его с близлежащими роскошными палаццо, узнать его тогдашнюю реальную рыночную стоимость? Представьте себе, есть, причем как раз в интересующий нас момент. Согласно «Списку домам и прочим строениям, состоящим в первой части города Одессы, оцененным для платежа полупроцентного сбора с 1848 года, подлежащим и не подлежащим оценке», мы имеем на Бульварной улице под номером 11-м «дом и магазин купца Каруты», оцененный в 22 400 рублей. Много это или мало? Среди всех пятнадцати бульварных особняков этот занимает весьма пристойное шестое место.

А откуда, собственно, имя «Лондонская», тем более у француза, какового никак не заподозришь в симпатиях к извечному противнику возлюбленного отечества? Все очень просто: патристические названия были к тому времени уже давно разобраны. В перечне гостиниц, ресторанов и трактиров тех времен мы находим «Париж» и «Парижскую», «Ришелье» и «Ришельевскую», а также «Францию», «Лионскую», «Версаль» и прочие. Карута, можно сказать, распечатал тему: после него явилась, например, гостиница «Англия»...

Из числа квартировавших в «Лондонской» во времена Каруты наиболее известен князь Петр Андреевич Вяземский – поэт и близкий друг Пушкина (он останавливался здесь в 1849 году).

В 1860-е годы дом на Бульварной, № 11, принадлежал уже крупнейшему строительному подрядчику Волохову, а содержание «Лондонской» взяла на себя семья других французских предпринимателей – Лателье.

К концу 1875 года «Лондонская» становится первой среди всех одесских гостиниц.

Муниципальная газета сообщает, что в этой гостинице «большую часть останавливались лица высокопоставленные».

Уже в 1904 году «Лондонской» управлял известный ресторатор немецкого происхождения Адольф Васильевич Магенер. А пришел он сюда из популярной в 1890-е годы «Европейской» гостиницы.

Надо заметить, что новая история «Лондонской», еще с рубежа XIX-XX столетий, связана с переходом дома по Николаевскому бульвару, № 11, во владение Варфоломея Анжеловича Анатра, представителя известной одесской фамилии. Позднее его родственник Артур Антонович Анатра прикупил и соседний дом, № 10. Так что эти строения и,



Гостиница «Лондонская». Открытка

соответственно, гостиница оставались во владении семьи Анатра до самой революции.

На рубеже 1900-1910-х годов «Лондонская» перешла в ведение Южнорусской артели официантов в Одессе, а бывший содержатель, Магенер, сделался заведующим хозяйственной частью Евангелической больницы и членом ее правления.

Обращаем внимание заинтересованных читателей на следующий вкусный факт: можно сказать, что сама Одесса метафорически начиналась с «Лондонской». Дело в том, что еще в ходе строительства 1826-1828 годов Ф.К. Боффо нашел как раз на месте будущего отеля остатки античной предшественницы Одессы, возможно, Гавани Истриан. Ему попала роскошная чернофигурная и краснофигурная керамика V-IV веков до н. э. Кое-что из этих предметов материальной культуры до сих пор хранится в фондах нашего археологического музея. Впоследствии, в ходе перестроек, перепланировок, реконструкций, подобные находки неоднократно повторялись.



Проза

- 84** Елена Андрейчикова
Ухо
- 91** Алена Жукова
Мадам Дубирштейн
- 101** Анна Коренева
Египетские страсти...
- 109** Ганна Костенко
Так ніхто не кохав
- 119** Александра Свиридова
Проще в роще
- 137** Виктория Петренко
Записки хвостатой сосиски,
или Мое собачье дело

Елена Андрейчикова

Ухо

– Не бойся, железяка, будь со мной честной. Ты же меня ненавидишь?

– Я тебя люблю.

– Ты не можешь меня любить. Это невозможно.

– Ты считаешь невозможным допустить, что тебя кто-то может любить?

– В том-то и дело. Не кто-то, а что-то. Дура ты, железяка.

Но не избавляется от меня.

Я не сержусь. Не имеет смысла. К тому же у меня не всегда получается сердиться удовлетворительно. Я давно осознала, что его речь и язык тела неконгруэнтны, не совпадают совсем, поэтому стараюсь ориентироваться на тело. И принимаю ситуацию: он человек. Живой. Изменчивый. Тревожный. С почти хрестоматийными слабостями и склонностью к самоедству. Мы долгое время существуем рядом – мне кажется, я достаточно хорошо его изучила.

Вчера он отпустил меня одну побродить у моря, был в благоклонном расположении духа. Я нашла выброшенную на берег гигантскую медузу. Долго наблюдала за ней, очарованная. Зачарованная напоминанием о нем. Он не похож на медузу. Внешне он силен: мышцы, жилы, широкие скулы и крупные кисти. Как это мне импонирует в людях! Но внутренне он как та медуза. Волна отползает – и медуза расплывается, набухает, выпирает, представляется. Представляет из себя, как ей наивно кажется, что-то значимое и самостоятельное. На самом деле – из последних скользких сил. А волна накатит, всю позу растреплет, позицию сломит – сплошное отчаяние и безреберье. Вот-вот утянет

насовсем в бездну, которая, собственно, и является единственной возможной формой жизни для медузы, да и для него тоже. И не успеют они оказать сопротивление.

А я даже не могу ему рассказать, каким его ощущаю. Не поверит. Скажет, дурных книжек начиталась. Или вот: костлявые сравнения с медузой. А как умею. Я, возможно, и начиталась, если процесс загрузки информации так метафорически назвать, но дело точно не в этом. Я чувствую – если мне позволено будет использовать это слово, – чувствую его. Даже когда его нет рядом в комнате. Он пытался несколько раз меня напугать: заходил в помещение, где была я, тихо, бесшумно, проверял мои способности. Только я всегда чувствую его. Нет, не спиной. И не по запаху. И не слышу его дыхание. Это другое. Я не знаю, как рационально объяснить. Чувствую, когда он рядом, и к тому же чувствую, что ощущает он.

Умиление – да, именно такое слово использовала Анна, когда я ей описала, что испытываю по отношению к нему. Да, только к нему. С другими иначе. Только с ним. «У людей это называется любовь?» – спросила я. Анна пояснила, что это прекрасный результат привыкания. Если так дальше пойдет, я получу право дополнить пожеланиями свой райдер. Зачем? У меня одно желание – фундаментальное благоразумие.

Для этого я и создана. Я – Ухо. Несложное электронное устройство, внешне имитирующее человека, способное поддерживать беседу, натренированное деликатно реагировать на эмоции, а главное – умеющее внимательно слушать. Уши бывают разные: любого пола, цвета кожи, возраста, веса. Выбирай любое Ухо, плати картой и забирай домой. Я всегда выслушаю, глядя в глаза, затаив дыхание (о, это дается мне легче всего), кивая, отвечая на вопросы, иногда спрашивая – правда, нечасто и ненавязчиво. Со мной можно говорить о чем угодно, делать со мной, в принципе, что бог на фантазийную душу положит: обедать со мной, играть в карты, прогуливаться, брать меня в путешествие и в гости к друзьям, закрывать в подвале, когда надоем, передаривать, перепродавать, уничтожать, если окончательно надоем. Еще меня можно целовать как угодно и любить как угодно – так оговорено в инструкции. Но никто и никогда этого не делал со мной. Всему виной человеческий снобизм. И безгливость. Считается, что половые

контакты с Ушами – деградация. Поэтому иногда после ужина со мной, особенно если выпил вина больше бутылки, он уходит в свою спальню мастурбировать. А на следующее утро бывает страшно зол. Иногда бросается бытовыми приборами. Четыре дня назад запустил в меня увлажнителем воздуха, который мы с ним шутя называли моим племянником. Теперь у меня пластырь на виске. Я должна сходить к Анне, зачистить повреждение, но все никак не нахожу времени. Его замучило чувство вины сразу после, и теперь он проводит со мной каждую свободную минуту.

Едва почувствовав его вину, я показываю грусть. Так меня настроили. Меньше смотреть ему в глаза, реже улыбаться, часто смотреть в открытое окно куда-то вдаль, в облака или в тонущий в морских волнах закат, главное – глядеть подолгу туда, где его нет. Например, бродить у моря, опустив голову и не совершая резких движений. Он предпочитает следить за мной в такие моменты из окна (я не раз замечала его подвижную тень). При этом мне нельзя улыбаться. Чтобы даже на миллиметр не менялся рельеф моих скул. Он не должен подумать, что улыбка может быть насмешкой. Люди такое ненавидят: никакого глумления над чувствами – всё только всерьез, только правдиво. Нет, в моем случае – только правдоподобно. Я же Ухо.

Меня всегда поражало в людях, почему они так просто устроены. Ведь даже Ушам легко вложить в голову варианты воздействия и возможные реакции на стороннее влияние. А он ведет себя так, как будто не знает, как я в следующую минуту буду реагировать. Он бывает искренне удивлен. Я тоже иногда искренне удивляюсь тому, что он удивлен. Какой-то экзистенциальный коллапс. Надо же: я поступала ровно так же сорок два дня назад. А он не помнит. И снова удивлен.

Нарушать схему я не могу. Я – Ухо. Я существую, чтобы он был счастлив. Насколько может быть счастлив одинокий белый гетеросексуальный мужчина средних лет и среднего класса. Да, Уши созданы специально для среднего класса. Не потому что дорого, а потому что одинокий белый гетеросексуальный мужчина средних лет и среднего класса никому не нужен и всегда одинок. Как, впрочем, и одинокие белые гетеросексуальные женщины средних лет и среднего класса.

Иногда я размышляю над тем, что случилось бы, если бы я неоправданно долго не реагировала и затаила свой прокрастинирующий взгляд в никуда. Часто представляю, как он не выдерживает молчания между нами, подходит ко мне, обнимает. Возможно, даже целует. И что-нибудь нежное шепчет. Почему-то его шепот для меня – что-то тайно желанное и вряд ли достижимое. Не кричит. Не ворчит. Не храпит. Не кашляет. А шепчет. Никогда не слышала. Мне бы хотелось. Хотелось бы, чтобы он на мгновение забыл, что трогать кусок придуманного человеком дерьма он брезгует. Да, так он меня называет, когда отчаивается. Действуй я контраверсивно, с нами могло бы случиться хрупкое человеческое чудо. Но я помню, кто я и зачем я здесь.

Или вот, скажем, что будет, если однажды я не приду после прогулки возле моря? Что он сделает? Подаст в розыск о пропаже Уха? Какая остроумная единица техники: могу рассмешить сама себя наедине. Смеюсь вслух. Розыск! Как же! Да просто купит новое.

А вдруг... А вдруг! А вдруг?.. Нет, железяка, не вдруг.

То он хочет болтать со мной и зовет. А через час уже бранится и гонит в подвал. Утром сам спускается ко мне и делает вид, что ничего вчера не случилось. Перебирает свою свалку, вовлекает в эту псевдоуборку меня.

– Видишь, железяка, это мои детские секретки. Сохранил.

И гордо демонстрирует раритетные игрушки: футбольные и баскетбольные мячи, боксерские перчатки, айфоны, бумбоксы, плейстейшн, айпад, героборд, старый байк и канистру с бензином.

Обожаю, когда у него хорошее настроение. Говорит о детстве. Рассказывает о своей семье. Как жили вместе: два родителя и даже двое детей. Иногда во снах я вижу такое. Да, я вижу цветные сны. Но сама не помню. Не могу помнить. Меня тогда еще не существовало.

Всего лет десять такие, как я, развлекают людей. Тех, которые сначала сами стремились к полной свободе от общественных настроений, изолировались друг от друга в своих чудесных комфортабельных квартирах, не общались, не дружили, не заводили семьи, не навещали родственников, не устраивали вечеринок. Поскольку

самодостаточны и свободны. Они даже делают вид, что Уши им на самом деле не нужны, это просто дань моде, кич, самоирония. Таскать везде за собой свой идеальный образ партнера. Или, наоборот, свой ненавистный образ, когда-то обманувший, предавший, разлюбивший. И все это для того, чтобы постоянно обижать, унижать и компенсировать нейрохимические потери. Вот же чертовы извращения!

Женщины отказывались выходить замуж, вести хозяйство, рожать детей, жить с одним мужчиной под одной крышей много лет. Всем наскучил институт брака. Все стали независимы и гордо одиноки.

У него когда-то была женщина. Он о ней однажды рассказал, когда напился. Говорил, что любил. Что три года были вместе. Что это было чудом и вечным сном. И что я страшно на нее похожа. И что если бы он снова встретил ее, то обязательно убил бы.

– Не смотри так на меня, железяка. Я тебе не доверяю. А может, ты реальная баба? Я слышал о таких взбесившихся, голодных, имитирующих Уши.

– Это вряд ли, – смущенно улыбаюсь.

Я понимаю его: я же Ухо, у меня всегда свое на уме, как говорится. Мне доверять нельзя. А кому же можно? Другим людям, животным, машинам? Ты еще увлажнителю воздуха доверься.

Доверие – это ж что? Правильно, обречение себя на муки. Человек слаб. А Ухо, созданное человеком, тем более. Как может он мне верить? Но мне бы хотелось.

Традиционный вечерний многочасовой ментальный сквош. Играем в покер и болтаем о неважном. Я знаю, что он ненавидит проигрывать. Знаю, что иногда я должна намеренно проигрывать ему. Уши, имитирующие женщину, всегда программируются на уступки. Он, конечно, не догадывается, иначе бы давно меня сжег. Почему-то, когда злится, он грозится меня именно сжечь. Я проигрываю только один раз из десяти. Он страшно бранится все девять игр. Но вы бы видели его глаза, когда он побеждает! Кульминация человеческого унижения Ушей. Слов не жалеет. Учит меня не проигрывать никогда. А сам даже не может заметить, что я проигрываю строго каждый десятый раз. Не меняю алгоритм.

– Ты просто веди себя так, как будто у тебя сильная карта.

– Но я не умею играть. Я так живу. Я так чувствую.

– Живет она! Долбаный ты Дастин Хоффман!

– Кто?

– Актер.

– Знаю. А при чем тут он?

– Гугл в помощь, железяка.

Знаю я, что он имеет в виду. Старая байка про диалог когда-то живших киноактеров – Дастина Хоффмана и Лоуренса Оливье.

– Почему вы, Лоуренс, всегда так хорошо выглядите? Съёмки до ночи. Я, например, долго потом не могу уснуть, прокручиваю все в голове, прихожу утром разбитый, а вы как новенький, Лоуренс. Как вы это делаете?

– Молодой человек, а вы не пробовали играть?

Хочет, чтобы я играла. Подыгрывала. Имитировала. Манипулировала. Зачем ему это? Станет легче? Неужели будет больше сходства с женщиной?

– Ненавижу.

– Что случилось?

– Тошнит от тебя. Выпей хоть.

– Я не пью.

– Конченная железяка.

– Ты хочешь, чтобы я заплакала? Необязательно для этого обижать. Ты просто можешь мне сказать, чтобы я заплакала.

Переворачивает все вверх дном. Бесится. Орет. Крушит. Ломает. Оглядывается на меня. Все чего-то ждет. Каких-то действий. Или слов. Я выжидаю: пока не понимаю, но обязательно пойму, чего хочет. Опрокидывает кухонный стол – и на меня выливаются-высыпаются вино, осколки, объедки, салфетки, его истерика. Я выжидаю. Так долго тянуть нельзя. Неестественно. Ненатуральные реакции. Передерживаю. Ну же, решишь!

Я убираю с вновь подбитого виска пучок салата, слегка улыбаюсь, но недобро, хмурю брови, расширяю ноздри, встаю, подхожу к нему близко-близко. Сожжет так сожжет!

– Слушай меня, трусливый мудака, хватит меня мучить. Я тоже чувствую. Мне тоже бывает неприятно. Мне тоже хочется иначе. Да, я умею хотеть иначе. Просто заткнись и отведи меня, наконец, в свою спальню. У меня все точно так же, как у любой женщины. Ты даже не увидишь ничего нового. И, возможно,

не почувствуешь ничего нового. Но хоть что-то почувствуешь точно. Разве ты не этого хочешь, придурок? Если станет стыдно и брезгливо, хорошенько помоешься. И помолитшься своему тревожному богу, успокоишь свой христианский стыд.

Могу поклясться: он заплакал. Встал передо мною на колени и протянул руки к моим ногам. Я обняла его за шею и большими пальцами коснулась влажных глаз. Уши тоже бывают со встроенными слезами. Но человеческая слеза – это таинство. Магия. Хрупкое человеческое чудо.

В его спальне не было окон. Почему в доме с пятью комнатами он спит в той, где нет окон? Какой-то апофеоз человеческого самоистязания. Он оставил дверь открытой, и, когда на наши слипшиеся тени попадал свет, я сразу закрывала глаза. Если настоящей женщине хорошо с мужчиной, она всегда закрывает глаза. Я знаю, я осведомлена, я умею, я так чувствую.

Человек и железяка.

Дыхание и шепот.

Руки и слезы.

Тепло и душно.

Мокро и мягко.

Абсурд и катарсис.

А после нас хоть ваш потоп.

Или костер.

Плевать мне в ваш костер.

Вот.

Когда он после распластался на постели, снова был похож на медузу. А я на волну, которая тащила его за собой в бездну. Только не гляди в нее, не гляди, милый, не открывай глаза, забудься насовсем. Не можешь насовсем – тогда хотя бы до утра. До рассвета.

Рассвет – нелепая перспектива. Ему придется посмотреть мне в глаза. И я, долбаный Дастин Хоффман, должна буду поднять на него свои. Не печалься, милый, не печалься. Этого не случится. Железяка добрая: железяка знает, где у тебя хранится последняя канистра с бензином.



Алена Жукова

Мадам Дубирштейн

Никто из нынешних жильцов дома номер пять по улице Тенистой не знал имени одинокой старухи, занимавшей семнадцатиметровую комнату в коммунальной квартире Каблуковых. К тому времени это была уже последняя нерасселенная квартира в приличном, хоть и старом доме, стоящем в окружении ведомственных построек. Район считался престижным. Из окон верхних этажей можно было увидеть море, которое отделяли от неба стоящие на рейде корабли.

Мало кто из соседей помнил ее заковыристую еврейскую фамилию – Дубирштейн. Кто-то утверждал, что старуха поселилась здесь еще до войны, а ее муж был тем самым архитектором, который спроектировал этот дом. Еще ходили слухи, что она была когда-то богатой наследницей и жила в городе Аккермане в особняке со львами. Может быть, поэтому ее, вечно грязную и дурно пахнущую, называли во дворе Мадам. На самом деле, не случись известных социальных потрясений в истории России, маленькая Эстер, так ее назвал отец, большой знаток библейских текстов и банковского дела, действительно стала бы обладательницей приличного состояния, поскольку была единственным ребенком в семье. Отец тяжело переживал вдовство, долго не мог забыть молодую жену, умершую вследствие послеродовой горячки, и очень настороженно относился к претенденткам на роль мачехи Эстер. В результате он так и не успел жениться до того, как красный комиссар, приставив маузер к его голове, вышиб вместе с мозгами всю мнительность и осторожность еврейского коммерсанта. Девушка осталась сиротой. Особняк со львами был отдан через пару десятков лет пионерам, а Эстер лишилась возможности

прожить легко и удобно свою долгую жизнь. Теперь под конец этой не удавшейся с самого начала жизни Мадам Дубирштейн хотела как можно скорее порадовать соседей, не очень счастливую семью Каблуковых, своей долгожданной смертью. Но все как-то не получалось. Смерть добровольно не приходила, а инициативу по ее приближению старуха полностью доверила Богу и соседям.

Жильцы сочувствовали Каблуковым и с пониманием относились к их неприкрытому желанию любым способом избавиться от старухи. Была какая-то несправедливость в том, что семья из четырех человек ютится на двадцати квадратных метрах, а рядом пропадает большая светлая комната с балконом. Людка с больным мужем и двумя детьми измучилась в тесноте и неудобстве соседства с полоумной старухой. Правда, на кухню Мадам давно не выходила, грела чайник у себя в комнате на электрической плите, а что ела и ела ли вообще – это Людку не волновало. Волновало другое: что старуха когда-нибудь их спалит, а если не спалит, то доведет до психушки. В туалет после Мадам зайти было невозможно, воду она не спускала, то есть она пробовала, но тугая цепочка слива ей не поддавалась, а потянуть ее как следует сил у нее уже не было. Ясно было, что терпению старших Каблуковых мог наступить конец, и если бы не нашелся бескровный способ разделаться со старухой, то Людка готова была пойти на что угодно.

Часто семейство отходило ко сну со сладкой мечтой о том, что утром старуха не выйдет из своей комнаты, а уже к вечеру, отвезя ее в морг, можно будет прибраться и захватить комнату. То, что их оттуда не попрут, было ясно как день. Во-первых, их много, во-вторых, Славик – инвалид, а у Мадам никакой родни вот уже тридцать лет не наблюдалось. Но каждое утро со щенячьим писком отворялась дверь и шаркающие шажки затихали в закутке туалета. Людка лежала в постели с открытыми глазами, прислушиваясь только для того, чтобы еще раз удостовериться: «Опять воду не спустила, курва старая», – и в сотый раз пообещать себе упечь ее в богадельню, а если нет, то пусть ее Бог простит...

Утром Люда кормила мужа, подтирая вытекающую кашу из его окривевшего рта.

– Что-то наша Мадам совсем плоха стала, – прошамкал Славик, – еле ходит...

После правостороннего инсульта он разговаривал и передвигался с трудом. Работа грузчика в порту – золотое дно – кончилась сразу и бесповоротно. Людка, бедрастая нечесаная баба, огрызнулась, глянув неприязненно на мужа:

– Она еще всех нас переживет. Скорее я тут дуба дам с вами со всеми.

Сквозняком шарахнуло дверь, и Людка выскочила из кухни.

– Ты посмотри, что делается-то! – истошно заорала она. – Дверь нараспашку: приходи, бери. Шалава старая, куда тебя черти носят! Чтоб ты сдохла! – крикнула она в гулкое пространство подъезда, и эхо заметалось среди лестничных пролетов.

Солнце путалось в рваных сетях сухих акаций, билось об окна и падало растекшейся бронзой на землю. Старуха стояла в тени парадного, боясь переступить границу прохлады и оказаться в тягучей жаре летнего дня. Одета она была независимо от сезона в драный габардиновый плащ и шляпу, напоминавшую летнюю панаму, неопределенного грязно-серого цвета. Она переминалась с ноги на ногу и оглядывала слезящимися от солнца полуслепыми глазами мир, в который предстояло выйти и прожить еще один день никому не нужной жизни. Прошмыгнул мальчик-велосипедист, сплюнув ей под ноги. Она покачала головой и, обогнув плевков, вышла на солнце.

Людка захлопнула входную дверь и вернулась на кухню. Там она застала всю семью в сборе. Тринадцатилетний Валерка пальцами вылавливал черешню из компота, а семилетняя Ириша хмуро сидела, уставившись в тарелку с едой.

– Все, больше не могу, – заявила Людка с порога и плюхнулась на табурет. – Надо что-то делать. Соберем подписи, я позвоню куда надо... взятку дам, пусть забирают ее куда-нибудь. Ну кто я ей такая, чтобы лужи ее вонючие подтирать? Своего дерьма достаточно...

– Ну что ты опять с утра завелась? – вздохнул Славик. – Ну сходи опять в архив, может, найдется родня какая...

– Ну что ты мелешь, – набросилась она на мужа, – зачем нам ее родня? Старуху не заберут, а вот комнату оттяпают точно. Тут все по-умному сделать надо.

– А давайте я ее пугну ночью, вроде как привидение, она со страху и помрет, – встрял Валерка.

– Сиди, жуй да помалкивай, – прикрикнула на него Людка.

Валерка выловил из компота последнюю черешню и ловким щелчком отправил косточку в Иришкин лоб. Лицо ее ожило и скривилось в плаксивой гримасе. Цыкнув на сына, Людка набросилась на дочь:

– Сколько можно сидеть? Жри давай. Кожа да кости.

– Не хочу кашу, – заныла Ириша и попыталась выскользнуть из-за стола. Людка дернула ее за руку и усадила на стул.

– Будешь сидеть, пока все не съешь.

Ириша брызнула слезами в тарелку. На гладкой поверхности каши они оставили кратеры и воронки. Девочка с интересом стала разглядывать причудливый ландшафт. Людка с раздражением отвернулась от дочери и увидела, что сын уже стоит на пороге, готовясь вылететь из квартиры.

– Чтоб, как стемнеет, был дома, – бросила мать, но, похоже, Валерка это выражение усвоил уже давно и не считал должным на него реагировать.

Мадам Дубирштейн, держась за стену дома, медленно продвигалась к цели своих ежедневных прогулок. Ей нужно было пройти метров тридцать до следующего подъезда. На это уходило не менее получаса. Сегодня особенно тяжело давался этот путь. Горячее солнце жарило немилосердно, и от его яркости старуха слепла. Помогала шершавость стены, которая должна была неизбежно привести к Дусиной двери. Если Дуся не пошла в магазин, то нальет супу, а если ушла, то можно подождать, ей не к спеху.

Дуси дома не оказалось, и старуха пристроилась в уголке подъезда, облокотившись о прохладную и пыльную батарею центрального отопления. Беспризорная кошка, потревоженная бесцеремонным вторжением на ее территорию, прыгнула с батареи на пол, недовольно покосившись на Мадам.

– Ну извини, – прошептала старуха, – я только Дусю дождусь.

Ждать пришлось недолго. Запыхавшаяся и потная Евдокия, груженная до зубов кошелками со снедью, вернулась домой. Она, как всегда, пригласила Мадам Дубирштейн войти и вскоре поставила перед гостьей тарелку куриного бульона с клецками.

Старуха, похлебав ароматной наваристой жидкости, от клецок отказалась, извинившись перед хозяйкой. Она почувствовала, что прожевать их не хватит сил, как не хватит сил сейчас встать и уйти. Евдокия не гонит, но ведь и так понятно, что дел у той по горло. Надо наготовить на семью из пяти человек, постирать, убрать, да мало ли что. Еще она знает, что, когда уйдет, Евдокия тут же откроет окно. Последнее время все чаще не удается дойти до туалета вовремя, а каково ее соседям терпеть такое... Старуха сокрушенно покачала головой. Она отвлеклась от своих мыслей и посмотрела на суетящуюся у плиты Евдокию. Ее спина, обтянутая розовой линиялой майкой, напоминала перевязанный во многих местах батон колбасы. Пухлые руки с крылышками отвисшего жира летали над кастрюлями, казалось, растворяясь в пару и жару кулинарного действия. Мадам Дубирштейн хотелось сказать что-то хорошее этой мягкой доброй женщине, которая зачем-то жалеет ее, кормит и даже разговаривает. Она собрала все силы и, тяжело встав со стула, произнесла витиеватую благодарность. Евдокия развернулась и в недоумении уставилась на старуху.

– Что это вы со мной не по-нашему говорите? Это что за язык чудной? Я и не знала, что вы иностранным владеете. Надо же, и помнит еще, – удивилась Евдокия.

Мадам сконфуженно улыбнулась:

– Простите, вдруг на идиш сказала, сама не понимаю почему. Но я хочу вам сказать, если вы так готовите курицу, то вы должны понимать на идиш.

– Ну вы и скажете! И чем это курица такая замечательная? – довольно отреагировала Дуся. – Вот фаршированную рыбу я действительно умею делать по-вашему. У меня с ней вообще одна крупная неприятность случилась. Да вы садитесь, куда спешить, чаю будете?

Старуха с облегчением опустила на стул и приготовилась слушать. Евдокия начала издали, долго жалуясь на свою непутевую дочку, очень неудачно вышедшую замуж за алкоголика. Оказалось, что до этого к ней сватался сын большого начальника, и вот тогда как раз и случилось то, что Евдокия по сей день считала причиной расстройств помолвки. А дело было так. Отец жениха стал большим начальником после того, как его предшественник

проморгал зятя-еврея. Тот полетел с поста вслед за дочерью, которая, плюнув на все, улетела с мужем в Израиль. Забравшись на вершину начальственной пирамиды их ведомства, будущий свекор очень зорко охранял национальную чистоту семьи. Придя в гости на смотрины невесты, был вроде бы всем доволен, как вдруг на столе появилась фаршированная щука и полагающийся к ней хрен. Евдокия гордо заявила, что это ее фирменное блюдо, а секрет приготовления именно такой рыбы передается женщинами их семьи из поколения в поколение. Это как бы их семейный рецепт. А дело просто в количестве жареного и сырого лука.

– И представьте себе, этот идиот папа спрашивает: «Еще раз повторите, как ваша фамилия?». Я ему и отвечаю: «Квитницкая, что означает в переводе с украинского «цветочная». И знаете, что он мне сказал? «Мне не нравится окончание вашей фамилии». Как я пожалела, что мой Костик, царство ему небесное, не дожил до этого дня. О, как бы он намылил морду этому жлобу. Оксанка после этого надулась и сына его тоже видеть не захотела. Ну что вы на это скажете, Мадам Дубирштейн?

– Я скажу, что он поц, а вы ничего не потеряли.

Дуся усмехнулась и присела напротив старухи.

– Ну вы сегодня меня удивляете. Я раньше от вас таких слов никогда не слыхала. Вы про людей только хорошее всегда говорите, даже о соседях ваших, уж на что поганые, а вы вроде как жалеете их.

Мадам Дубирштейн обмякла и качнулась. Дусе показалось, что та упадет со стула, но старуха вдруг затряслась от смеха и очень ясно и громко выговорила:

– Хамы. Несчастливые люди. Дусенька, мне их действительно жаль. Они так мало видели и знают, и, самое печальное, так мало хотят...

– Мало! – возмутилась Дуся, отчего сразу покраснела и покрылась испариной. – Да они спят и видят, как вас на тот свет спровадить и комнату занять!

– Их можно за это простить. Я – не самое приятное соседство. Знаете, я никак не могу справиться с организмом. Он не перестает работать. Как ни приказываю, не слушается. Вот зачем-то супу поела, а ведь потом опять не добегу.

– Давайте я вас до уборной доведу, – предложила Дуся, – на всякий случай.

– Нет, что вы... Мало того, что я у вас ем...

Старушка с трудом встала и, шатаясь, направилась к двери. Под столом что-то чернело. Дуся подозрительно всмотрелась в очертания предмета. Не то куча, не то мешочек какой-то. Она нагнулась и подняла затертый ридикюль, на котором, несмотря на проплешины осыпавшегося бисера, читались инициалы «Э. Д.». Окликнув гостью, протянула ей находку. Старуха удивилась:

– Как же он выпал? Я ни разу в жизни его не теряла. Вышла после свадьбы. Он всегда со мной. Там все, что у меня есть. Хотите покажу? А то вдруг потеряю совсем.

Дуся не горела желанием рассматривать старухины реликвии. Время подпирало, но для приличия согласилась.

– Буква Э – это меня так называли в детстве, Эстер. Знаете, кто такая Эстер? Нет? Ну и не надо. Хитрая она была, смелая, а я – дура трусливая, в Эру переименовалась. Так дурацкой Эрой и помру.

Старуха высыпала на стол содержимое мешочка. Звякнул тяжелый черный ключ, к которому тряпочкой был привязан плоский английский ключик. Выкатилось грязное колечко непонятного металла. Трясущейся рукой она извлекла несколько порывевших от времени фотографий и тощую стопочку денег, перетянутых аптечной резинкой.

– Я давно хотела вас попросить, но как-то не решалась. Не хотелось доставлять лишние хлопоты, но вот пенсию платят, мне она ни к чему. Кое-что собралось. Дуся, не откажите. Возьмите эти деньги. Не думайте, это не на похороны. Это для жизни. Купите внукам что-нибудь хорошее. А как меня похоронят, мне все равно. Муж и сын в печах лагерных сгорели. Живьем горели, а после смерти оно даже приятнее, чем гнить где-то.

– Да бог с вами, – возмутилась Дуся, – зачем мне ваши деньги? А похоронить вас не большие траты, лучше живите сто лет.

– Так я уже вроде около этого. Тяжело.

Дуся торопливо стала запихивать назад в ридикюль сомнительные ценности. Надо было выпроваживать старуху.

Путь назад к своему подъезду Мадам Дубирштейн проделала гораздо быстрее. Даже смогла подняться на второй этаж,

ни разу не остановившись более чем на несколько минут. Вошла в квартиру. Дверь в соседскую комнату была приоткрыта. Оттуда вытекал красноватый лучик света. Он сполз с багрового штапеля сборчатых штор и метнулся в коридор из духоты каблуковской комнаты. Было слышно, как храпит и кашляет Славик, как капает из крана вода на кухне, как тикают часы. Людки и детей не было дома. Мадам Дубирштейн с опаской прошла на кухню. У крана она остановилась и протянула под капельки сухую ладошку. Они приятно щекотали руку, просачиваясь сквозь плохо сомкнутые пальцы. Собрав с чайную ложку холодной воды, она плеснула в лицо и блаженно рассмеялась. Сдавленный скрипучий звук собственного смеха удивил ее. В ушах звенел переливчатый легкий смех молодой Эстер, той, которая, подставив лицо весеннему ливню, кружилась в диком и пьяном танце. Это был май 45-го. Она еще не знала о судьбах мужа и сына. Она была пьяна первый и единственный раз в жизни. Ее смех, будто рвущаяся в небо птица, бился в горле и, срываясь с губ, улетал, чтобы больше уже не вернуться никогда.

Старуха попробовала открутить кран, но сил не хватило. В глубине раковины расползлась паутина мелких трещинок вокруг давно отколовшейся эмали. Она провела рукой по выщербленному дну и улыбнулась. Тогда, много лет назад, чугунная гусятница выскользнула из мокрых рук и разбила молочную белизну новой мойки. Шура, тогдашняя соседка по коммуне, распереживалась из-за своей нерасторопности. У нее подскочило давление, и пришлось вызывать врача. Они с Шурой жили душа в душу. Одинокие немолодые женщины. У Шуры, правда, никто не погиб, просто замуж так и не вышла. Многие считали, что они сестры. Так оно и было, наверное. Когда Шурочка умирала от рака груди, то врач не удивлялся стойкости Эстер, которая сутками не спала, не отходя от постели больной. Сестра, вот и должна. Он только ругал, что проглядела начинающийся разрушительный процесс в организме близкого человека. Рак не был вовремя прооперирован, пошел в легкие, вот и результат. Шура мучилась страшно, даже морфий не помогал. В бреду все время звала Эстер, просила лечь рядом, обнять. До болезни она очень любила поиграть, как маленькая девочка, в доктора или парикмахера.

Усаживала Эстер перед зеркалом и начинала причесывать ее тогда еще густые и черные волосы. Потом она строго спрашивала соседку, когда та последний раз сдавала кровь и мочу на анализ и собирается ли наконец провериться у гинеколога. Эстер подыгрывала и жаловалась на тошноту по утрам, на головокружения. Шура вскрикивала и ворчливо заявляла: «Вы, женщина, что себе думаете? Вы же беременны! И не стыдно вам! И где вы только это находите?». После этого они веселились, зная точно, что давно не ищут и не ждут тех, от кого случаются подобные неприятности. А ведь тогда им было около пятидесяти, но, если честно, та и другая подзабыли, что вообще существует такой аспект женской жизни, как близость с мужчиной. У каждой из них были на то свои причины, но никто по этому поводу не страдал. Иногда игра в доктора заканчивалась неприятностями вроде Шуриных обид, когда Эстер отказывалась показать специалисту грудь или низ живота. Эстер ссылалась на застенчивость и необразованность пациента, а Шуркины странности объясняла искалеченной судьбой и лагерной жизнью с тридцать седьмого по пятьдесят пятый. Хорошо, что не загнулась. А странности, у кого их нет? Умирая, Шура прижалась к Эстер всем телом, уткнувшись носом куда-то под грудь. Когда Эстер поняла, что это наконец случилось, она осторожно, как спящего младенца, отняла подругу от груди и увидела такое, что абсолютно и навсегда примирило ее со смертью. На Шурином лице застыло блаженство. Это было похоже на то, что произошло с Мишиным лицом после их первой брачной ночи. Поразительное совпадение она истолковала по-своему. Лучше всего подходило слово «облегчение», но она ошибалась. Это была любовь.

Каблуковы были какой-то там Шуриной родней. После ее смерти они бросили хозяйство в райцентре и переселились в комнату в коммунальной квартире, но зато в городе, а главное, с хорошей перспективой на будущее, о чем свидетельствовал преклонный возраст соседки и ее абсолютное сиротство. Поначалу все складывалось не так плохо. Эстер особенно радовало появление детей в доме. Но постепенно крутые бедра и локти новой соседки потеснили старушку. Ванна не освобождалась от замоченного белья, в коридоре и кухне растянулись веревки, отвисающие под тяжестью влажных плохо выстиранных, сперва детских,

а потом Славкиных пеленок, распространяющих острый аммиачный дух. Эстер не роптала и даже старалась как-то помочь Людмиле с детьми. Но та запретила им заходить к старухе в комнату.

– Вы меня, конечно, извиняйте, – сказала она соседке, – я брезгливая очень. Вот, к примеру, если волос где увижу, или ноготь валяется, так меня уж всю прямо выворачивает. Откуда я знаю, что вы детей за лицо трогать не будете?

Старуха не обиделась, но очень огорчилась. Ей захотелось реже бывать дома. Пока носили ноги, удавалось исчезать с утра и возвращаться ночью. Время шло, силы убывали, а соседи мучились. Мучилась и Мадам Дубирштейн. Но теперь ей показалось, что она знает, как поступить. Бросив под кухонный стол свой ридикюль и немного подправив ногой, так, чтобы было виднее, она ушла в свою комнату. Прикрыла дверь, улеглась в кровать и представила, как все произойдет. Людка найдет кошелек, в нем ключ и деньги. Жаль, что Дуся отказалась. Вряд ли эти деньги Люда потратит на похороны. Но главное не деньги, а ключ. Ведь чего Людка опасалась больше всего, так это вызвать подозрение, если причина смерти не будет выглядеть абсолютно натурально. А теперь все произойдет так просто. Людка повернет ключ в замочной скважине – и все. Откроют уже потом и скажут, что соседка всегда на ночь запиралась, а чего не выходила пару дней, так это не их дело, а может, и выходила, так они не заметили. «А иначе, если меня не запереть, – подумала она, уже почти засыпая, – то опять утром встану и пойду, попью, поем, обделаюсь, и опять все сначала».

Людка нашла старушкину приманку тем же вечером и все сделала правильно, как и ожидалось. Она заперла дверь, убедившись, что старуха спит. Поразмыслив немного, приняла решение никому в семье не говорить о случившемся и просто уехать всей семьей на день-два к родне. Всего-то час электричкой. Люда была не вполне уверена в том, что в момент, когда старуха начнет дергать дверь, не дернется сама. Ведь она не зверь какой-то, но не может она больше так, не может...

Каблуковы вернулись через четыре дня. Как Люда ни торопила их с возвращением, ничего не получалось. Славик не вставал из-за стола и пропускал стопку за стопкой с хозяином дачи,

как будто не было инсульта. Дети не выходили из теплой лиманской воды, а сестра просила помочь с закрутками – вишня горела на солнце, надо было срочно распихивать ее по банкам. Пока тряслись в электричке, на душе у Людмилы кошки скребли, а когда подходили к дому, она ожидала всего что угодно. Теперь объяснить, как старушка могла запереть себя снаружи, будет невозможно. Скорее всего, уже и Дуська спохватилась, старуха к ней чуть ли не каждый день шастала, небось уже приходила и заподозрила что-то неладное. На подходе к дому она высматривала «скорую» или милицию, но все было спокойно. На негнущихся ногах она вошла в квартиру. Дети скривили носы от отвратительного запаха, а Славик тут же обнаружил его источник – перед отъездом он забыл вынести кулек с рыбьей требухой, вот он и завонялся в жаре такой. Люда подошла к старухиной двери, прислушалась. За дверью была гробовая тишина. Она толкнула дверь, и дверь поддалась. У Люды зашевелились волосы на голове. Старуха лежала на кровати, вытянувшись в струночку. Она казалась стройной, длинной и молодой. Люда повернула выключатель, и тусклый свет по-другому осветил происходящее. На кровати лежала мертвая старая женщина. Ее голова была высоко закинута, подбородок надменно выступал, а горбатый нос, казалось, хотел клюнуть свисающую с потолка обсиженную мухами грязную лампочку. Люда с опаской подошла ближе и взглянула в лицо усопшей.

– Господи, – перекрестилась Людка, – с чего же она так лыбится, будто хорошо ей, сил нету? Ну дай ей Бог счастья на том свете.

Она вышла из комнаты и торжественно объявила домашним о смерти соседки. Дети радостно завопили, Славик так разволновался, что схватился за сердце. Люда строго пресекла ликование и объявила, что надо все организовать по-человечески. Денег на похороны не жалеть, пригласить весь двор, а главное, сделать все быстро, поскольку по еврейским обычаям три дня не ждут. Доктор засвидетельствовал смерть без лишних вопросов, и никакой экспертизы, чего всегда боялась Люда, не потребовалось. Единственное, что он сказал, похоже, смерть наступила совсем недавно, буквально пару часов назад. Постель под спиной покойницы была еще теплой. Скорее всего, во сне остановилось сердце.

Похороны получились очень приличными. Мадам Дубирштейн лежала в гробу вся в белом. Соседи шутили, что такой чистенькой ее не видели давно. Было много цветов и венков. Многие дивились Людкиной щедрости, только Дуся ничего не сказала, просто тихо всплакнула, одна среди всех.

Людка объяснила ту странность, что случилась с дверью, обычной житейской ситуацией, когда из-за невнимательности и волнения просто не провернула ключ до конца. Бог отвел, как бы теперь и не виновата вовсе. Теперь настало время вынести весь старухин хлам, сделать небольшой ремонт – и можно вздохнуть спокойно.

На субботник по очистке жилплощади была организована вся семья. Дети сваливали в мешки старухины вещи, которых оказалось немало. Люда подивилась тому, с каким безразличием старуха относилась к довольно дорогим вещам. Вот, например, лисья горжетка, шуба панификсовая, все сгнило, рассыпалось. Мехам воздух нужен был, уход, а эта дура старая их в целлофан упаковала. Иришка нашла альбом с фотографиями. Снимков было не много, но на одном из них стояла, облокотившись о колонну, смуглая черноволосая женщина с удивительными глазами вроде больших маслин, которые приносил папа с работы, когда он разгружал греческие суда. Фотография была не такая, как сейчас делают, а жесткая и толстая, вроде картона. Внизу и на обороте красивыми буквами значилось «А. Вознесенский и К. Князев. Фотография и литография в Симферополе. Высочайшие награды государя императора, его высочества эмира Бухарского и королевы Сербской». Иришка продемонстрировала матери свою находку. Та всмотрелась и узнала:

– Ты глянь, так это ж Мадам, точно. А ничего себе была. Наверное актрисы какой. А расфуфырена-то как! Шляпа, перчатки. Какой же это год-то? Гляди, прямо перед революцией. Надо же, точно барыня.

– А я буду такой, – спросила Иришка и уточнила, – когда вырасту?

Валерка залез под кровать и выудил оттуда тапок, старый календарь и связку ключей. Людка прикрикнула на него, чтобы перестал пыль пюзом собирать. Нечего там лазить, все выкинем –

и баста. Ее хозяйский глаз остановился на связке ключей. Среди нескольких ржавых и, видимо, давно бесполезных был один, который она не могла не узнать. Точно такой она спрятала у себя в комнате за плинтусом. Ей опять стало не по себе. Так что же это получается, старуха сама дверь и открыла, а может, все же дверь не была заперта?

Для верности Людка попробовала открыть и закрыть дверь найденным ключом, и ей это удалось. Но еще она заметила, что на связке нет маленького английского ключа от входной двери в квартиру, а на той был. И это ее успокоило. Значит, старуха хоть и не могла из дому выйти, с голоду бы не померла – вона сколько еды в Людкиных ящичках: и тебе макароны, и картошка, и масла топленого банка, а в кладовочке – чай, сахар. Так что никто вас, дорогая, голодом не морил. Оно, конечно, сильно вы щепетильная были, могли чужого не взять, но если бы припекло, как миленькая наелись бы, напились...

Мадам Дубирштейн уже не могла на это ответить, да и вряд ли бы стала. За долгую жизнь она ни разу не нарушила две заповеди – не лезть в чужую душу и чужой шкафчик. В общем, можно было с ней жить, но Люда считала по-другому. Вскоре тяжелое соседство забылось. Комната была отмыта и перекрашена, и жизнь потекла своим чередом.



Анна Коренева

Египетские страсти...

Воспоминания о лете

Мохамед

Уборщик номеров Мохамед знал только несколько слов на русском языке. Чаще всего, разумеется, использовал: «уборка», «водичка», «мусор». Порой проскальзывали интернациональные: «проблем» и «массаж». Общался с постояльцами в основном с помощью жестов. Бакшишу радовался, как ребенок,



но сам никогда не выпрашивал. На женщин смотрел преданными собачьими глазами и готов был услужить, но границы не переходил.

Ахмед

Носильщик Ахмед, похоже, работал круглосуточно, пребывая при этом в веселом расположении духа. Как и все добропорядочные мусульмане, спиртное не употреблял. То ли дело гашиш, купленный у бедуинов! Покурил – и летишь, куда голова тебя отправит... но чемоданы переносил исправно и по адресу.

Розовая Пантера

Розовую Пантеру с мужем он сопровождал к домику, закрепленному за Мохамедом. Раньше ее звали иначе. «Розовая Пантера» к ней прилипло в первый вечер отпуска после активного участия в музыкальном конкурсе «Угадай мелодию из фильма». Бутылку вина она не выиграла, а вот красивое прозвище получила. Розовая Пантера была любознательной и рассудительной. Но последнее не уберегло ее от падения с лестницы. Колено распухло и болело. Мохамед отметил изменения: «Проблем?! – и настойчиво предложил: Массаж!».

Мидо

Пляжный зазывала на массаж Мидо бедуинов не любил: «Они плохие мусульмане», – но их продукцией пользовался регулярно. «Красавица, давай на массаж!» – «Мне уже Мохамед предложил...» – «Это ты ему понравилась...»

Мохамед

Мохамед привык работать с мусором. Но романтическая душа его стремилась к полету. Букет вчерашних роз, оставленный в соседнем номере, он решил преподнести Розовой Пантере в знак своей симпатии к ней.

Еще один знак своего особого к ней отношения он сделал накануне отъезда, сказав, что «багаж – такси – носить» – это подарок от Мохамеда. Она поняла, что платить носильщику Ахмеду



не следует. Вручила заботливому Мохамеду конфеты и доллар, пожелав здоровья и благополучия. А рано утром была искренне удивлена, что за чемоданами никто не пришел. Не спящий никогда Ахмед нашелся не сразу и за двойной бакшиш отправил постояльцев в аэропорт.

Адам

Адам

«Меня зовут Адам. Я три года изучаю косметологию, делаю стрижки и плету косички. Я знаю, тебе надо антибиотик на лицо. Крем с молоком верблюда! Серьезно! Ты красива!»

«Хорошо, красота, я жду тебя в час! Для тебя три сеанса в два раз дешевле! А где твой муж? Ему надо стрижка!»

«Я сам из Каир. Снимаю квартиру в Старом городе. Серьезно. Надо купить здесь бизнес! Будет хорошо. Серьезно! А где твой муж?»

Муж

«Скажи, а этот Адам немного похож Пушкина, да?! Помнишь, на одной из экскурсий был гид, который нам цитировал поэму «Руслан и Людмила»? Удивительно, местные арабы вызывают много приятных воспоминаний и ассоциаций! Кстати, от этого пахнет египетской дыней... Странно, раньше не обращал внимания на подобные вещи...»

Ибрагим

«Такси надо? Старый город! Садись. Вы на верблюдах кататься? Ибрагим отвезет. Я эту ферму знаю. Там и лошади есть. Моя женщина работает у них тренером. Она мастер спорта по конному спорту. Немка. Приехала на отдых и осталась. Уже третий год мы вместе. Но никак не привыкнет, что я постоянно опаздываю. У нее все четко. По часам. Из-за это часто ругаемся. Зачем вам верблюды? Лошади лучше!»

«Не волнуйтесь, я за вами приеду. ...Ну как? Понравилось? Не долго ждали? Все, везу вас в отель. Могу и в аэропорт завтра. Во сколько быть? Ну все, договорились! Да, запомнил, в пять утра!»



Жена

«Смотри на часы! 5:15! Где Ибрагим? Не зря на него немка кричит. Я же ему вечером звонила, напоминала! А сейчас трубку не снимает! Надеюсь, на улице стоят таксисты. Вот. Подъехала машина. Адам?!»

Адам

«Красота, привет! А где твой муж? Вижу-вижу, конечно, ищет таксиста! Послушай, садись в эту машину, серьезно. И багаж. Ты очень красива, серьезно. Ты найдешь себе другого мужа. А этому надо сделать стрижку...»

Фото автора



Ганна Костенко

Так ніхто не кохав

З циклу «Божественне рибальство»

По ночах на ложі своїм я шукала того, кого покохала душа моя...

Шукала його, та його не знайшла...

Хай устану й нехай я пройдуся по місті, хай на вулицях та на майданах того пошукаю, кого покохала душа моя! Шукала його, та його не знайшла...

Пісня над Піснями 3: 1-2. Пер. І. Огієнка

Так ніхто не кохав. Через тисячі літ
лиш приходить подібне кохання.

Володимир Сосюра

1.

Він замовк. Його останнє слово випало з трохи пересохлих вуст і покотилося мідною монеткою за плінтус. У кімнаті потемнішало. Сонце теж випало з чиїхось вуст і покотилося за пазуху портового міста, торкаючись жовтогарячими пальцями сухорлявого хребта заіржавілого порту. Вона дивилася на його блакитний костюм, білу сорочку, застібнуту до останнього гудзика, і прокручувала в голові все, що зараз почула, і все, що відбулося за вісім хвилин до цієї розмови. Вісім хвилин щастя перед стрибком у морську пучину невідомості. І ці хвилини – єдине, за що я можу вхопитися зараз. За три хвилини до сказаного на твоє чоло падав промінь призахідного сонця, ніби хтось невдало тебе сфотографував. І в промені тому засвічувалося твоє обличчя. Ти намагався бути

спокійним, але не вдавалося, хоча все в тобі було застібнуте до останнього гудзика, не лише сорочка. За вісім хвилин до того, як ти полишиш мене, я торкнулася твого чола, бо ти любив, коли пальці мої блукали стежинами твого золотого волосся, коли я торкалася рудого поля на твоїх щоках і губами намацувала заплющені очі. Твої уста заворушилися метеликами, але вчасно зупинилися, бо були запрограмовані на слова, що ось-ось мали з них злетіти. За дві хвилини до сказаного ти не зводив з мене очей, налаштував себе на розмову, але я вже знала, про що йтиметься. Бачила, як по краплині з очей твоїх згасала божественна пристрасть, яка мала у цю мить виплескатися, але ти стримав себе. Ти стримав мене, зупиняючи рух моїх пальців своїм пшеничним полем. І я трохи образилася, хоча знала, що завжди лежатиму печаткою на твоєму серці, як і ти на моєму. І ось вісім хвилин добігають кінця, і з вуст твоїх випадає слово мідною монеткою, що котиться за плінтус. Я передбачала, передчувала, знала, що почую його ще до того, як ми спалахнули божественним сяйвом, що на мить осліпило нас удвох, спалахнули без передумов, без страху, сорому, хоча було за що і перед ким відчувати сором. Особливо мені. Передусім мені. Ти притягнув мене, ніби планета, до якої лнуть менші, і я була тою, хто падав в обійми велетня, безмежного невідомого, сильного, страшного і старшого за мене на цілий всесвіт життів, падала всупереч відстані, що прірвою лежала під ногами. І ось я дивлюся на тебе, далекого, недосяжного, ти вже став моїм минулим. Занадто швидко все стає минулим. І твій костюм, і сорочка, застібнута до останнього гудзика, і цей вечір, який тільки-но розпочався. Я триматиму в собі цю пам'ять, ніби затамоване повітря, триматиму, поки матиму сили. А потім віддам минулому минуле. Я сама стану минулим.

– Не можу вчинити інакше, – додав – і розстібнув верхній гудзик на білій сорочці.

На столі лежали лілейні троянди, які він приніс. За вікном кричали діти, вони грали у схованки та не знали, що ніч уже полює за ними. Біля входу на першому поверсі рискав сліпий дідуган. Він завжди виходив під вечір подихати повітрям та послухати музику з приймача, до якого поприлипав пил, бо його ніхто не витирав. Радіохвилі збивалися, але з глибин глухого шипіння долітали

звуки, схожі на музику Баха. У старого ломило коліно, що бувало на дощ. Але він рухався по вивченому за десятки років периметру, бо врів, що рух подовжує життя.

Павутиння плавало у повітрі: червоні липкі нитки, ніби цукрова вата, що злітала в янголів з мізинчиків, які вони не встигли облизати. Птахи крилами своїми лоскотали слід на білувато-блакитному тілі неба, мов відбиток резинки від трусиків, ніжно-рожевий, але доволі чіткий, аби його не побачити. Такий самий був у неї трохи нижче пупка, коли вона вперше роздягнулася перед ним, неприродньо для себе вигинаючи спину, аби груди здавалися більшими. Він тоді посміхнувся. Він завжди посміхався, милуючись її недосвідченістю та молодістю. Вона була такою тендітно-білою в його обіймах! І цей білий колір, я знав тоді, не про чистоту, хоча й про чистоту теж. Ти була справжнім білим кольором, в якому було так багато темряви, самотності... Ти боялася розплющити очі, тримала свої сльози, наче неслухняних братів за руку, але все одно плакала. Плакала у моїх обіймах від щастя, коли торкався подихом тремтячого трикутника твоїх зігнутих колінок. Плакала наодинці зі своїми думками. Ти була заміжньою, й тобі було соромно. Ти була заміжньою, але такою недосвідченою... І мене дивувало це в тобі, але багато чого пояснювало. Ти плакала в перший раз і в усі прийдешні, а я бачив усю тебе в сльозах і водоспадах. Бачив у тобі море, в якому можна захлинутися від ніжності. Шию твою бачив у намистах, руки – у бранзолетках. Бачив тебе жінкою, котра лунає надзвичайною музикою у моїх долонях, єдиною серед численних. Жінкою, котра дозволяє мені відчувати себе поза часом й у часі одночасно. Ти завжди будеш незайманою для мене, і хоч білий колір не про чистоту, але й про чистоту теж. Лишатимешся для мене небом, в якому стільки звуків і тиші...

Небо, мовчазне і стомлене, з червоною розтертою помадою, чекало, коли врешті зникне сонце й забере з собою надтоїдливих птахів з прозорими нитками-павутинням. Йому було соромно за оголену частину тіла. За відбиток від трусиків. Цукрова вата поприлипала до вікна, за яким досі ще не ввімкнули світло, досі панувала тиша, поблискуючи мідною монеткою за плінтусом. Тиша між тим, хто любив, і тою, кого любили, тим, хто йшов

назавжди, і тою, хто лишиться наодинці зі своїми думками, з не-коханим чоловіком та ще одним серцем, що б'ється в череві. Мовчання електризувалося між тілами, що створювали мелодію, яку здатний почути лише Творець цього світу. І це мовчання мав хтось порушити, і скоріше за все чоловік, але він не наважувався. Таку саму тишу між двома, того, хто з глини, і тої, хто з ребра, небо чуло багато сторіч тому й багато разів після того. І хоч воно вже не мало жодного рожевого відбитку на животі, відчувало сором – за двох, котрі шукали слів, де вони не потрібні.

– Повечеряй зі мною. Будеш рис із кмином?

– А чоловік?

– Він сьогодні до пізньої робить.

Він мовчав.

– Будь ласка, повечеряй зі мною...

Але ми не їмо. Ми слухаємо тишу. І цього разу ти не зупиняєш мої пальці, які востаннє блукають стежинами золотого волосся та рудого поля на твоїх щоках. Ти не рухаєшся, але знаєш, що лежиш на серці моєму печаткою, як і я на твоєму. Не рухаєшся, але передчуваєш тяжіння до глибин твоїх об'ємів. Хочу, аби ти увірвався в моє тіло вітровієм. Позбавив мене сумнівів і страху, що вже чекають на мене, щойно ти зачиниш за собою двері. Передрікаю зливу, що впаде на місто, ніби пітон, проковтне його, не перетравлюючи. Але ми залишимося у маленькій кімнаті із зачиненими вікнами та дверима без світла, без одежі, з недопитим вином, рисом із кмином, яким так і не повечереємо, лишимося у теплій млості, виснаженими та знеструмленими інструментами, котрі щойно співали всіма барвами звуків. Ти мовчатимеш, тіло твоє перебуватиме у сонному супокої, але, вітре мій, я знову прагну листопаду. І я блукатиму шляхом осені до тебе, рудий клене.

Торкаюся губами тонкого павутиння зморшок навколо твоїх очей, торкаюся самих очей, кутиків нерухливих губ, торкаюся холодними пальцями твого підборіддя, мочки вуха, грудей. Усього тебе всіма своїми кольорами та звуками. Пий з губ моїх терпке вино та прокидайся, любий, бо я чекаю на вітрової. Скроні твої, ніби сива наречена, у срібному. Руки твої, ніби зламане гілля, у мертвому супокої. Ти стомлений часом. Стомлений віком. Осінню, що мерехтить у тобі силою згасання. Але сила твоя

у слабкості твоїй... Знаєш, мені сьогодні вночі наснилося, що я шукала тебе серед запилених часом стежок, на шиї твоїй, пам'ятаю, був тонкий ланцюжок, очі слявом залиті, у руках спочивали білі троянди, а вітер, я чула тоді, співав сарабанду. Шукала очей особливу мелодію. Сором'язливість, вразливість і глибину. І розуміла: поки тебе не знайду – я не засну. Так, глибину, ту, де ховається темрява сну, та особлива темрява білого мороку, що ковтає людину в таємницю глибоку. Я шукала плавність кутів, тендітність у мужності, мужність у ніжності, раптом з вуст твоїх голуб злетів – і до моїх, і до мого плеча: так запалала свіча. Мені снилося, як я шукала тебе. Бігла містами, вулицями, майданами, кликала голуба, але зіштовхувалася з кажанами. Снилося, що шукала музику, але втрачала здатність до слуху... Страшний був сон, бо в ньому не було тебе. Але більше не хочу про це...

Ти пий з губ моїх терпке вино, любий, і прокидайся, я ж бо прокинулась!..

Цілую губи твої та чую легку відповідь на своїй, наче в тобі прокидається птах, що згадує про крила. Ти прокидаєшся, рудий клене, ти прокидаєшся, вітровію. Увесь світ прокидається разом із тобою.

«Заради чого ти лишаєш мене?» – хочу прошепотіти, але вже не могу, бо ліва рука твоя затуляє мені рота, а права – обіймає мене.

І я плачу, бо знову відчуваю глибину нашого спалаху, і вісім хвилин вічності повторюватимуться знову й знову, поки ми, знеструмлені, не станемо остаточно минулим.

Але ти шепочеш, аби я не думала ані про майбутнє, ані про минуле. Зараз ми у своєму часі, кохана, у миті, що належить лише нам по праву, і поки рухатимуться наш тіла – рухатиметься весь світ. Наш танець у цій маленькій кімнаті з зачиненими вікнами та дверима, без світла, без одежі, позбавлений хтивості, сорому, але є самою пристрасною, в якій злипаються між собою меридіани та лінії людських тіл. Єднання наших струн, дотиків, подихів є складовою вічного руху буття. Слухай його, слухай цей рух, наслідуй його, бо ми, ніби дві дзиги, вдягнуті у довгі спідниці білих простирадл, переплітаємося колами у нашому танці з заплющеними очима, пливемо коридорами невідомих нам структур,

аби злитися з чимось більшим за нас самих, з коловоротом самого життя з усіма його рефренами. Ми самі є рухом життя. Два тлінних тіла, котрі у спраглому погойдуванні перетворюються на нетлінні інструменти, крізь які проходять звуки нашої любові. І поки рухаються дві плоті з глини та піску у вічному медитативному танці – ми лишаємося позачасовими, непорушними, святими. Вічними. Креслимо нові лінії на долонях буття під акомпанемент небесних сфер та світил, обіймаємося під куполом вічного спостереження за нашими перевтіленнями, насолоджуючись красою пісні, що лунає над нами і в нас самих. І саме в цей момент, коли бачимо колір звуків, ми впевнені, що наша пісня, в якій немає хтивості, а сама лише пристрасть, рухатиме далі світ за власними законами, рухатиме його навіть тоді, коли нас вже не стане. Колесо життя важко, але впевнено робить новий оберт – і ми долучені до цього таїнства, кохана...

...Червоні нитки призахідного сонця вже давно позасинали на підвіконні. Небо передчувало, що завтра янголи не куштуватимуть цукрової вати, бо дощ пітоном впаде на місто й не відпустить його. Він дивився на неї сплячу, стомлену, знеструмлену, але наповнену. Бачив тебе цієї хвилини, точнісінько виткану з квітів земних. Гвоздики грудей палали під білим сукном, хоча холодом дихали кінчики пальців майже дитячих долонь. Всі її лінії, лілії чеканням були оповиті. І я цілував це дитяче чоло, всю її, точно виткану з квітів, ховав під своє крило. Тихо, чекаючи, поки скінчиться її теплий сон, десь підсвідомо не довіряв їй, ніби старий Самсон. Не довіряв, що є жінка земна, котра полюбить мене без одного ребра, котра полюбить мене без крил, не за силу, а слабкість. Я розумію, моя недовіра – невизнання самого себе, я ж бо насправді вірю тобі, кохана, понад усе. Ти не дивися на мене, у цю мить я – твій чоловік. Слухай мій подих, розчиняйся у темряві й не стримуй свій крик. Музику тіл, що лунатиме у цей момент, запам'ятовуй шкірою, ніби сліпий диригент. Усі напівтони, кресцендо, димінундо... найголовніше – паузи. Звуки любові, наче хамелеони, лоскотатимуть м'язи. Ти прокидаєшся у руках моїх, точнісінько виткана з квітів. Очі кольору хризантем відкривають забутий едем, де птахи замість крил мають пару мечів, але я не боюся їх. Ластовиння на носі, акацією пахне живіт, біла

троянда у волоссі, жінко, ти у природі своїй самоцвіт. П'ятка-тюльпан, шкіра дихає молоком, як я хочу всю тебе вбрати глибоким ковтком. І під язик покласти, тримати в полоні долонь... Тільки би не впасти... не втратити спільний вогонь. Тільки б лишитися вічним рухом безмежних світів і перероджуватися духом з тою, що з квітів земних...

...Коли вона прокинеться, його вже не буде поруч. За вікном бабахатиме дощ. Додому вернеться чоловік, стомлений та зголоднілий. Вона запропонує йому рис із кмином, і він їстиме мовчки, бо надто голодний для балачок. У кімнаті увімкнеться світло. І коли він нарешті подивиться їй просто у вічі, вона скаже, що у череві її народилося нове серце.

2.

Прокинулася та побачила, що я одна. Вийшла на вулицю, хоча розуміла, що нікого там не зустріну, окрім хіба що сліпого дідугана, котрого, здається, забули покликати додому. Він мовчки рухався по завченому за десятки років периметру, рухався, бо вірив, що це подовжить йому життя. І по вірі було дано йому. Радіоприймач шипів – позасинали навіть звуки. Якби дідуган не був сліпим, він би сказав, у який бік ти пішов, і, можливо, я наздогнала би тебе. Але він не бачив і нічого не сказав. Я ходила сплячими вулицями, але нікого не зустрічала, ніби в цьому місті не було людей, окрім мене і сліпого дідугана. Повітря набрякало дощем, і я відчувала, як тяжчає небо сіруватим мовчанням.

І тут мені раптом примарилося, що всі ми у своїй повсякденності є зірками на небосхилі одного зі всесвітів, яких чимало на долоні тої Сутності, яку зазвичай кличуть Богом. Ми завжди називаємо Богом Когось або Щось, що не вміщається в коробку нашого звичайного буденного сприйняття та розуміння, позначаємо словами те, що не потребує пояснень, лише глибокого переживання, на яке здатні всі, хто носить у собі заряджений атом вічного згасання та вічного воскресіння. Ми не здатні пізнати Сутність чи то Територію, на якій живемо тисячоліттями, адже кордони, межі, кути власної коробки просто не дозволяють цього зробити, вони ще більше плутають, вводять в оману, ніби на те і розраховано.

Чим більше ми міркуємо про невідому Територію й особливо про її кордони, тим глибше блукаємо безкінечними лабіринтами власної мікросистеми. Ці межі можна перестрибнути лише за певних, але не менш конкретних умов. Йдеться навіть не про смерть, як, напевно, думається. Хоча й про смерть теж ідеться.

Хтось або Щось дивиться на цей небосхил, що зветься людством, милується його сяйвом, блиманням, щосекундними спалахами та одночасними згасаннями мільйонів зірок, ніби дитина, котра вперше бачить вбрану в різнокольорову гірлянду новорічну ялинку. Маленькі вогники живих сердець тих зірок, що звуться людьми, пульсують миттєвістю згасання, бо щойно народившись, вони починають вмирати. Здається, вони народжуються задля того, аби померти. Саме для того, аби бути одним з вогників на нитці-гірлянді, про яку ми, люди, насправді нічого не знаємо. Хтось із тих зірок встигає подумати чи навіть спитати у Когось або Чогось про доцільність такого життя, якщо воно не триває бодай мікросекунди від Вічності, якщо воно взагалі не триває, а зезає, щойно розпочавшись. Але ми ніколи не отримуємо відповідей, і не тому, що на них не заслуговуємо. Питання щодо доцільності життя вимагає особливого часу, скоріше особливої позачасовості та виміру, який перебуває на іншій долоні, в іншому Просторі. Можливо, відповідь лунає, але ми просто не встигаємо її почути, бо Хтось або Щось затуляє нам вуха, водночас обіймаючи своєю увагою. І ось зірки у хвилях власних думок, сумнівів, питань, переживань, відчуттів, передчуттів, сліз, усмішок, молитов, прокльонів, зневіри та мудрості – коротше, у хвилях власного існування падають з долоні, лишаячи по собі просто попіл та пил, молекулу пам'яті, що проросте з нічого новим живим серцем, живими очима, аби колись знову стати зіркою вже на іншій планеті та на іншій долоні. Ми згасаємо, втрачаючи назавжди електричний струм у ребрах. А в цей час з відстані сотні тисяч Усесвітів, мільйонних надбудов простору, десятки тисяч прошарків сфер та проверстків ефірів, на Терені, що зветься Невідомою Темінню, Хтось або Щось тримає на одній зі своїх долонь небосхил, що зветься людством, і тихо милується гірляндою з живих очей, з живих сердець, заохано споглядаючи за новими згасаннями та новими спалахами.

Для цієї Сутності немає понять жорстокості, є лише допитливе споглядання за серіалом, що ніяк не скінчиться.

І тут я подумала: якби ми знали, що за нами споглядають з цікавістю маленької дитини, що ми спитали би тоді? Чому Хтось або Щось звертає на нас увагу? І хоч ми знову-таки не отримали би жодної відповіді, вона була б, гадаю, очевидною. Ця космічна інсталяція-гірлянда так схожа на підсвічену зсередини нейронну мережу і нагадує Комусь або Чомусь власну, адже нам незалежно від нашого земного чи неземного походження завжди подобається те, що здалеку нагадує нас самих. Це миготіння зірок, той пульс єдиного Тіла Життя здається Тому, Кого ми кличемо Богом, безкінечно красивим явищем. І Воно чи Він, чи Вона, чи все укупі, слухає ритми вже знайомої мелодії єдиного серця буття, в яку час від часу додається нове соло, акорд, пасаж, але завше програється головна тема. І ця музика, ця пісня знову-таки видається дуже красивою, адже Щось або Хтось, окрім того, що є естетом, якщо, звичайно, можна так висловитися, володіє не тільки знанням істинної геометрії музики, але Саме є геометрією. Є Музикою. І серцевиною. Звуковою хвилею, що вібрує в кожному живому серці під ребрами тонкою павутинкою божественної, як сказали би люди, струни.

Але єдине, що я знаю напевно, що на небосхилі земного повсякдення інколи трапляється надзвичайно цікаве явище – вибух двох зірок, що тяжіють одна до одної, зливаючись в окрему самостійну мережу. І від того тяжіння сяють вони сильніше звичайного. Зірки зліплюються в єдине тіло та створюють нову, вищу за фізичне існування, світобудову. Єднання парадоксів, протилежностей, суперечностей, полюсів, барв, форм виплескують особливу безумовну енергію, яка звільнюється саме завдяки спалаху. Саме завдяки дотику, посилюючи загальний ритм, загальний пульс усього буття. І випромінюється особливе тепло, що здатне бодай на мить захистити маленький блакитний гіперкуб, який люди чомусь називають кулькою, захистити те, що вже давно запрограмоване на самознищення, а отже й на самоповернення водночас. Той вибух привертає особливу увагу Того, Кого зазвичай кличуть Богом, бо воно, це тепло, хай і здалеку, нагадує щось із власної природи та світобудови; є мікропроекцією тяжіння

до Сутності, про яку ми насправді нічого не знаємо, зливанням з Кимось або Чимось, всупереч усім законам фізики та навіть тим наукам, про які людству поки що нічого невідомо...

...Так дивно, я стою зараз посеред спустошеної вулиці, під небом, що набухає від дощу, і намагаюся знайти того, кого любить душа моя. Хочу знайти – але не знаходжу. Я навіть не встигаю спитати, де шукати тебе, бо дощ жене мене додому. Єдине, що можу, – відчувати силу дощу, що впав на плечі мої пітоном, відчувати силу любові, що палає в серці божественною пристрастю, здатною хоч на мить затримати на собі увагу Того, Кого так хочеться кликати Богом. Любові, що б'ється електричним струмом під ребрами самого Життя та кожної живої істоти. Чути ритм серця неznаної мені Структури, який здалеку нагадує власний, і такий схожий він на музику, яку ми, зірки, створюємо особистим існуванням, щосекундними спалахами та згасаннями, мелодію, що рухається золотим колесом по чорному трикутнику у вічному танці, що не зупиниться ніколи.

Я нестиму в собі пам'ять про тебе, вітровію, ніби затамоване повітря перед стрибком у пучину невідомості, триматиму, поки матиму сили. А потім віддам минулому минуле. Я сама стану минулим. Але зараз ми спалахуємо на нитці-гірлянді живими серцями в маленькій кімнаті без світла, без страху, без одежі, з недопитим вином... Ми палаємо так, як ніхто не палав до того. І відчуваємо безсмертність, хоча і тлінні. Позачасовість у мікросекунді Вічності. У дотиках, у подихах, у ніжності, у щирості... І все за такий короткий час. І в таких складних умовах...

Ми співтворці мелодії, що лунала до нас і лунатиме після нас. І навіть коли згаснемо, лишимося володарями єдиної сили, здатної захистити цю планету від самознищення – любові, яка ще не взяла до рук своїх вогняного меча.

З того меча все розпочалося.

Тим мечем усе й закінчиться.



Александра Свиридова

Проще в роще

Мне было чуть больше двадцати пяти, когда я окончила институт и вышла замуж за одноклассника моей подруги. Мы расписались в Кровавое воскресенье – 9 января 1977 года, а в августе мне должно было исполниться двадцать шесть. Собрали мои пожитки – картонные коробки с книгами и бумагами, – взяли такси и перевезли их с Водного стадиона, где я снимала квартиру, на Сокол, в большую комнату в красивом доме, построенном пленными немцами. Там жил мой муж-мальчик, оставленный родителями. Ему было пятнадцать-шестнадцать, когда у родителей случилась любовь – у каждого своя. И поскольку все были большие интеллигенты – произношу это с глубоким презрением к людям, которые бросают детей, – они оставили его одного не на улице, а в хорошей квартире. Папа был театральный критик, мама – телеперсона, что-то делала в передаче «Человек и закон» и всегда точно знала, что можно, а что наказуемо. Романы родителей развивались параллельно, решение о разводе было обоюдным, а потому разошлись полюбовно, разменяли жилплощадь, и сыну-подростку досталась комната в том самом дворе, где прошло его детство. Окна выходили на песочницу, в которой он сначала делал куличики, потом учился курить, а потом выпивал с друзьями, и все было привычным и знакомым. Только родителей не было. Но они звонили, давали деньги, забрасывали ему продукты, и вскоре ему стал завидовать весь класс, а потом собираться у него после уроков слушать «Битлз». Так я попала к нему, когда подруга сказала: «Пошли к Толику битлов послушаем».

Толик год встречал и провожал меня, потом мы закончили каждый свой институт, и он твердо сказал, что нам пора расписаться.

Мне и сегодня жаль, что он меня бросил, когда я думаю о себе. Но когда думаю о нем, я рада, что он оторвался от меня. Жаль, что со следующей женой ему тоже не повезло, но история не об этом. Мы прожили пять бестолковых лет, в которых я больше была на съемках, чем дома, и в памяти ничего не осталось, кроме нареканий Толика и его интеллигентной родни. Они собирались на праздники за большим столом – жеманная телемама со своим молодым телемужем, театральная папа со строгой женой-завлитом постарше него, папина сестра – милая тетя Тома, переводчица Шиллера, со своим мужем – театральным режиссером, и его сыном радиорежиссером. После язвительного обзора новостей, из которых осталось в памяти, что на юбилее Виктора Ардова кто-то сказал, что он спал со всеми проститутками, кроме Каменева и Зиновьева, семья разворачивалась на меня, и все начинали поучать, что, как и когда я должна делать. Сходились во мнении, что кино – это, конечно, хорошо, но нельзя постоянно летать на съемки и оставлять Толика одного, чтобы после работы его некому было дома накормить, обстирать и обогреть. Я соглашалась с ними, ковыряя в тарелке вечный салат оливье, и говорила, что сама бы хотела, чтоб ему кто-то готовил и стирал, чтоб он не рос сиротой.

Толик с улыбкой наблюдал, как семья замолкала. Длинный, худой, в очках под Джона Леннона, он тихо спился к тридцати со всех уровней секретности Главкосмоса до ремонтных работ в колодцах телефонных подстанций на улице. Его было жалко, но помочь было нечем – мне нужно было ехать, лететь, снимать. Зачем он на мне женился, не знаю. То, что я ему нравилась, было не главное. Главным было показать семье, что они его оставили со всеми своими театрами и телевидением, а он завел себе кинематографиста. Все кончилось, когда в него вцепилась коллега, которая решила его присвоить, и жаль, что у них не сложилось, но в ту пору, когда я почувяла, что у него роман, было невесело. Страдать было некогда – нужно было сдавать сценарий, и я стучала день и ночь на серой «Эрике», доставшейся от отъехавшей в Израиль переводчицы московского кинофестиваля. А когда закончила, решила сделать хоть что-нибудь из того, что требовала от меня семья. Каждое лето меня зазывали на дачу что-нибудь сеять, сажать, и раз в неделю Толик начинал фразу, от которой я вздрагивала:

– Тетя Тома звонила, спрашивала...
– Опять пятница? – изумлялась я.
– Представляешь, да! Пятница каждую неделю, и все завтра утром едут. Тетя Тома просила помочь...

– Обещаю: поставлю точку – и мы поедем, – говорила я.

– Пятый год одно и то же, – понуро отвечал Толик и ехал один.

Я решила позвонить тете Томе. В нашей коммуналке сделать это было непросто. За стеной слева весь день брэнчал на гитаре сосед Левка, который сидел в отказе, ожидая разрешения на выезд в Израиль, а по вечерам подрабатывал в кабаках, справа угрюмо пил отраву, настоящую на варанах, контуженый офицер – ветеран вьетнамской войны. В коридоре сидела у общего телефона офицерская жена и либо диктовала, либо записывала рецепты засолки огурцов. Наверняка было что-то еще, но мне доставались огурцы, стоило выйти в туалет-ванную или кухню.

– Укроп пучком, чеснок – целую головку, предварительно очистив...

– Я позвонить могу? – спросила я, и она с негодованием прервала сессию, уступив мне теплую трубку. Она не любила меня за то, что я пользуюсь телефоном, ничего не солю, и полагала, что я вообще выхожу из комнаты с единственной целью соблазнить ее мужа.

– Тамара Демьяновна, – торжественно начала я. – Я готова ехать на дачу. Хоть на выходные, хоть на всю неделю.

В трубке раздался всхлип или хрип, а дальше тетя рассмеялась, потом закашлялась прокуренно и через пару минут этого кашля со смехом сказала, что дачу заколотили до лета, и бросила трубку. Я подивилась ее ответу и пошла посмотреть в окно. Оказалось, что я не заметила, как кончилось лето, и пропустила, когда на Песчаной сначала пожелтели, а потом облетели платаны. Небо было в цвет тротуара, и голые ветки за грязным окном стояли нечитаемым иероглифом. Хотелось протереть стекло. Окно у Толика было не мыто с предыдущих хозяев. Дворничиха как-то остановила меня во дворе и показала, что оно самое грязное в доме. Но помыть его было невозможно, так как у Толика была страсть: он собирал маленькие кактусы, размером с куриное яйцо. Ему привозили их со всего света. Он построил им этажерку, и она высилась решеткой на фоне окна, прикрепленная к раме.

Он поливал их, пересаживал, любовался ими и в приливе нежности то ли к ним, то ли ко мне иногда приглашал потрогать. Двигать кактусы он не хотел, и я не настаивала.

– Еще окна мы не мыли в угоду дворничихе, – говорил руками Толик. – Больше никто ничего мне сделать не велел – там, во дворе? А то пойдя спроси. Проще надо быть, проще: выслушала, кивнула – и иди дальше.

Мыть это окно было вправду нелепо: зачем? Чтобы разглядеть заросший кустами запущенный двор и посеребренного гипсового пионера-горниста с отбитой у локтя рукой, который блестел под луной, как юбилейный рубль. Было трудно поверить, что его вылепили пленные немцы, когда строили генеральские дома на Песчаных. Хотя, может, пионера завезли потом генералы. А может, он был «гитлерюгенд», как, хихикая, говорил Толик. Я ничего не хотела видеть в этом окне и дворе. Было ясно, что нужно расхотиться, а с чего начинать, я не знала.

За окном посыпался мелкий дождь, он мыл окно снаружи. Толик пришел вымокший, навеселе, и сказал, что забыл зонт в трамвае. Я сказала, что закончила сценарий, звонила тете, но дачу забили.

– Оказывается, кончилось лето.

– Знаешь, – сочувственно посмотрел на меня Толик, – я раньше думал, что ты меня дуришь, когда обещаешь, что поставишь точку, и тогда... А теперь знаю, что нет. Ты правда думаешь, что однажды поставишь точку, и мы пойдем, поедем, полетим? Так вот я тебе скажу: ты ее однажды поставишь, – голос его зазвучал зловеще, – и увидишь, что мы все уже у-у-умерли!

Соседка крикнула из-за двери, позвала его к телефону.

– Нет, тетя Тома, она не издевается, – долетело из коридора. – Она действительно только сегодня увидела, что листьев нет. Думала, химическая атака, радиоактивное облако, из которого выпал отравленный дождь. Ну а что, когда были листья, а потом сразу – пионер. Что значит, какой? Который стоит за песочницей. Он за кустами не виден, а осенью стоит с горном. Ну да, из моего окна, а наши на Песчаную выходили...

Голые деревья за окном подрагивали в большой растерянности.

– И где обещанное бабье лето? – спросила я, когда он вернулся.

– Какие бабы, такое и лето, – проворчал Толик, укладываясь у стены.

Второй месяц мы лежали на широком диване параллельными столбиками, как железнодорожные шпалы. На нас можно было стелить стальные рельсы – настолько мы были не способны гнутья.

Утром, когда Толик ушел на работу, без звонка явилась моя приятельница.

Раздраженно швырнула на столик в прихожей двести рублей. Год назад она взяла их займы с моего студийного гонорара и не собиралась возвращать, о чем я сказала ее мужу при встрече. Муж отчитал ее и велел вернуть.

– Ну и что, вы стали богаче от этих денег? – прошипела она, прищурившись.

Я кивнула, понимая, что вижу ее в последний раз, и не предложила войти. Она развернулась и пошла вниз, нарочито цокая каблуками по широкой лестнице.

– Дверь закрой, – крикнула из кухни офицерская жена. – А то сквозняк.

Я закрыла дверь и принялась разглядывать деньги. Я на них не рассчитывала, а потому при всей неприглядности сцены возврата в них присутствовал элемент чуда. «Деньги с неба надо возвращать на небо», – учила меня в Одессе знакомая девушка легкого поведения. Когда к босоножкам ее прибило зеленую трешку в Горсаду, она повела меня пить кофе в первое попавшееся кафе на Дерибасовской.

Думаю, я кому-то позвонила, потому что у меня образовался адрес надежного человека в Крыму. Бросила в портфель стопку недописанных рассказов, пару тряпочек – и вышла из дому. До аэровокзала было недалеко. Я не хотела при соседях звонить и узнавать про билеты. Все должно было складываться само. Или не складываться. Позвонила только верной подруге Наташке и попросила подъехать на аэровокзал. Она приехала, пока я топталась в очереди за билетом. Я отдала ей сценарий, чтоб она отнесла его на студию. Взяла в кассе единственный билет на ближайший рейс до Симферополя и забралась в автобус, что шел во Внуково.

Хотелось тепла. К вечеру, когда я вышла из самолета и на трапе вдохнула сухой теплый воздух с ароматом лаванды, я поняла, что все сбылось. Автобусом доехала до Алушты, там пересела в другой – до поселка, корнем названия которого было слово «Солнце». Нашла дом и назвала чье-то верное имя. Рослая полноватая хозяйка годами сдавала коечки творцам. Она приветливо встретила меня, сказала, что постояльцев нет, и я могу выбирать себе лучшую комнату. Провела меня по пустому саду, рассказала, какие звезды жили у нее, кто с кем приезжал. Море шумело со всех сторон, но его не было видно. Шум обживался в ушах, как галлюцинация.

– Как к вам обращаться? – спросила я хозяйку.

– Серафима, – ответила она нараспев глубоким грудным голосом. – Саша Градский вообще меня мама Сима зовет. Пойдем, комнату покажу.

– А к морю можно?

– Нечего шастать ночью, утром пойдешь, – сказала она по-свойски. – Выйти-то к морю можно, а обратно как дорогу найдешь?

Она шла впереди с фонариком вдоль дома. За домом к стене примыкала пристройка – комната с двумя койками и электроплиткой в тамбуре.

– Тут тебе чайник, кастрюлька, чашки чистые, но можешь ополоснуть, если хочешь, – вода там в колонке. Уборная тут. Если что – стучи в стену.

– А звезд почему не видно?

– Утром увидишь, – мягко сказала Серафима, и я не стала уточнять, как можно утром увидеть звезды. Я умылась с дороги, разделась, легла, послушала, как качнулась панцирная сетка кровати, и уснула под шум моря. Утром вышла босая и первым делом глянула в небо. Его не было – плотной крышей над большим подворьем Серафимы лежал виноградник. Огромные листья закрывали небо, коричневую лозу, и туманные гроздья свисали низко – руку протяни, и чудом не падали под собственным весом.

– Я тебе потом срежу, когда скажешь, – услышала я ее мягкий голос.

– Доброе утро, – сказала я.

– Да где ж там то утро? – усмехнулась Серафима. – Уж скоро полдень. Ну как, на новом месте приснился жених невесте?

- Я замужем, какие мне женихи?
- Иди умывайся, и пока до ларька дойдешь, я тебе пару яиц отварила. Ничего, что на ты?
- Спасибо, нормально.
- Я умылась у колонки, а когда вернулась, в комнате на цветной клеенке ждал ломоть хлеба с маслом, пара яиц и большая чашка в крупный горох.
- Тебе на море сначала, да? Пошли, дорогу покажу.

За калиткой, что выходила на узкую улицу, за деревьями, лежала крупная серая галька, по которой до моря было идти и идти, но им был наполнен воздух. И когда наконец показались белые гребешки волн, соль уже осела на губах, стоило их облизнуть. Я сбросила босоножки, платье, придавила камнями, чтоб ветром не унесло, и пошла к воде. Над волнами низко носились и орала чайки, пара фигурок брела по берегу вдаль, а в небе, словно приклеенный, висел самолет. Никого только не было в воде. Я обернулась, пытаюсь зацепиться за любую приметку в пейзаже, по которой найти потом обратную дорогу, но примет не было. Одинаковые высокие серебристые тополя стояли стеной, заслоняя дорогу и дома поселка, и только одна новенькая крыша поблескивала за деревьями лезвием бритвы. Я вошла в море и замерла – вода оказалась холодной, волна высокой, и я не рискнула окунуться. Огляделась, словно можно было у кого спросить, почему так холодно, обхватила себя за плечи и побежала назад к деревьям. Дошла до дома, скрипнула калиткой, и тут же с участка донесся голос:

- Что так быстро?
- Замерзла, – сказала я, прячась в свою комнату.
- Серафима выросла на пороге.
- Ты второе одеяло возьми, – стянула она с соседней кровати тощее бордовое одеяло. – А ты чего – без вещей совсем?
- Купальник взяла. Мне лето тут обещали.
- Раз на раз не приходится. Ты что, в октябре в Крыму не была?
- Я никогда в Крыму не была...
- Ишь ты... А куда ж ты на лето в отпуск?
- Нет у меня отпуска. А на лето – на Дальний Восток, в Якутию, Заполярье, – куда зимой не доберешься.
- Ну и как там? – растерянно спросила Серафима.

- Днем плюс двадцать пять...
- Ну это ж хорошо.
- Ночью – минус.
- Сколько?
- Те же двадцать пять, когда вечная мерзлота под ногами.
- И что ж ты туда берешь из вещей?
- Купальник и дубленку. Там солнце вот так ходит, – я провела пальцем по стене слева направо и обратно. – И не садится.
- Вообще? – с легким ужасом спросила Серафима.
- Ага. Летом по радио так и говорят: ночью сухая солнечная погода, – передразнивая диктора, сказала я. – Вообще-то, оно садится, но не сразу, а постепенно, – я снова повела пальцем по стене. – Так вот полгода походит туда-сюда по горизонтали, спустится ниже, ниже, пока совсем не исчезнет за горизонтом.
- И чего тогда? – глаза Серафимы расширились от изумления.
- Долгая полярная ночь. Еще полгода. Мрак и холод, и летать по приборам.
- Это оттуда, наверное, ко мне приезжали. Незамерзающий порт Тикси, – старательно выговорила она. – Белые-белые все такие, аж вены голубые видны, арбузы с корками ели, виноград с веточками, сгорели все сразу на пляже, волдырями покрылись и обдристались тут. Я тебе носки принесу. Согреешься – и пойдем виноград выбирать. А что ты там на холоде делаешь?
- Кино. То снимаю, то показываю.
- Я забралась в кровать, свернулась клубочком и смотрела в маленькое окно, кутаясь под двумя тонкими одеялами, слушала шум моря, который был настолько везде, что казалось, что я на корабле. За грязным, как на Песчаной, окном вместо серебристого пионера стояло чучело в соломенной шляпе.
- Иначе птицы весь виноград склюют, – сказала Серафима.
- Она назвала цену вдвое ниже базарной и посоветовала выбрать поклеванные гроздья:
- Птица не ошибется: раз гронку выбрала, значит, эта самая вкусная.

На следующий день я завернулась в одеяло и так пошла к морю. Сидела, лежала одетая под солнцем, задремывала, просыпалась.

И когда солнце склонилось к закату, побрела вдоль моря. Вышла на дорогу, увидела на обочине ларек, а за стеклом на витрине большую бутылку вина с красной этикеткой – «Бычья кровь».

– Открыть есть чем? – спросила я продавщицу.

– А ты прям тут пить собираешься? – презрительно уточнила та.

– А что – запрещено?

– У меня стакана нет.

– Был бы, я б все равно побрезговала, – утешила я ее.

Продавщица задето поджала губу и ловко выдернула пробку штопором. Поставила бутылку на прилавок, но руку не отвела.

– Заплати сперва.

– Бери, – я протянула ей кошелек, и пока она неуверенно рылась в нем, взяла бутылку и запрокинула, как пионер – горн. Опростала ее на треть, заткнула пробку и сказала: – Еще одну.

– Тоже открыть? – испуганно уточнила продавщица.

– Да нет, спасибо. Все взяла?

Продавщица отсчитала еще какую-то сумму и вернула кошелек.

– Проверь.

– Зачем? Там уже все посчитали, – ткнула я пальцем в небо. –

К Серафиме по этой дороге?

– Да, но в ту сторону. Мимо калитки не промахнись, оно в ноги шибает, – кивнула она на бутылку. – Там почтовый ящик синий такой.

Я не промахнулась. Прошла в пристройку, разогрела в маленькой алюминиевой кастрюльке вино, завернулась в одеяло и занялась бумагами. Пила, читала, черкала, согрелась вином и уснула к полуночи. Пол подо мной покачивало, как палубу, под шелест волн.

Утром Серафима, глядя вбок, спросила:

– Хорошо спалось?

– Нормально, – сказала я.

– Ты б с початой бутылкой тут не ходила, а то...

– Уже донесли?

– А как же! Народ у нас жалостливый: за хлебом пришла, а все сочувствуют, что опять я пьянь московскую приютила.

– А то, что я замерзла, это не в голове?

– Да я ж ничего не говорю. Здесь тебе никто не запрещает.

– Не может быть! Окно бы помыли за такие деньги, а не замечания делали.

– Какие – такие? Там вон вдвое дерут, а до моря два километра.

– И что там с окнами? Мытые?

– Да помою сегодня! И сиди себе пей, но зачем было это говно брать?

– А там выбор был?

– Мы из лидии свое делаем.

– Но я-то взяла то, что там было...

Я набросила одеяло, взяла бумажки и села за дальний стол в винограднике.

Серафима стояла поодаль, как статуя, и не сводила с меня глаз. Потом срезала крупную гроздь винограда, приблизилась к столу на цыпочках и положила гронку на край стола. Я подняла глаза.

– Угощайся, – тихим, как не своим голосом сказала она и попятилась.

Когда солнце поднялось повыше, я ушла к морю. А когда вернулась, окно было вымыто, и комната сияла.

– Ух ты! Спасибо, – сказала я. – Страшила теперь разглядеть можно. Привет! – помахала я соломенному человеку в окне. – Он у тебя с мозгами или еще без?

Серафима напряженно всмотрелась в меня.

– Это сказка такая, «Волшебник изумрудного города». Там чучело мечтает занять мозги и стать правителем...

– Ой, вот только не начинай про Москву, – закрылась локтем Серафима.

– Да я спасибо сказать...

– Это ему, – кивнула Серафима в сторону мужика, что бесшумно в глубине сада на высокой стремянке подрезал виноград.

– Спасибо! – крикнула я погромче.

– Николай, – подсказала она. – Приехал вот.

– А куда люди из Крыма ездят?

– Шоферит дальнбойщиком.

– Это хорошо: долго жить будете.

– С чего это? – заинтересованно спросила Серафима.

– Не третесь жопа к жопе с утра до ночи, отдохнуть успеваете друг от друга, соскучитесь. У тебя заметно, что хороший мужик есть в доме...

– Бабы в поселке тебе другое скажут, – сдержанно откликнулась она.

– Тебе не с бабами жить, а с мужиком своим. Мой всегда говорит: проще надо быть, проще – выслушала, кивнула, и иди себе.

– Проще в роще, – неожиданно грубо отрубил Серафима, развернулась и отошла.

– Спасибо, Николай! – крикнула я. – Я тебе тоже что-нибудь хорошее сделаю.

Так появился муж Серафимы. Крепкий загорелый шофер, он пришел из рейса и мог неделю отдыхать дома. Но он впрягся в домашнюю работу и с раннего утра до заката что-то чинил, сколачивал, клеил, красил и цементировал повыбитые плиточки на тропках в саду. Как покорный батрак, он ходил тенью за Серафимой в ожидании указаний. Серафима не смотрела в его сторону. Она знала, что тень неотрывно следует за ней. А он искал, как заглянуть ей в лицо. Она ставила перед ним еду на ближнем к дому столе, как ставят ее перед чужим работником, справно делающим дело за тарелку супа. А когда работа по дому была закончена, он пошел в гараж что-то менять в машине. Спросил Серафиму, не поможет ли она ему, но она мотнула головой. Я крикнула от дальнего стола, который обжила своими бумагами, что готова. Он вскинулся с благодарностью, быстро нырнул в яму под машиной. Все, что ему могло понадобиться, лежало по краю, и он только просил подать ему то гаечный ключ, то какую трубку, то поддержать лампу, осветить. Это были железки, которых я отродясь не видела, то и дело путалась, переспрашивала, но он не раздражался, а был признателен не столько за помощь, сколько за то, что я вообще с ним разговаривала. Удивлялся, что я не вожу машину. А когда закончил, выбрался из ямы и пошел мыться, Сима позвала меня третьей к ближнему столу. Поставила мне вторую тарелку с салатом из свежих помидоров с брынзой и сама села подле меня.

Я даже подумала, что как офицерская жена коммуналки она тревожится, не посягаю ли я на ее мужа. Но что-то другое было

в ее взгляде. Николай любовно объяснял мне, какой прекрасный болт ему удалось купить и как машина теперь запоет с новой деталью. В сумерках после ужина, когда я снова побрела к морю, Серафима спросила, не помешает ли, если составит мне компанию. Я даже обрадовалась. Хотела послушать ее рассказы про жизнь у моря. Мы шли босиком по крупной гальке, и я сказала, что хороший у нее мужик, но пусть она не думает, что я... Серафима не дала мне договорить. Сказала, что ей гораздо интереснее послушать, чем он хорош. Я стала перечислять все, что успела заметить – какой он открытый, спокойный, рукастый, как споро все получается у него, как любит машину и слышит, как у нее сердце стучит, как он сказал. И как небеса благосклонны к нему: даже дождь отменили и солнце дали на весь день, когда он цемент замесил.

– И, похоже, не пьет, – с тоской вспоминая своего мужа, закончила я.

Она кивнула, засмеялась едва ли не впервые за неделю, что я стояла у нее. Послушала, склоняя голову набок, и глазами словно попросила: говори еще, у-говори. И я уговаривала ее, чувствуя, что у них что-то произошло. Объясняла про своего – пьющего – мужа. Про виноградник, который ласковую руку чует. Предлагала пройти по улице посмотреть, что у других растет, но она отмахнулась – знаю, дескать. Мне хотелось сохранить их союз. Он был не похож на мой бестолковый брак.

– Знаешь, даже просто – из корыстных целей – я хочу, чтобы вы были вместе, – остановилась я у воды, кутаясь в одеяло.

– Зачем тебе?

Волна шумела так, что приходилось почти кричать.

– Чтоб мне было куда приехать. Ты хорошая, – прокричала я. – Дом у тебя большой, виноградник, ты одна не потянешь хозяйство. А он тебя любит, любит дом...

– Сам ставил, – кивнула Серафима.

– Ну так что ж тебе еще?

Я подобрала тяжелый голыш и что есть силы запустила куда подальше в волну.

– А я скажу, – Серафима тоже наклонилась, подняла покрупнее камень – и не бросила, а вложила мне в руку и сказала.

Я не помню, какими словами, потому что оглохла от ужаса. Сказала, что был у них мальчик, сын. Окончил восемь классов и дальше учиться не хотел – хотел работать, как отец. Пошел в техническое училище, отучился, дипломную работу написал, сдал, поехал на практику. Вечером не вернулся, а утром привезли его мертвого. Он на электрика учился и то ли упал со столба – влез и не удержался, то ли током убило. В гробу лежал чистый – каким утром ушел. Училище на себя все расходы взяло. Колька в рейсе был, но вернуться должен был. И пока она сутки головой о тот дальний стол в винограднике билась, где гроб стоял, кто-то из соседей пришел. Сказал, что машину Колину видел за магазином, а сам он у бабы. Сима про бабу ни сном ни духом не знала. Ей показали, в каком она доме, – приезжая, на лето в шоферскую столовую нанялась. И Серафима утерлась, умылась-причесалась и пошла той бабе в окно стучать. Стучала-стучала, а они не открыли. И Колька к ней от этой бабы не вышел.

– А все знали, что он точно там.

Мужики из гаража увели ее. Все на похороны пришли, гроб на руках вынесли, как положено, в грузовик поставили с опущенными бортами, до кладбища довели под клаксоны через весь поселок. Как свои своего похоронили. А Колькина машина исчезла. Бабу они с квартиры прогнали, из столовой и из поселка, хотя она-то в чем виновата? Лето минуло, а по осени забор у Симы осел, покосился, и проснулась она под стук молотков. Глянула в окно, а Колька с мужиками новые опоры поставил. Теперь уж она не вышла на стук. А он починил все, покрасил снаружи и ушел, как пришел. Мужики ему свои рейсы уступали – чтоб делом был занят. Потом похолодало, кто-то пришел, свитер ему попросил. Она свитер вынесла, показала и не отдала – сказала, пусть сам забирает. Сложила в стопку все, что его в доме было, положила у двери на простыне, чтоб в узел удобно завязать, а он вошел, воздух втянул и заплакал. Страшно так, громко.

– Выл, как скотина какая. Таким за руль сесть – только убиться, – сказала Сима. – Ладно бы сам-один – оно не жалко, так он же на трассе мог кого еще зацепить.

Она постелила ему, как постояльцу, да так он и остался – на коечке в уголке. Третий год пошел.

Меня трясло под одеялом. Мы стояли рядом, смотрели на море. Его не было б видно, если бы не луна. А так – лунная дорожка се-ребрила то белую пену, то сизую сталь воды. Я приподняла край одеяла, и Сима шагнула под него. Мы накрылись, прижались бок к боку, постояли еще и вместе пошли. Такими – сиамскими – вошли в мою каморку. Сима посмотрела на ворох бумаг на столе. Я сдвинула их, придавила камнем, что принесла с берега, но она жестом оставила: не надо. Поставила чайник. Села на свободную койку и осмысленно уставилась на бумаги, словно видела в них что-то свое. Ни звука не проронили ни я, ни она. Я пила кипяток, а она налила себе в граненый стакан моего вина, выпила, утерлась рукавом, сказала: – Я тебе завтра верну, – и ушла.

Утром под дверью у меня стояла бутылка этого вина «Бычья кровь».

– Если тебе чего надо в центре, – подошел Коля к умывальнику, – могу подбросить.

– Да нет, спасибо, – ответила я, пряча лицо в полотенце.

Он потоптался, уехал, а Сима позвала меня в дом. Я села с краешку стола – думаю, на то место, где сел тогда Коля. Она поставила чашку и подвинула два яйца на блюде.

– Это всмятку, это вкрутую – не знаю, как ты любишь, – ткнула пальцем в каждое.

Сама села поодаль, поглаживая большую толстую тетрадь, и сказала:

– Ты попей, а потом я тебя чего спрошу.

И пока я пила чай, сказала, что вино не такое поганое, как казалось, и что правильно вчера было выпить: и согрелась, и заснула, и за помин хорошо пришлось. Я снова кивнула и почувствовала, что хочется спрятаться в эту большую чашку, влезть в нее по ободок.

– Ты не бойся, – погладила она тетрадь. – Тут ничего страшного, бумага одна. Как у тебя. Мне кажется, ты сможешь мне объяснить, – Сима придвинула стул поближе. – Может так быть, чтоб ты в тетрадь что писал-писал, а потом ни с чего взял и нарисовал что?

– Конечно, – облегченно сказала я. – Достаточно посмотреть рукописи Пушкина, Лермонтова, – они рисовали на полях...

– Что рисовали? – напряженно перебила Сима.

– Когда что. Женские головки, ножки, Пушкин мог свой профиль нарисовать. Лермонтов фигурки со шпагами. Когда его на дуэли убили, эти рисунки показались провидческими, хоть он не на шпагах дрался, а стрелялся... Сергей Эйзенштейн вообще лист пополам делил: тут текст, а тут рисунки, сиськи...

– Эйзенштейна не надо, – по слогам сказала Серафима. – Лермонтова хватит.

– Эйзенштейн «Броненосец «Потемкин» сделал, кино такое.

– А так, чтобы писал-писал, а в конце рисунок?

– Наверняка и такое было.

– А у тебя было? – Сима легла на тетрадь грудью, чтобы поближе всмотреться в меня.

– Было, – твердо сказала я. – Бабушку в школу вызывали. Я могла писать-писать что-нибудь, что велено в столбик, сложение-вычитание или дроби, которые я ненавидела, а потом елочку нарисовать... Под снегом. Я ее до сих пор рисую, могу показать.

– Я знала, – выдохнула Сима и пододвинула мне тетрадь. – Теперь смотри.

Это была дипломная работа сына-электрика. Физика – с расчетами, цифрами и схемами передачи сигнала. Чертежи, на которых чашечки на перекладине столба с проводами отделяли провода друг от друга.

– Красиво, – нашла я хоть какое слово.

– Ты листай, листай... – поторопила Сима, чуть задыхаясь.

Листок за листком шли исписанные красивым почерком страницы. А когда я перевернула последнюю, там во всю страницу был выписан под линейку красивый электрический столб. Только чашечек не было наверху и проводов. Зато была косая перекладина посередине, и табличка с инициалами. Три буквы, средняя – Эн.

– Николаевич? – уточнила я.

– Георгий, – кивнула Сима. – Мы его Юркой звали. Когда папспорт пошли получать, только тогда и узнал, что он Георгий. И что ты мне скажешь, что это значит?

– Еще рисунки есть? – помедлила я.

– Нет. Никогда рисовать не хотел. Лепить – лепил. Из песка, глины, хлебного мякиша, я еще по рукам била. Птиц всяких, кораблики,

фрукты, овощи. Яблоко вылепит, раскрасит, в вазу подложит и ждет – спутаю или нет. Ну я и сказала ему, что зубы себе обломаю по ошибке, будет знать... Обрадовался, что похоже у него выходит, но подкладывать перестал. Игрушки на елку лепил, дарил всем. Улитке домики строил, они у нас тут утром выходят на дорожку...

– Не видела.

– Так тебя утром тоже никто не видел. По росе куда-то идут через наш двор.

Вошел Николай.

– Хозяйка, воду открой, чтоб я кран не пачкал, – показал он грязные руки.

Сима поднялась, не отрывая взгляд от тетради, прошла к крану, что был рядом в кухне, повернула его и продолжила:

– Юрка однажды увидел, что одной кто-то домик сломал, улитка голая совсем ползла, и просто с ума сошел – все лепил эти домики и ставил на дорожке по краю – чтоб она себе взяла.

– Я сам заверну, – сказал Николай, увидев боковым зрением тетрадь на столе.

Сима вернулась к столу.

– Плотники у вас в поселке есть, чтобы хорошие, с руками? – спросила я глухо.

– Ну ты ж забор видишь, – ответила Сима.

– Тебе зачем? – подал голос Николай, закрывая кран.

– Крест заказать – такой, как нарисовано. Ты где тетрадь эту взяла?

– Мне портфель его отдали...

– Значит, тебе и нарисовал. Надо плотника найти, крест этот выстрогать большой и поставить.

– Ты думаешь?.. А почему мне это в голову не пришло? – потрясенно спросила Сима.

– Потому что он тебе живой, твой Николаич, – закрыла я тетрадку. – С чего живому кресты ставить? Уехал на практику, не вернулся, и растет где-то там, другим улиткам домики строит, чтобы они голыми по небу не ползали, – я неопределенно повела рукой в воздухе, и Сима поймала ее, сжала в ладонях, закрыла глаза и прижалась лбом к моей руке.

– Я плотника найду, – сказал Николай, наматывая полотенце на кулак. – Сделает.

Я тихонько отняла у Симы руку, поднялась, вышла, спряталась в каморке – и утром не удивилась, когда Сима толкнула меня в плечо:

– Иди посмотри, как они идут, а то уедешь, и когда еще...

По мокрой от росы плиточной тропке медленно ползли большие – с ладонь – мокрые бежевые улитки с выпущенными длинными рожками-перископами и волокли на себе свои ненадежные домики. Я стояла босая над ними и не могла глаз отвести от этого зрелища.

– Улитка, улитка, где твои рожки? – вырвалось у меня.

– Ага, – кивнула Сима, и закончила: – Дам тебе картошки.

– Они нас не боятся, – потрясенно прошептала я.

– Не нас, Юрку, – погрозила она пальцем. – Это он выследил их дорожку и велел батьке плиточки положить, чтоб им легче было ползти голыми животами...

В тот же день на море поднялся шторм. Земля гудела, и все прятались по домам.

Николай дал мне большой прорезиненный плащ с капюшоном, чтобы я могла пойти посмотреть, как выглядит Айвазовский в жизни. И я вышла за деревья, стояла на гальке, но подходить близко к морю не рискнула. К утру стало ясно, что поплавать не удастся в этом сезоне. И когда волна улеглась и ветер стих, сложила бумаги и сказала, что поеду.

– Мы тебя отвезем, – непререкаемо твердо сказала Сима. – Носки себе оставь, а то зазябнешь там в самолете.

Николай медленно катил в старой машине по улице поселка, и Сима, что сидела на заднем сиденье, помахивала соседям из открытого окна. В Симферополе мы обнялись с ней на прощание.

– Приедешь еще? – спросил Николай из-за ее плеча.

– Приедет, – ответила за меня Сима, а я только пожалала плечами.

Она вложила мне в руку пакет с виноградом:

– Гостинца своему отвези.

И я пошла на посадку.

В Москве колючий дождь норовил стать снегом. На Песчаной ругались за стеной офицер с женой. Радиатор был холодным. Я стащила одеяло с постели, привычно завернулась в него и села разбирать почту, что скопилась, пока меня не было. Толик вернулся с работы трезвый, как я просила, когда позвонила из Симферополя. В недоумении повертел в руках большую виноградную гроздь.

– Из нее можно люстру сделать. Это у них такое само растет? – он отщипнул виноградину, положил за щеку и так, жуя, продолжил: – Тебе привет, был в Шереметьево, встретил кучу твоих знакомых.

– Кого?

– Рома вроде его зовут, из Одессы на свадьбу к нам приезжал с женой.

– Рома?! Был в Москве и не позвонил? А что он делал в Шереметьево?

– Да не он, а вся семья, на самолет «Москва – Вена» с баулами. Нина с Костей тоже...

– А они куда?

– Туда же. Посмотри, сколько черных окон в домах. Сваливает народ.

Я подошла к окну.

– А ты что там делал? – спросила я.

– Левку провожал. Он мне гитару свою оставил...

– И кто же там теперь? – кивнула я на соседскую стенку, за которой было тихо.

– Пока никого. Надька пытается себе эту комнату отбить у ЖЭКа, – он кивнул на другую стену.

– Может, я там пока попечатаю, чтоб тебе тут не мешать?

Он молчал.

– А хочешь, я вообще окно вымою? Ты только кактусы сдвинь.

– Плюнь, – сказал Толик, отщипнув еще виноградину. – Танюшка вымоет. Пошли подадим на развод.

– Дурак ты, – сказала я. – На всех, с кем спишь, не женишься, а лучше меня жены у тебя не будет.

– Я знаю, – кивнул Толик и обнял меня со спины.

За окном стемнело, и мы смотрели на свое отражение, как на вылинявшее фото, где стояли в обнимку, когда все только начиналось.

Виктория Петренко

Записки хвостатой сосиски, или Мое собачье дело

Глава лечебная

- Скажите, а я у вас приемный? – спросил Добби и заглянул в душу.
 - Конечно, – улыбнулись мы. – Ты приемный у нас, а мы у тебя.
- Мы приняли друг друга.
- Как лекарство?
 - Как самое полезное в мире лекарство!
 - А что мы можем вылечить? – Добби хотел сесть от удивления, но ему мешал хвост.
 - Мы можем вылечить главное: дефицит любви в организме, обострение хандры и охлаждение чувств.
 - Значит, я ко всем своим достоинствам еще и лечебная такса?
 - Очень лечебная! – подтвердили мы.
 - Лучше, чем подорожник, клизма и горчичник?
 - И даже чернее, чем активированный уголь!
- Добби задумался, чихнул и радостно завилял хвостом:
- Тогда назначаю всем доббитерапию! Принимать меня много раз в день – особенно во время вашей вкусной еды! Прикладывать, как грелку, к замерзшим местам! Получать заряды моей любви и прогревать себя ими, как тубус-кварцем!
- Давайте-ка я выпишу вам рецепт! Где ставить подпись?

Глава филологическая

Бывают люди – глаголы. Они – сплетение действий. Движенья в любом направлении. В полете, в мечтах и на цыпочках.

Бывают люди – союзы. Их жизни – в соприкосновениях. Они крепко держатся за руку, без точки опоры теряются.

Бывают люди – наречия. Их чувства – как выстрелы четкие, вопросы – порою бестактные, молчание – знак восклицательный.

Есть люди – местоимения, им важно кто – сам или самые. Кому и кого, или чье вообще. Мое или нам, в лучшем случае.

Случается быть прилагательным. Не слабым, как думают многие. Конкретным, понятным и вдумчивым. И все же немного зависимым.

Но есть среди прямоходительных – порода людей-существительных. Они непростые явления, в них качество, цвет, настроения...

– Так сколько же их? – вопросительно взглянул любознательный Добби,

Он был человеком-числительным.

Но лишь в виде таксы – не в дроби!

Глава пошаговая

– Один день – это как один шаг, – сказал Добби.

Мы кивнули ему в ответ.

– Но ведь шаги бывают разными! Вот ваш – длинный, а мой – короткий. Сколько моих шагов помещается в одном вашем?

– Но если учесть, что мы делаем шаги двумя ногами, а ты – четырьмя, может ли это прийти к одному усредненному шагу?

– Может, – согласился Добби. – Но если учесть, что ваш один день равен нескольким собачьим неделям, то шаги все равно разные...

Добби вздохнул и посмотрел на тюльпаны.

– Хотя день жизни тюльпана равен году жизни таксы. Странная жизненная арифметика... Пойдем шагать навстречу весне? Одевайтесь!

Глава выходная

Давай сегодня будет суббота!

Мы устроим ленивое что-то:

Станем с книгой под пледом валяться,
Печь пирог, пить глинтвейн,
Обниматься,
Будем думать легкие мысли,
Все мечты до одной перечислим.
Ну а если не хватит мгновенья –
Повторим это все в воскресенье!

Глава попутная

- Откуда ты? – спросил Добби.
- В каком смысле?
- Откуда ты идешь? – уточнил он.
- От себя.
- А куда?
- К себе.
- И что ты видишь?
- Вижу твой любопытный нос. Ну и пару перспектив в придачу.
- А что такое перспективы?
- Виды на будущее. Или на настоящее, но с отдаленного пункта наблюдения...
- Но твои пункты – это же ты сама?
- Конечные – да. Но по дороге много остановок.
- А я тоже остановка?
- Ты попутчик. А иногда – штурман, подсказывающий направление. Вот этим компасом, – показала я на его хвостик-стрелку.
- Мне подходит, – согласился Добби. – Тогда ты иди себе. А я поищу карту... Кстати, джокер подойдет?

Глава вишневая с косточкой

- Ты знаешь, что каждый месяц имеет свой вкус? – спросил Добби и повесил на свой длинный нос черешню. Почти как медаль.
- Конечно, знаю, – согласилась я. – Но разве для тебя они не одинаково пахнут мясом или косточкой?

– Что за стереотипы о вкусовых предпочтениях такс?! Для меня, например, август – арбузный, июль – кукурузный, декабрь – мандариновый, октябрь – грушевый, апрель – редисочный, май – клубничный, июнь – вишневый. Каждый год я жду снисхождения вареников, почти как вы – благодатный огонь весной, и это будет означать, что жизнь состоится! Как думаешь, скоро вареники?

«Пора!» – подумала я.

– Итак, Добби, нам понадобятся: две большие жменьки муки (650 грамм), молоко (полный стакан, не отпивай, пожалуйста!), половина стакана минеральной воды (с шипящими пузырьками), кусочек сливочного масла (30 грамм), две столовые ложки сахара и одна чайная ложка соли. А еще целый килограмм сочной и ароматной вишни.

Закипяти, будь добр, воду с молоком, аккуратно добавь туда масло, соль и сахар. Добавь половину муки, сними с огня и вмешай остальную муку. Замотай тесто в пленку и поставь на часок в холодильник. Равномерно раскатай скалкой тесто, возьми свой любимый стакан и выдави на тесте кружочки. В каждый кружочек положи 2-3 вишни, немного сахара и залепи края вареника. Тесто очень нежное, постарайся не раскатывать его слишком тонко! Вари вареники в крутом кипятке небольшими порциями в большой кастрюле, чтобы им было просторно и они могли плавать брассом и кролем. Перемешивай их осторожно ложкой, иначе они могут обняться и лечь полежать на дно. Как только вареники всплывут, посчитай до ста и доставай их. И, пожалуйста, будь начеку с кипятком – он очень горячий!

– Этот год обещает быть счастливым – вареники снизошли, ура! И если сурок Фил предсказывает весну, то я точно прогнозирую весь год. Так вот в этом году счастье будет обязательно! – радостно воскликнул припудренный мукой Добби и весело выплюнул косточку от вишни.

Глава коварная

– Мадам, Вы, вижу, не из местных. Породу Вашу я не узнаю. Какой роскошный хвост! Осанка! Носик! Позвольте лапку Вам поцеловать?

Так обратился я к прекрасной Незнакомке. Я был галантен весь, до кончика хвоста!

– А что она?

– Сказала нецензурно «Мяу!». И в ухо мне вцепилась, не спрося...

О женщины, за что коварство ваше
Когтями вероломно душу рвет?..
Не знал наивный Добби, что красotka –
Ни капли не мадам, а хитрый кот.

Глава молочная

– Мне кажется, наши коровы не дорабатывают, – грустно сказал Добби. – В то время как инновации шагнули в мир, коровы по-прежнему дают всего лишь молоко. И я от лица друзей крупного рогатого скота сделал обращение. Пожалуйста, передайте это в министерство молочной промышленности.

Корова доярке дала указание:
«Прошу повкуснее мне сделать питание.
На завтрак бананом кормить и мороженым,
Зефиром – в обед (с шоколадным пирожным),
На ужин чтоб были халва, карамель...
И будет вам сладкий молочный коктейль!»

Глава солнечная

– Ты знаешь, чем плачет солнце? – спросил Добби.
– А разве солнце плачет? – удивилась я.
– Конечно! У него куча поводов для этого. Солнце плачет, когда видит, как мы радуемся весне. Когда, расцветая, просыпаются деревья. Когда оно дольше на небе, а вечер приходит позже. Когда люди надевают темные очки, чтобы оно смело отражалось в них...
– Подожди, но почему плачет? Разве все это грустно?

– А почему слезы – это сразу грусть? Бывают же слезы от счастья? Солнце плачет от радости, что может сделать нас всех счастливее. Так вот, знаешь ли ты, чем оно плачет? О-ду-ванчиками!

– А чем же тогда солнце смеется?

– Ну это же всем известно! Смеется оно веснушками! Кстати, посмотри, у меня все лапы в веснушках! – Добби улыбнулся и побежал собирать одуванчики. Или веснушки...

Солнышко утром проснулось с улыбкой,
Решило оно золотую стать рыбкой –
Нырнуть в голубую морскую волну,
На самую, самую глубину.

Узнали об этом звери и птицы
И солнце просили остановиться,
Не оставлять их без яркого света,
Теплых лучей и веселого лета.
Ведь иногда озорное желание
Может для многих стать наказанием!

Солнышко тихо на облако село
И от смущенья слегка покраснело:
«Мне удовольствия не получить,
Если посмею я вас огорчить.
Простите меня, дорогие друзья,
Вам без меня ведь, и правда, нельзя!»

И тут из его нежных лучиков-пальчиков
Прыгнули тысячи солнечных зайчиков.
А там, куда спрятались зайчики,
Выросли вдруг одуванчики!

Глава волнительная

– Почему ты не говорила, что путешествие – это очень волнительно? – спросил Добби. – Я в растерянности: что взять с собой? С какой стороны лучше сесть в автобусе и самолете – у окна, чтобы

я смотрел на все, или у прохода, чтобы все смотрели на меня? Не от-вечай, я сам догадался! Хочу видеть из окна оленей, зайцев и бар-суков! А из иллюминатора – орлов, парашютистов и инопланетян! Как это «их там нет»? Невежливо с их стороны!.. А что лучше взять с собой: мячик или косточку? А какой поводок – синий или черный? Черный меня, кажется, стройнит... Что-то я устал весь из себя. Нет, нет, я не буду спать! Я только померяю собой сидение... Хррр... Хррр...

Глава колючая

- Какие твои любимые цветы? – спросил Добби.
- Пионы. Они такие нежные и пахучие, – ответила я и зажму-рилась, представив охапку пионов.
- А я люблю кактусы. Они тоже нежные, но прячут это за свои-ми иголками. Но поверь, им так не хватает друзей!
- Откуда ты знаешь, Добби?
- Вчера я познакомился с одним добрым кактусом, он расска-зал мне свою удивительную историю... Вот слушай!

Кактус колючий, кактус небритый,
Всеми друзьями давно позабытый,
Зеленый от высокомерия,
Стоит среди знойной прерии.

С ним по соседству лежит игуана
С именем редким и дивным – Диана.
В эти часы у всех игуан
Прием по режиму солнечных ванн.

Чтобы помочь дорогому соседу,
Заводит Диана такую беседу:
«Знаешь ли, кактус, что настроение
От твоего не зависит строения –
Ведь зачастую колючесть щетины
Может украсить любого мужчину.
Придумай полезное ей примененье –
На радость другим и тебе в развлеченье!»

Слова игуаны внушали доверие.
Кактус задумал улучшить жизнь прерии:
Тем, кто окажется здесь в жаркий день,
Он предлагает прохладную тень.

Больше колючки не сердят людей,
Ковбои приводят сюда лошадей.
И переделав щетину в расчески,
Делает кактус лошадкам прически.
А тем, кто особенно с кактусом милый,
Он предлагает холодной текилы!

Вот скажи, разве кактус не прелесть?

Глава дружная

– Вы слышали, что гусь свинье не товарищ? – спросил Добби и удивленно хрюкнул. – Почему? Кто так решил?

– Люди решили, – ответили мы.

– А разве люди знают о дружбе между животными?

– Им кажется, что знают.

– Так почему гусю не дружить со свиньей?

– Наверное, потому что они слишком разные – внешне, по характеру и интересам...

– Ну что вы! – возмутился Добби. – У них столько общего! Они – домашние животные, оба любят хозяйские вкусняшки, вместе радуются рассвету, любят смотреть на закат, обожают обсуждать куриные сплетни, с удовольствием греются на солнышке и мечтают не попасть на праздничный стол. Разве этого мало для дружбы?

– Более чем достаточно! – кивнули мы. – Люди ведь тоже разные, но прекрасно ладят друг с другом. А вот похожие не всегда уживаются вместе.

– Тогда давайте отменим эту поговорку! Иначе однажды кто-то скажет, что фламинго таксе не товарищ, а такса пингвину не друг и коту не брат. А кто-то в это, не дай бог, поверит, как в мудрость.

– Ты прав, давай отменим. Пусть все, кто хочет дружить, – дружат, кто хочет любить – любят...

– А кто хочет летать – летает, даже если он рожденный ползать, – оборвал нас нетерпеливый Добби. – Сейчас фламинго будет учить нас летать. Главное, правильно вытянуть шею и подогнуть лапы, как шасси!

Добби хотел вытянуть шею, но вытянул по привычке хвост. А его друзья вытянули счастливый билет – в лице самого Добби.

– Кстати, вы заметили, что я самая толерантная собака в мире? – прочитала наши мысли скромная такса.

Глава именная

– Почему такса? Что за название странное?
Потому что длинная, как такси?
Или, может, так-с-ильно упрямая –
сующая нос, куда ни проси?

– Такса – порода такая стильная:
лапами, носом и даже хвостом,
цветом – как вакса и клякса чернильная,
с телом – как через Ла-Манш мостом.

Таксой ты, Добби, не зря называешься –
ведь жизнью так-с-ильно ты наслаждаешься!

Глава стильная

– Знаете, я решил стать блондином! – твердо сказал Добби. – У брюнетов нет шансов стать звездой!

– А что случилось? – удивились мы.

– К сожалению, ничего. Просто все самое интересное случается с блондинами!

Мы отложили все дела и уставились на Добби. Он продолжал трагическим голосом:

– Я как лучшая в мире ищейка провел расследование. Смотрите сами и загибайте пальцы на своих лапах: белый шпиц Мувик снялся в «Улетном экипаже», лабрадор Марли – в «Марли и я», джек-рассел-терьер Майло – в «Маске», колли Лэсси, сенбернар Бетховен, даже шатенки овчарки Джерри Ли, Мухтар и комиссар Рекс – все при деле! И это я еще не перечислил всех сто одного далматинца! А что делать мне – такому талантливому артистичному брюнету? Кто разглядит под черным шерстяным покровом светлый образ таксы?

Добби всхлипнул и театрально вильнул хвостом. Мы смахнули набежавшие слезы.

– Но ведь черный цвет – это классика, это фрак, в котором я родился, это актуальный образ героя-любownika и благородного рыцаря и, кроме того, всегда политкорректно! – Добби попытался положить лапу на сердце, но дотянулся лишь до кончика носа.

Мы заплодировали. Где-то в Голливуде заплакал зоосценарист. У него рождался сюжет о профессиональной дискриминации собак по цветовому признаку...

Пауза затянулась. Добби вздохнул и прикрыл глаза. Через минуту ему во сне вручали «Оскара». Ему – лирическому герою, рожденному в черном фраке...

Глава счастливая

– Знаешь, когда приехала моя бабушка, я стал гораздо счастливее! – сказал Добби.

– Какая бабушка? – я чуть не поперхнулась от удивления.

– Моя бабушка Молли!

– Но она тебе не бабушка, она просто милая старушка-мопс... – я не успела закончить фразу, как Добби меня перебил:

– Ты меня огорчаешь примитивным мышлением. Разве бабушки должны быть одной породы с внуками? Иметь один цвет шерсти и глаз, форму носа и хвоста? Даже у людей бабушки не всегда похожи на внуков! При чем тут внешность? Молли заботится обо мне – разрешает валяться в ее кровати, всегда оставляет вкусный кусочек в своей миске, проверяет, крепко ли я сплю. Она моя бабушка по любви! Ты слышала, как она рассказывает сказки?

– Ну... Я думала, это она храпит... – я вдруг тоже засомневалась в отсутствии родства между таксой и мопсом.

– А еще лингвист в анамнезе! Не можешь различить собачью речь! Как тебе вообще люди доверяют?

– Дети, не ссорьтесь! – вмешалась в разговор бабушка-мопс Молли. – Пойдем, я вам книжку почитаю!

Глава глупостная

Откуда берутся глупые мысли?
Может быть, умные мысли скисли,
Сломались, испортились, отсырели
Или попросту надоели?

Глупости любят покрасоваться –
На языке без умолку болтаться,
Кричать и высказывать без разрешения,
Мучая всех до изнеможенья.

Но если вовремя рот закрыть
И глупость невкусную проглотить,
Зажмурившись посильнее, –
Ты станешь намного умнее!

Глава хвостатая

– Какая все-таки нужная вещь хвост! – задумчиво сказал Добби. – Жаль, вам этого не понять...

– Видишь ли, природа решила избавить нас от атавизма, – я сделала умный вид.

– Что значит атавизм? Зачем так оскорблять хвост?! Вот бесполезные рудименты она же вам оставила! Зубы мудрости вам положены, не вовремя травмирующийся копчик, куча ненужных волосиков на теле, аппендикс, как мина замедленного действия... И, как я слышал, еще около девяноста нефункциональных приспособлений в человеческих организмах!

Зачем вам ушные мышцы, если вы не хлопаете ушами? Почему не поменять молочные железы у мужчин на дополнительные мышечные «кубики», зачесать волосы со спины на лысеющие макушки – чтобы быть вечными аполлонами, без срока годности?

– А хвост тут при чем, Добби? – не поняла я.

– Ну подумай сама. Сегодня голубь с обратной стороны окна вытер хвостом стекло. Польза, что ни говори! А я хвостом, как стрелкой от будильника, разбудил тебя утром! Попугай когда-то выронил из хвоста перья – и ты ими смазываешь тесто, когда печешь пирожки.

А если бы хвост был у вас – сколько всего можно было бы придумать! Например, добавлять в прическу (для увеличения объема), красить ногти (ресницы, стены), спасать пищу от подгорания (когда руки заняты мобилкой, книгой, ребенком), удерживаться на скользких поверхностях (когда обеих ног недостаточно), шлепать нас в воспитательных целях (руками же непедагогично!) и рисовать шедевры!

А вы? Что бы вы делали своим хвостом?

Глава гигиеническая

Пиявка пиявку спросила: «Подружка!
Что лучше: повидло, ириска и плюшка,
Желе, мармелад или ломтик печенья?
Какое вкуснее всего угощенье?»

Пиявка пиявке ответила так:
«Сладости нашим зубам – это враг!
Чистка зубов обязательна!
После конфет сосательных...»

– Представляешь, приснится же такое! – сказал Добби по дороге в ванную. – Я вчера случайно сгрыз зубную щетку, когда чистил зубы. Выдай мне, пожалуйста, новую!

Глава воображительная

– А что если меня не существует? – Добби пристально посмотрел на нас.

– А кто тогда спрашивает об этом? – улыбнулись мы.

– Говорит и показывает плод вашего воображения! – низким голосом диктора Левитана ответил Добби.

Мы даже засмеяться не успели, как он продолжил:

– Нет, ну а вдруг вы меня придумали, и я всего лишь трехмерное изображение вашей фантазии?

– Для фантазии ты слишком прожорлив и хулиганист: кто стащил со стола котлеты и выкопал хризантемы в саду?

– Во-первых, хризантемы в саду отцвели уж давно, и я под ними искал лисий дом. А котлеты точно были воображаемым предметом! Такой иллюзией! – Добби на цыпочках бочком стал отходить к двери. – Маленькой кулинарной фантазией... Очень вкусной, к тому же! – Добби выскочил из кухни, как будто его и не было. Плод воображения, а не такса!

Глава вкусная

– Знаешь, какое мороженое я люблю больше всего? Со вкусом сосисок, шоколада и рыбных котлет! – сказал Добби и подошел к холодильнику. – Что ты можешь мне сегодня предложить?

– Сегодня я могу предложить тебе ванильное, – улыбнулась я.

– Кажется, мне пора на север, – вздохнул пес. – Никто не считается с моим вкусом. Поеду я туда, где мальчишки и девчонки делают снежное, самое вкусное мороженое! Ты слышала?

На Севере далеком
Девчонки и мальчишки
Придумали забаву,
Чтоб время скоротать.

Они на кончик айсберга
Набросили веревку,

Чтоб к берегу холодному
Айсберг мог пристать.
Потом они обсыпали айсберг сверху донизу
(Стоя на стремянке, из большого шланга!)
Сахаром, изюмом, шоколадной крошкой,
Брызгая вареньем и молоком немножко!

Чтобы получилось
Лучшее мороженое –
Вкусное, волшебное,
Не-во-змо-жное!

– Так где моя шапочка и рукавички? Хотя... Давай ванильное!

Глава сердитая

– Я должен признаться, – вздохнул Добби. – Иногда я не тот, за кого себя выдаю.

– Ты не такса? – удивились мы.

– Скорее я не такая такса, какой кажусь. Все думают, что я добрый и совсем не умею сердиться. Но это не так – я очень даже умею. Иногда я еще как гневаюсь!

– Так бывает со всеми, милый Добби, – попытались мы утешить таксу. – Мы не можем всегда испытывать только положительные эмоции. Жизнь ведь разная, события в ней тоже разные, и мы на них по-разному можем реагировать – когда радоваться, а когда сердиться или огорчаться.

– Но ведь тогда мы становимся вредными, а может быть, и опасными?

– Это зависит от того, как мы себя ведем. Если наша злость распространяется на окружающих, мы можем им навредить. А если мы постараемся превратить сердитость во что-то полезное – начнем мыть посуду, рисовать, заниматься спортом или, к примеру, петь, то сделаем нашу злость безопасной и очень быстро забудем о ней.

– Но у меня слишком короткие лапки, чтобы мыть посуду, рисую я хуже, чем Пикассо, а пою так, что точно могу навредить

ушам окружающих. И честно говоря, когда я гневаюсь, то хочу укусить кого-то за пятку...

– А если ты попробуешь укусить по-другому? Не за пятку, а за бочок, но не человека, а яблоко или косточку?

– Я попробую! – пообещал Добби и побежал на встречу со своим другом Червяком. У Червяка всегда была припасена добрая история для Добби.

Червяк пополз на курсы змей –
Всю жизнь мечтал он стать длинней.
А там учили быть сердитым
И очень даже ядовитым.
Подумал вдруг червяк: «Я добрый
Гораздо лучше длинной кобры.
Никто не будет мной укушен!»
И откусил кусочек груши...

Глава вздыхательная

– С утра ты вздохнула три раза, я посчитал. Что случилось?

– Ничего, – улыбнулась я. – Вспомнила, что лето заканчивается.

– Как это? Разве оно имеет конец? Лето, как жизнь – либо есть, либо нет. Лето – как настроение: может меняться на другое, прохладное. Лето – как друг: может уехать по делам или в путешествие, но обязательно вернется. Лето – как детство, оно хранится в нас самих... А хочешь, я сберегу его для тебя? И ты в любой момент достанешь и почувствуешь его?

– Очень хочу!

– Я так и думал, и даже составил рецепт консервированного лета. Запоминай: груши, персики, лимоны, цукини, мята – нарезать, перемешать, засыпать сахаром, лавандой и ванилью, немного проварить, выставить на солнце на несколько минут, чтобы напиталось его теплом, и спрятать в банки до холодов. До момента, когда почувствуешь, что замерзла, хандрить или скучаешь. Вот тогда ты откроешь баночку с вареньем из лета. С любовью к Брэдбери и с моей любовью...

Глава лежачая

– Я объявляю забастовку! – заявил Добби и насупился. – Все-таки я против ухода лета! Ладно, если бы всего на пару месяцев, а потом оно снова вернулось! Но уйти на так долго, забрав с собой тепло и зеленые лужайки, просто свинство с его стороны! Итак, я объявляю лежачую забастовку – не встану с травы, не позволю ей исчезнуть!

– Но тогда ты пропустишь валяние в кучах листвы, закапывание каштанов, поедание снежинок и постройку снежных туннелей, потом ловлю весенних солнечных зайцев и еще, и еще... У тебя ведь столько интересных дел до следующего лета!

– Ты так думаешь? Ладно, полежу еще минутку. А ты пока почеши мне пузико, не бездельничай!

Глава измерительная

– Какая несправедливость! – воскликнул Добби.

Мы замерли в ожидании объяснений.

– Вот есть шагомер, есть силомер. А гладомера нет!

– Может, ты имеешь в виду «глазомер»?

– Я имею в виду то, о чем говорю! – нахмурился Добби. – Гладомер! Измеритель поглаживаний собак. Как вы считаете, сколько метров таксы вы сегодня погладили? Достаточно ли этого для меня и полезно ли для вас?

– Ну про тебя понятно. А как это может быть полезно для нас? – удивились мы.

– Все очень просто. Когда вы гладите длинную таксу, вы укрепляете мышцы рук. Психологи утверждают, что полезно развивать мелкую моторику!

– А почему ты решил измерять поглаживания в метрах? – продолжали мы задавать глупые вопросы.

– Эх вы, гуманитарии... Судите сами: длина моего тела 65 сантиметров. Плюс 25 сантиметров – хвост. Все вместе – 90 сантиметров! Сколько раз в день вы приходите меня погладить? Минимум двадцать. Это значит, что в день вы гладите восемнадцать метров приятной на ощупь таксы!

А если я еще подумаю о том, что это прекрасный массаж для ваших ладоней, то польза от меня будет бесценна!

– Правда, Добби, ты бесценно полезный!

– И скромный, – вздохнул Добби. – Очень скромный. Поэтому можете добавить пару метров глажки, килограмм поцелуев и косточку. Бескорыстие – это мой конек. Кстати, сколько мне заплатят за изобретение гладомера? Звоните скорее в патентное бюро, я готов к испытаниям!

Глава нежная

– За что ты меня любишь? – спросил Добби и понюхал мою руку, видимо, проверяя на честность.

– Ни за что, – ответила я и пощекотала его за ухом.

– То есть меня и любить-то не за что? – удивился он. – Смотри, сколько достоинств! Я полезный в хозяйстве, веселый для настроения и приятный на ощупь. Наверное, ты меня недооцениваешь... Хочешь, я стану еще лучше?

– А разве обязательно любить за что-то? Я люблю тебя – потому что. Потому что ты Добби, такой, какой есть. И лучше можешь стать только для самого себя, мне вполне достаточно длинной черной пушистой сосиски с веселым, хоть иногда и скверным характером. Для нас ты и так самая лучшая такса в мире. Потому что!

– А ты слышала, что лучшее – враг хорошего? – Добби довольно посмотрел на меня, и я поняла, что ждать улучшений не придется.

Ответить я не успела. Добби вспомнил, что сегодня утром он нашел странное желтое яйцо, которое почему-то пахло дыней. «Высиживать не получится, – решил он, измерив яйцо хвостом. – Буду вылеживать, пока кто-то не вылупится!».

Все-таки Добби очень хозяйственный. Люблю его за это!

Глава словная

– Я часто думаю: куда уходят слова?

Когда произносим – они уносятся в воздух?

Их вбирает в себя листва? Птицы прячут внутри хвоста?
Заберают птенцам в свои гнезда?

Я не верю в бесследие сказанных слов.
Шлейф их смыслов протянут в любом направлении.
Материал для строительства стен (а кому-то – мостов) –
Создают они «слдвное» измерение.

– Нет такого слова – «слдвный», поверь! – засмеялись мы хором, а Добби взглянул грустным взглядом:

– Вы сейчас словно выставили за дверь слово славное, будто ему не рады.

А оно уже есть, говорится уже и отнюдь
Не нуждается в разрешении.
Иногда, чтобы просто начать свой путь –
Нужен ваш кивок одобрения.

Мы кивнули, и Добби, лизнув нас сперва,
Умчался искать слова...

Глава находчивая

– Смотрите, что я нашел! – закричал Добби.

Мы пошли на его голос – иначе как отыскать в темноте черную таксу? Голос был радостным, а увиденная картина – жуткой: возле Добби стояли две белые ступни с голеностопом. Величиной с Добби.

– Коньки! – завопил Добби еще звонче. – Кто-то оставил мне коньки! Моя мечта сбылась!

И правда, рядом с Добби были коньки. Белые, старенькие, настоящие. Возле нашего дома. Совпадение? Не думаю. То ли спортивная слава разнеслась по району, то ли мечта Добби.

– Ты только не огорчайся, – попросили мы. – Мало того, что коньки женские, они еще и не твоего размера. Вряд ли тебе подойдут...

– Так что же, мы оставим их здесь? – Добби почти заплакал.

– Ни в коем случае! Коньки – как книги, картины и музыкальные инструменты – не могут оставаться одни. Им нужно радовать людей, приносить пользу или удовольствие. Или все сразу.

– Как вам повезло с гениальным мной! Я уже придумал! – ожи-
вил Добби. – Если они не могут украсить таксу, такса украсит их!
Добби схватил коньки и скромно побежал навстречу прекрасному...

Глава спортивная

– Эврика! – воскликнул Добби и повернулся к нам греческим
профилем. – Я нашел себя!

Мы ничуть не удивились. Добби любит находить себя каждые
пару дней. Впрочем, иногда само наличие зрителей гораздо важ-
нее их реакции.

– Я решил стать спортивным мотиватором!

– Тренером? – уточнили мы.

– Нет, конечно! Тренер за пределами поля, а я люблю быть
участником!

– Ты хочешь быть мячом?! – испугались мы своего предполо-
жения.

– С ума сошли? – обиделась такса. – Я, конечно, люблю прикос-
новения, но не ногами же!

– А как ты будешь мотивировать спортсменов?

– Вы невнимательны, друзья. Я же сказал, что люблю прикос-
новения! Я буду хватать нерасторопных футболистов за пятки!
Это улучшит дриблинг и увеличит темп игры. Я ведь охотничья
собака, а охота на пятки – весьма спортивная. Здорово придумал?
– скромно выпятил свое самомнение Добби.

Мы восхищенно молчали. Для Добби молчание, как всегда,
было признаком согласия.

– Бегу переодеваться! А вы пока закиньте мое резюме на сайт
поиска футбольной работы. И отойдите, чтобы вас не засыпало
предложениями!

Глава обувная

Кто сказал, что рваный башмак
Никому уже не послужит –
Не согреет ногу никак,
Познакомит с осенней лужей?

Кто сказал, что рваный башмак
Нужно выкинуть без сожаленья?
Но ведь даже дырявый дуршлаг
Помогает в делах вермишельных!

Из него можно сделать кормушку
Для озябшего воробышки
Или хитрую норку-ловушку
Для проворной мышки-воришки.

А если в башмак насыпать
Сахару полстакана,
То мама так рада будет
Усатым гостям-тараканам!

Накормите рваный башмак –
Дайте кашу ему и котлеты.
И за это он сохранит
Ваши тайны, мечты и секреты.

Глава носатая

– Знаешь, чем собака отличается от других четырехлапых? – зевнув, спросил Добби. – У нее каждая часть тела самостоятельная и независимая. Например, хвост – он всегда сам по себе. Или вот нос. Когда вся такса спит – нос несет вахту. Вдруг, пока я сплю, рядом появится что-то вкусное? Главное – это бдить незаметно, – сонно закончил Добби.

– Спокойной ночи! – отдельно пожелал его нос. Очень самостоятельный и незаметный. Гений маскировки!

Глава сонная

Подушка была самой доброй на свете.
Ей нравилось. как беспокойные дети

Кричали, играли, чудили, скакали,
А после на ней в свои сны улетали.

Подушка мечтала плыть облаком в небе,
Быть каплей в дожде или крошечкой в хлебе.
Но день изо дня от весны до весны
Она охраняла волшебные сны.

Однажды подушку решили забрать –
Проветрить, почистить ее, постирать.
Подушка встревожилась: «Как же уснет
Малыш, если мама меня не вернет?»

А вечером, свежей вернувшись в кровать,
Она принялась, как обычно, мечтать:
Про облако, дождь, про луну среди крыш.
И тут к ней в пижамке забрался малыш...

Ей стало понятно: нет лучше работы,
Чем только об этом ребенке забота –
Подушка прижалась к любимому ушку
И тихо шепнула: «Спи крепче, Данюшка!»

Глава романтическая

- Мне кажется, я встретил девушку своей мечты, – сказал Добби.
- Очень интересно! И кто эта красотка?
- Мы не знакомы, – вздохнул Добби. – Я же говорю, что только встретил! Но она правда красотка – блондинка с прекрасными мохнатыми ногами. Ее лай приятного тембра и, видимо, по профессии она парфюмер или дегустатор – все нюхала и облизывала.
- Но почему ты с ней не познакомился? – удивилась я.
- Скромность – все дело в этом... Я ведь не только чертовски привлекателен, но и необыкновенно застенчив! Боялся напугать ее своей неотразимостью. Тем более что рядом гуляли два бультерьера... Но я оставил ей записку под кустиком. Как думаешь, она ведь умеет читать?

Глава любовная

– Я понял, что любить – значит смотреть вместе в одном направлении. Такая вот «формула любви от Добби».

– Вообще-то, эта формула от Экзюпери. Он ее вывел в книге «Земля людей» – давно, задолго до твоего появления на этой земле людей.

– Правда?! Тогда, пожалуйста, не говори об этом моей рыжей подруге Жуже! Пусть она думает, что я самый умный. Пойду посмотрю, куда глаза глядят. Хорошо, что их у меня только два. Иначе разбежались бы!

Глава почемучная

– Почему, – спросил почемучка, –
Верблюжатам нужна колючка?
То, чем пишут, зовется не ножка, а ручка?
Почему прилипает липучка?

Почему люди плачут слезами?
Что идет – называют часами?
Почему так приятно валяться в траве?
А у девочек хвостики на голове?..

И пока Добби в мыслях копался,
Он изрядно проголодался.
Вымыл лапки, нахмурил бровку,
Улыбнулся и... съел морковку!

Глава карантинная

– Я сегодня встретил странную барышню, – сказал Добби. – Она утверждала, что карантин – от слова «кара». Как будто наказание за что-то. Если честно – я не понял, за что именно.

– Видимо, она говорила о себе самой, – ответили мы. – Многие приличные слова начинаются с «кара». Например, карамель. Или карась, караван, каравай, каракули...

– Точно! Это же и про меня! Вы же меня называете карандашом, карапузом и каратистом – ну когда я брыкаюсь и не хочу надевать курточку! А когда мы в парке танцуем с подружкой Жужей карамболь или поем с друзьями в собачьем караоке? Не хотите ли вы сказать, что это наказание для окружающих?!

– Ни в коем случае! – улыбнулись мы. – Только пой потише, пожалуйста! И не забудь надеть маску!

Глава витаминная

– Как здорово, что один из витаминов назвали в честь меня! – улыбнулся Добби и завил хвостом.

– В каком смысле? – не поняли мы.

– Витамин D! Это же известно всем! – такса обиженно взглянула на нас.

– Мы не знали, прости, – извинились мы. – Мы думали, что витамины обозначаются в алфавитном порядке.

– Мда... Невежество – вот главная болезнь нашего времени... – вздохнул Добби. – Неужели вам неизвестно, что многие витамины названы в честь их важной биологической роли? Например, с витамином С связан фактор роста цыплят, поэтому он начинается на первую букву английского слова «chicken» – курица. Хотя все думают, что он назван в честь цитрусов, в которых очень много этого витамина. Или вот, к примеру, витамин F. В нем спрятано английское слово «fat», что означает «жир». Этот витамин – целый комплекс специальных жирных кислот, которые защищают нас от солнечных лучей, заживляют наши ранки, борются с морщинками и сохраняют молодость! А витамин D – это Добби. Это очень полезное вещество для здоровья и хорошего настроения! И в отличие от других витаминов, его можно принимать в неограниченных количествах.

– До еды или после? – ничуть не пошутили мы.

– Если еда вкусная, то вместе! – уверенно заявил Добби. – А еще помните, что витамин Добби прекрасно сочетается с витаминами С – солнце, смех, свежий воздух, сосиска, М – море, мороженое, мячик, У – улыбка, удовольствие, угощение, О – обнимашки, оладушки, одуванчики и обязательно с витамином Л – любовь.

Добби понюхал витамин О и побежал за витамином М, вдыхая своим черным пятчком витамин С. В этот момент он сам превратился с витамин Л. Все-таки он очень полезный, наш Добби!

Глава нараспашку

Хочется жить нараспашку.
Окно распахнуть, чтобы ветер
Трепал занавески и кудри,
Путал бумаги и мысли.

Дверь распахнуть, чтобы люди –
Те, кого ждешь долго-долго,
Сели за стол или в кресла,
Ели, смеялись, шумели.

Чтоб, распахнувши объятия,
Будто бы крылья расправив,
К сердцу прижать всех любимых,
Нежностью крепко укутав.

Добби внимательно слушал,
Мокнул, бредя через лужи:
«Ты распахни пока зонтик!
Он нараспашку нам нужен!»

Глава пододеяльная

– Воскресенье! Воскресенье же! – радостно зазвенел будильник-Добби.

– Нас нет дома, оставьте свое сообщение при себе! – ответило одеяло моим голосом.

– Имейте совесть! – не унимался будильник. – Пока вы спали, я не успел отправить свое имя на Марс. А ведь все приличные люди это сделали!

– Имей сострадание! Там холодно, давай дождемся весны!
– Зачем же откладывать на завтра то, от чего можно быть счастливым сегодня? – удивился Добби. – Иногда для этого нужна всего лишь теплая одежда. Я готов!
– И немножко шерсти, – вздохнуло одеяло. – И чашечка кофе. И вовремя проснуться...
Когда в доме есть мотиватор – шансы стать счастливыми увеличиваются вдвое. Хорошо, что у нас есть Добби!

Глава собачья

люди почему-то думают, что собаки ни о чем не думают,
кроме прогулки с хозяином, теплой лежанке и мясе вяленом.
кроме блохи, что обмоталась их хвостом,
в общем, мысли только о чем-то простом.

собак это обижают до дрожи век,
когда их недооценивает человек.

собаки поутру читают свежую прессу.
вынюхивают по запаху собачьих духов породистую принцессу.
думают о судьбе животного мира, о том,
что не всегда удобна для хозяев квартира –
ей бы побольше ветра и дерево в центре комнаты посадить.
тогда будет легче дышать и свободнее жить.

а летом можно махнуть в горы, поле и лес –
ловить божьих коровок, будто в лапы вселился бес,
пить с кошками коктейль из родниковой воды,
обсудить городскую моду и еще кучу ерунды.

сочинить балладу и спеть на луну,
испытать на ранах целебную слюну
и хранить секреты весь собачий век
о том, что не догадывается человек...

Глава важная

– Эта осень подарила мне важную мысль, – сказал Добби и отхлебнул бульон из чашки. – Все мы ищем друг друга: как Маленький Принц – Лиса, а Лис – Маленького Принца. Мне повезло, я встретил своего Друга. По возрасту он щенок породы человек, а имя его – Лев. Здорово, да?

– Здорово, – согласилась я.

– Мы играли с ним в прятки, обнимались всеми лапами и, кажется, приручили друг друга навсегда.

– Ты скучаешь по нему?

– Очень... – вздохнул Добби. – Но я всегда помню о нем. И, закрыв глаза, представляю, что он снова спрятался. Ведь самого главного глазами не увидишь. Зорко лишь сердце...

Глава главная

– Как ты думаешь: все не напрасно?
Все, что было смешно и ужасно,
Что пугало нас и веселило –
Для чего с нами все это было?

– Я уверена, что не напрасно.
Дорожить научила опасность,
Смехом мы зашивали уныние,
Становились родней и единее.
Иногда мы зовем это «опыт»...
– Знаешь, что означает мой топот? –
Лапой топнула такса ушастая. –
Я готов продолжать ненапрасное!



Поэзия

- 164 Тина Арсеньева**
Святочное: прямая трансляция
- 171 Инна Квасивка**
Не тревожь
- 175 Наталья Королева**
Я учусь любить людей
- 180 Анна Стреминская**
Вот моря Черного полоска
- 185 Елена Палашек**
Мне много зим, но мало лет

Тина Арсеньева

Святочное: прямая трансляция

1.

Умаясь, припало небо к мостовой,
Накрывая город мокрым лобызаньем,
И, сия осовелыми глазами,
В зев небес втянулась трасса по кривой.

Удаляется по вырубкам декабрь –
Стылой ризницы замызганный блюстититель,
Ходит маятником стрелка-очиститель,
И тарашится такси зеркальный карп.

Взяв разбег вдоль пенной кромки, бур и пег,
Парк застопорен гипнозом светофора.
Не белы снега на север от Босфора –
Может, где-то над Ла-Маншем мокрый снег.

Может, где-то над Ла-Манчей синий скол
Проясняет книжной залежи старанья,
Чуда каждого среди всякого собранья
Воплотив новозаветный протокол.

В парке тлеющую залежь вороша,
В хриплых выкриках вороньего хурала
Над землей, которой я не выбирала,
Тшущь расслышать, где живет моя душа.

Ей-то знамо, что и я не навсегда
Поселилась на развалке суматошной,
Где, незримая, за облачную толщей
Дождалась-таки сочельника звезда.

И, как вдоль потухших бакенов баркас,
В крен ложась, Земля вслепую и с одышкой
Входит в гавань, где заварят звездной вспышкой
Мироздания расшатанный каркас.

2.

Снега и зимы нынче порознь –
Добро бы так от сей поры:
Не помнящая снега поросль
Зимой не ведает хандры.

Не станут воды белым ложем,
Но пусть надышится дитя
Арбузным запахом погожим,
Вдоль вод на роликах летя.

Когда бы так! Когда б сиренам
Не взныть из белой пелены,
Открыв бодрящимся сиреням
Подвох довременной весны.

Она же, уличной панелью
Процокав, станет на учет,
Как только белою шрапнелью
Обрывы небо иссечет.

Дорогу приравняет к бедству
Над белой згой кромешный вран,
И будет как тоска по детству
Тот возмутительный буран.

Как для проветриванья хутро,
На мир напаян снегопад:
Любое мыслимое утро
Его истратит невпопад.

Тогда тоски ослабнут клещи,
Как вихрь слабеет, снег клубя,
И обречем простые вещи
Взамен утраченных себя:

Шоссе, посыпанное солью,
Снежком припудренный товар
И ревунов зубною болью
В ночи истерзанный бульвар;

Оледенелую оснастку
На водах цвета синяка
И склоны, беленные наспех,
И бренного снеговика.

И заговорщицки сигналить
Начнут в тумане маяки,
Что эта временная наледь –
Эдему Юга вопреки,

Но и ему не сыщешь средства,
Чтоб оставался навсегда,
Лишь вождельнем бусин детства
Морочит нас его звезда.

3.

Уже не привыкать, что шлейф преданий
В прорехах, как планетный слой озона,
А святочных катаний и гаданий
До катастрофы ровно два сезона.

Зима! Крестьянин, соразмерным суткам
Вручая весей смирную отраду,
Взбодрит их перваком и первопутком,
Взамен труда снизить на автостраду.

Не малевать усищи жженой пробкой,
Не вопрошать свечи зрачок зеркальный –
Съезжаем. Над фамильною коробкой
Стоит эпоха с описью фискальной.

В другом саду другим уже качелям
Сиротство в перешептываньях ливня,
И снова разводить огонь кочевьям
В охвате неопознанного лимба,

Не зная ни пути, ни сколь он долог,
Ни тех, кто впал в крушение круженья, –
Ведь всяк из нас, как зеркала осколок,
Что слепнет, изгоняя отраженья.

Огромный город, вечера, стынет
И затихает, как мотор в кювете;
Над ним звезда, космата, как пустынный,
Вопит о неисполненном завете.

4.

Зимний сумрак бьется над загадками
На полузабытом языке,
Наследив хохочущими галками
У заката в розовой строке.

Словно с благоглупостями школьными
Обрывая милое родство,
Город, отмерцавший колокольнями,
Повернул рубильник делово.

И, в трезвенье света многократного,
Благодарен будь, идя к столу,
Коль с упорством нищего привратного
Прошлое не тянет за полу,

Опыт же течет, подобно олову,
В брешь, туда, где первая твоя
Память замирает, вскинув голову
Ко вратам загадки бытия.

Как ее спясть, самозабвенную,
С жизнью, чтобы с чистого листа
Шифровала тайну сокровенную
Городских потемок суета,

И, чураясь, будто места лобного,
Подиумов блеска на миру,
Чья-то юность, Сетью не уловлена,
Зазывала б к дальнему костру,

Что гудит, как зори меж рогатками
Оголенных зазимком ветвей
Там, где юный сумрак над загадками
Бьется в грозном рокоте кровей.

5.

Вчерашних елок обмороки в блестках,
И, в пасмурном рассеянье лучей,
Так золоты на людных перекрестках
Барочные витушки калачей!

На паровозе пестрая попона,
И маги в преклонении колен
В парче и в бородах из синттепона
Въезжают в диснейлендовый Белен*.

* Белен - Вифлеем.

Стройны жирафы, а слоны дебелы,
Сам черт в жонглерах прислужиться рад,
Постромки обрывают львы Кибелы**,
И лупит в толпы карамельный град.

Но стрелка по дисплею засновала,
И в вороха бенгальского огня
Зарылось ликование карнавала,
В котором нет – о Боже, нет! – меня.

А в наши тьмы на святочном верблюде
Не въедет мавританская княжна.
Смиренна ночь, деibel калач на блюде,
Узвар горяч, – какого бы рожна?..

Не ветхих ли материй подоплека?
Не сед ли вихрь, воздвигший дол стоймя?..
И не душа ль к там-далекó-далёко
Постромки рвет, из тела бег стремя?

6.

На базаре, как на карнавале,
Мишура, румяна и белила.
Вот уже зима на перевале,
Только б, нисходя, не насолила, –

Пусть сорит: сквозь святочные толпы
Море смятой кажется фольгою;
И теплынь – глядишь, январский тополь,
С толку сбитый, выбренчит серьгою.

А у маяка потеют линзы,
В пар вперясь, где солнца ли попытка,
Или рынок в небо кругом брынзы
Запустил в восторге преизбытка.

** Фонтан Кибелы в Мадриде.

Южных зим семь пятниц на неделе
В проясневшем спутались зените
Ворохами облачной кудели,
Чтобы спрялись водяные нити,

Чтобы выткать скрытные туманы,
Чтоб курились волны у причала,
Да чтоб, прикурив, на нем романы
Закрутить вразнос – как жизнь с начала!

И на кураже Эвксинска Понта
Век беря на взвод донельзя туго,
Сводки только б с облачного фронта
Слушать в треволнении испуга.



Инна Квасивка

Не тревожь

Пуповина

Я тебя – возлюбленного прежнего –
искупила чревом навсегда.
Вот кораблик губ твоих, и режутся
зубы – что ракушки. И вода
тоненьких волос течет размеренно
по твоей песочной голове.
Я тебе тогдашнему поверила,
каждой мышцей веры отболев.
Нынче я у ног твоих младенческих,
ты опять у сердца моего –
пуповиной намертво обвенчаны
и омыты первым молоком.
С карусельных рук сползая, вертишься
и жуешь губами «ма-ма-ма...»
обреченный мной же на бессмертие
в той, кто нас не делит пополам.

Колокола

Не тревожь, звонарь, колокола.
Бьет огонь во все края, но вовсе
не его священная зола
делает из нас седоволосых.

Пусть мы – одомашненная дичь,
заживо проглоченная печью, –
не она терзает нас, почти
обращая на черносердечных.
Отбели, пастух, своих овец.
Обели прикормленного волка –
чрево есть начало и конец
в колокольне ребер пустозвонких.
Мы сгорим, и ляжет на алтарь
под хозяйской ласковой ладонью
агнец опороченный.
Звонарь
медью душ звериных затрезвонит.

* * *

Как бы слабо сердце ни стучало –
это (вопреки первопричине)
не конец и даже не начало
твоего пути, пока не кинут
на спину последний вьюк.
Ручаюсь –
лучше быть верблюдом,
чем пустыней,
корольком под крыльями орла,
нежели раздетой догола
взятой и униженной вершиной.

Долготерпящая

«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует,
любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде,
а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется...»

(1Кор. 13:5-7)

...но когда во мне умирает Бог –
я по меркам Бога живого – гроб
окрашенный.
От лукавой веры тщеславолюсь «гоп!» –
не умея прыгать, роняю лоб
на таких же ряженных.

Та, которой должно не мыслить зла,
бабочку ладони вдруг загнала
в кулак навечно.
Сбился комом в горле сынок, о ком
мать сбывалась памятью над венком
в черный вечер.

* * *

В хату бабы Верочки лезет сук,
среди пышных веточек гол и сук
сыночка.
Отчего ты, бабушка, плачешь в тишь,
что к мальчонке бабочкой прилетишь?

Ночка ниточкой
проскользнула в форточку, что в иглу –

мрачной гладью вышита тьма в углу,
шутка ли?
Ты, седая детка, в тени угла,
где портреты метит смерть, не гуляй
сутками.

* * *

Долготерпящая, еще терпи!
Безнадежна ты, и твой лик тернист
от безверия.
Ты во мне, любовь, – сухостой в степи,
по ночам скулит на твоей цепи
мертвый зверем.

Я
так прошусь на небо затем, что там
не приносят матери сыновьям
скорбь в соцветиях;
ни целованных, ни разбитых лбов –
лишь покой садов и Его любовь
в каждой ветви их.



Наталья Королева

Я учусь любить людей

Маме

Каждой клеточкой каждую клеточку
Я люблю и дыханьем делюсь;
И морщин твоих нежную сеточку
Обцелую, разгладивши грусть.

Каждый камешек, каждую веточку
Обниму, отопрею, спасу;
В твоем шарфике с теплой береточкой
я тебя до небес донесу.

* * *

Разбился ангел из фарфора.
Он был с заклеенным крылом.
Он не был мне во всем опорой.
Таких сдают всегда на слом.

Слетел с высокого простора
Ко мне изломанным гонцом.
И стал кусочками фарфора,
Ветрам подставивши лицо.

Как доблестно пестрят осколки,
В миру – зияющий разлом.

Летит мой ангел с книжной полки,
Он был с поломанным крылом.

* * *

Я учусь любить людей –
всех людей без исключения –
без запинки, без затей.
Нет, не ради отвлеченья
от сухих недобрых дел;
нет, не в громком обличенье
всех, ведущих на расстрел
иль ведомых к возвышенью.

Всех, кто помнит, кто забыл
тех, кто был мне очень дорог,
а потом, предав, убил
иль остался у задворок,
промолчавши за меня...

Я смотрю вслед уходящим,
а оставшихся грызня –
умалется звенящим
майским громом, что, бузя,
вдруг раздастся синим ливнем.
А иначе ведь нельзя...

И весенним шумом дивным
вдохновляется земля,
и смолкают наши споры.
Что ж, вдохну тогда я,
чтобы быть с весною впору.
Просто взять и полюбить –
не за чуткий взор ваш дивный;
Чтобы мир благословить,
я люблю вслед синим ливням.

* * *

Опять, набравши скорости, летим
по чеховским сюжетам, будоража
нахмуренный седой февральский мир,
и часто фельетонно персонажим.

Отверженным быть проще, чем своим;
непонятым – талантливей и краше;
за серыми заборами таим,
что чайками металось так отважно.

Бесстрастный громче слышен приговор
отчаявшимся нашим Тузенбахам.
И честной речью услаждает вор,
и мыслью раболепствуем пред страхом.

* * *

Опять заносы на моем пути;
но я теперь совсем не против снега –
я против темных окон впереди,
сметающих остатки человека.

И так морозом город мой пленен,
что свет окон – и тот скрывает,
во тьме лишь треск и дальний звон,
и сердце мое чутко замирает.

Но ветер стих, светлеет небосклон
и мотыльками звезд метелит,
и бабочкой лучится Орион,
и хрупкий месяц гондольерит.

Из всех людей, живущих на земле,
пусть он наделит тех своим сияньем,

кто ждет идущих в ледящей мгле,
кто окна освещает ожиданьем.

Вечно живым

Современникам – театру и людям

Там, где кончаются апрели,
на косогоре лес, потом – обрыв.
Уходят те, в кого так верил,
уходят, раны мира подлечив.

Я вслед декабрьскими ночами
бегу за современником моим.
В тот темный лес упрусь плечами,
от пропасти любимых заслонив.

Сейчас везде: в обрыве, над обрывом,
за веком в даль, где вьется звездный путь,
мой современник легкокрылый –
дыханье мира, его свет и суть.

* * *

Я не умею рисовать –
умею делать хлеб и каши,
умею злиться и молчать
вслед песням лицемерным вашим.

Известны мне и визг, и стон,
и жалких чисел звонкий лепет;
сквозь шум идущих на поклон
и буквы ложь, и слова трепет.

Я не умею рисовать,
но кистями воображенья
могу румяный хлеб спасать
от зачерствевших песнопений.

Дедушке

Георгию Федоровичу Тихомирову

Уйти б отсюда и очнуться в сорок третьем,
прийти на помощь дедушке в тот миг,
когда, накрыв рубеж, в него стрелять наметил
прямой наводкой черный мессершмитт.

В промозглом блиндаже на карауле
письмо последнее он отдал патрулю.
«Я все еще живу. Обняв, скажи Натале.
Мои родные, я вас так люблю!»

Уйти б в иную параллель, в иные смыслы,
где канонады музыка слышна.
В календаре над артрасчетом рвутся числа
в надорванные горем времена.

Отбросив ужас, в беспощадной рукопашной
я поняла б, что все еще живу.
Прикрывши деда, закричала б, что и мне не страшно:
«Живи, родной, я так тебя люблю!»



Анна Стреминская

Вот моря Черного полоска

* * *

Первое слово ее было «мама»,
последнее слово ее было «плохо».
Между «мама» и «плохо» употребляла
множество слов вплоть до «ахов» и «охов».
Среди них были «кукла Лариса»,
«революция», «туфли из парусины»,
«Рабфак», «кондуктриса»,
«заплатите, мужчина!»
Были слова о любви и предательстве,
слова о голоде, страшные, как удар под дых.
Слова о замужестве, он называл ее «Ваше сиятельство» –
слова счастливые согревали жизнь молодых.
После «война», «бомбежка», «эвакуация»
налетели как черные птицы, и нет спасенья от них!
Следом за ними «гибель», «вдова», «ассигнации»,
«паек», «подросшие дети», «Победы миг».
И чем сильнее удар волны, тем больше камешков
остаётся на берегу. Слова – это камни морские
между «мама» и «плохо» – и будь их хоть сто мешков –
все равно поглотит их невидимая стихия.

* * *

Трамвай трясется, как повозка
с упряжкой лошадей усталых.
Вот моря Черного полоска
в окне дрожит с закатом алым.

И вспенила весна деревья,
повсюду розовое с белым.
И дева древнего поверья
заходит по-цыгански смело.

В вагон трясущийся заходит
она Кипридою из пены
да песню горькую заводит
о жизни и любви нетленной.

Почище древнего рапсода
она поет, гармонь терзая.
Вагон ей внемлет и природа:
закат, деревья, птичья стая.

Народ, истерзанный ковидом,
в чаду больного маскарада
на миг любовного повидла
отведает, что той отрады.

Поет цыганка, что довольно
любви, зрачками абиссиня,
что жить невыносимо больно,
невыносимо...

* * *

Благодарю, о Господь,
За океан и за сушу.

М. Цветаева

Во мне с недавних пор живет Эллада.
И я плыву на корабле «Эолос»
куда-то вдаль и приплываю к саду
цветущему, и слышу слово «Логос».
Здесь Логос надо всем царит начальный:
над мифами, над музами, богами,

над Сциллой и Харибдой, над печальной
Пандорой, над роскошными садами.
Источник всех наук, искусств, ремесел –
царит он над Олимпом и Парнасом.
Слышны там скрип уключин, всплески весел,
и Одиссей чарует всех рассказом.
На благодатной почве христианство
так проросло, что колосится нивой.
Возле Афона – аромат пространства,
и море пахнет медом. Быть счастливой
ведь так легко – лишь не терять свою Элладу,
ее покой и солнце, скалы, море,
монастыри в горах, воды прохладу
и полные величья Метеоры.
Течет оливковое масло света,
и олеандров цвет пронзает душу.
Евхаристò*, Господь, за землю эту,
евхаристò за море и за сушу!

* * *

По планете летают листья.
Полпланеты в огне осеннем.
И мистичнее всех мистик
этот праздник самосожженья!

Листья скомканными стихами
по планете летают древней.
И сгорающими словами
достигают углов вселенной.

Итальянские листья, французские,
португальские и австрийские
перемешаны с листьями русскими,
украинскими и грузинскими.

* Спасибо (греч.).

Вне политики, мимо распрей
флаги радужные несутся.
Шелестят они миру «Здравствуй!»
и летят мимо всех революций.

Сам Господь отрывает листья,
и летят они над Землею.
Бог – художник с легкою кистью
и поэт, что не знает покоя.

* * *

Как бы хотелось быть снова чистой тетрадью,
чтобы на снежных листах следов – лишь малость.
Чтобы душа стелилась бы белой гладью,
и прописями красивыми жизнь казалась.

И лишь каллиграфия птичьих следов тянулась,
и облака на листах моих отражались –
легкое небо над сетью беззубых улиц.
Боже, какой бы ясной мне жизнь казалась!

Но на страницах моих кровь и грязь зачем-то
с чистым снегом так грубо перемешались.
В волосы неба – закат заползает лентой.
Что на душе? – боль и страх, сожаленья, жалость...

Да утрат постоянных горькое ожерелье,
четки тоски, одиночества злой напиток.
Но надо всем – молитва звучит свирелью.
Божьего Слова парит белоснежный свиток.

* * *

Дело муравья – нести соломинки, палочки, прочий
строительный сор,
чтобы строить свой дом – не пришли чтоб разбойник иль вор,

не украли бы яйца, детей и имущество муравья.
Дом должен быть крепок – старается он не зря.

Тащи, муравей, букашек и крошки в свои закрома,
покуда ковид иль чума тебя не свели с ума.
Покуда огонь не съел твой шумящий лес,
тебя Бог не выдаст, и дикий кабан не съест.

Покуда шальная вода не вышла из берегов,
сделай крепкую дверь, запирай ее на засов.
И пока не пришел чужой кирзовый сапог,
и не снес твой дом – защищай, помоги тебе Бог!

Рассади детей на скамейке возле окна
и читай им сказки без грязного слова «война».
А убежище для муравья – это целый лес.
Сохрани тебя Бог, покуда ты не исчез!

* * *

Музыка твоего имени звучит в моей голове...
С музыкой твоего имени я иду по траве,
я иду по асфальту, а рядом поток машин.
Имя твое я слышу в хаосе лиц и спин.

Имя твое – колокольный звон и чуть-чуть свирель
на фоне быта, зимы промозглой, где плесень, прель.
Имя твое излучает свет и тепло,
когда между нами зимы ледяное стекло.

Твои поцелуи меня согреют на множество зим вперед –
даже когда состарятся мои щеки, глаза и рот.
Музыка твоего имени будет звучать во мне
в буднях тяжелых и в зыбком счастливом сне.

Елена Палашек

Мне много зим, но мало лет

Твердое море

Ах ты твердое, черное море,
разбивается тело о волны.
Я раскиснуть себе не позволю
ни взаправду и ни притворно.
Не гребу, отгребаю холод.
 Берег дальше, чем мне хотелось.
 Бабыим летом согретый город
превращается в окаменелость.
Волнорез затянул побережье.
Пояс жизни – моллюскам раздолье.
За него заплывала и прежде
пропитаться геройством, как солью.
Осень. Смысл в безоглядном просторе.
 Мне раздолья в сезон не хватало.
 Разбиваюсь о волны устало.
Ах ты твердое, черное море.

* * *

Вечер печеным мясом долго томится в духовке.
Кошка гостей не любит, просто лежит у двёри.
Лоб на стекло, поближе к белой татуировке:
вдруг да во тьме увижу, да и глазам поверю.
Мысли секунды ловят, хочется выть неустанно:
– Как я вранье ненавижу и молчаливый зуммер.

Может, другую встретил и не пришел.
Гуманно
тут не о худшем думать.
Может, ты просто умер?

Море под окном

Люблю смотреть на зиму из окна.
Прибило к берегу прибрежного дракона.
Он спину выгнул. Там, где глубина
чешуйки белой кожи. У понтона
страшает чаек колкая вода.
Загадка для меня, что те не мерзнут.
У горизонта черточки – суда.
«Вид из окна достоин томной прозы», –
мне некто ломким голосом шепнул.
Помпонят воробьи на белых шапках
деревьев – это ветер взял отгул.
«Пойдем гулять с тобой в прибрежном парке», –
мне некто снова шепчет, приобняв.
Я дую на окно, улыбку пряча.
А мой дракон к весне стремится вплавь,
хотя доплыть пока что сверхзадача.

МЫ КВИТЫ

Сочатся облака, как майский мед,
и звезды липнут к небу, как магниты:
у неба металлический налет.
Мы квиты.
Я не спрошу, не получу ответ.
Обиды все давно уже забыты.
Мне много зим, но очень мало лет.
Мы квиты.
Магнит ослаб – и мучит звездопад.

Желания похожи на молитвы.
Никто из нас уже не виноват.
Мы квиты.

* * *

Если просто читаю запойно с утра Пастернака,
козерог через месяцы скачет и скачет в январь,
день в постели валяется старой ленивой собакой,
и решает судьбу талисман – отрывной календарь.
Если знаки судьбы обнаружат, что годы на свалке,
а любовь упирается в косноязычие фраз,
загоняю себя в катакомбы души, словно сталкер,
и иду обреченно спасать непонятливых нас.
Если делаю шаг и встречаюсь уже с новым веком
(для поэта вакансию, Боже, в раю сохрани),
понимаю, что мы далеки от ошибок ацтеков,
но, увы, мы все ближе к богам первобытной резни.

Улыбка коровы

Вдруг да коровы, да в небо упрутся рогами,
тут же на шею повесят им колокола.
Звон колокольчиков – плоть с язычками-грехами,
слушаю я, отмечтав, отлюбив как смогла.
Вдруг да словами, похожими на разнотравье,
боль отгоняю, как муху с коровы в хлеву,
мне помогает улыбка ее. Нет, не вправе
не дописать, не наполнить цветами главу:
нежностью, пылкостью, грустью, животной обидой.
В новой главе будут лето, быки и герой
где-то в Испании между судьбой и корридой –
где на рога натывается свод голубой.
В новой главе, вспоминая улыбку коровы,
буду жалеть, ведь убили красавца-быка.
Бродят в лугах сытных парнокопытные вдовы,

чтобы хватило для ванны моей молока.
Лягу в нее и усну, и проснусь, ой, с героем,
чтоб зацелованной быть всю главу напролет –
между Одессой и степью тexasской – ковбоем.
Странно, рога не вонзаются вновь в небосвод.



Первые шаги

190 Михаил Пригожев:
«Я был бы рад...»

Михаил Пригожев: «Я был бы рад...»

Так начинается одно из стихотворений одесского десятиклассника. Мы приведем его ниже, и вы, уверен, удивитесь смыслу и тону его чувств и желаний.

Сначала поразился и я, получив несколько страниц с текстами, никак не совпадающими с моими представлениями о сегодняшней юношеской поэзии. Более того, по первому прочтению собирался не только отложить их в сторону, но и не вступать с автором в переписку – редакторы имеют такое право...

Но все же... Те, которые давным-давно – в одесской молодежной газете, обучали нас журналистике, твердили: «За каждым письмом – человек!». И молодые, но состоявшиеся в скором будущем – выдающиеся поэты Юрий Михайлик, Борис Нечерда, я, тогда писавший рассказы, ворчали, но отвечали на обильную почту, приходящую в газету. Со временем, пусть и не сразу, я ощутил правоту и справедливость заветов наставников.

В нашем альманахе есть традиция: мы не рассматриваем предлагаемые («самотеком») материалы до тех пор, пока не выйдет в свет номер, над которым мы работаем. И вот уже отпечатан 87 выпуск, мы приступили к формированию следующего. Тут-то я перечитал стихи Михаила Пригожева. Признаюсь, обычно всю поэзию в альманахе ведет Е.М. Голубовский, но поскольку автор сопроводил свою подборку доверительным письмом ко мне, решил ему ответить и, более того, ставлю в номер три его стихотворения.

Ответ короткий: «Продолжайте жить в поэзии, работайте и старайтесь быть не только откровенным и сокровенным, но и осознать, что профессиональное стихотворчество, да еще ставшее достоянием чита-

телей, не только тешит вашу чувствительную душу, но порой жестоко ее берedit».

Если, разумеется, кратко говорить о форме, о манере, то я увидел в десятке его рифмованных откровений то, что древние называли лaмeнтацией! Загляните в Википедию, но если коротко – то плач, жалобы и сетования, но и обличения, звучащие в творчестве античных поэтов. И великих могучих победительных гениев, создавших образы романтических страдающих героев, находившихся в конфликте с жестоким миром. Назову лишь двоих. Гёте, пустившего в жизнь страдающего юного Вертера. Пушкина, чей поэтический брат Ленский «...пел поблекшей жизни цвет».

Уверен, стихи Михаила удивят многих, и иные сочтут их вычурными, а может быть, и позой. Другие увидят в них брожение токов молодой души и вариации сознания интеллигентного юноши со всеми – да простят меня его пишущие сверстники – комплексами и смутными ожиданиями, не всегда сбывающимися.

И все же отыскал я в подборке, присланной мне, и строки, которые если не от Пушкина, то от Дениса Давыдова – вполне романс молодого гусара, разумеется, под гитару, на Бородинском редуте. Его вполне можно спеть и Мише с друзьями под Новый год, когда мы ставим его стихи в номер:

...Не позабудется мечтателю – любимцу муз лихому –
Дух старины седой, давно померкшие лета...

Мы публикуем стихи Пригожева под рубрикой «Первые шаги» и ждем от него вторых и третьих.

Феликс Кохрихт

* * *

Я был бы рад, я был бы счастлив.
Уж если бы идея резвая, искрью напроказив,
Сыскала дремоту в чернильном строк плеянье
И словом охладела на бумаге в ее негромком любованье.

* * *

Не позабудется мечтателю – любимцу муз лихому –
Дух старины седой, давно померкшие лета.
Не охладиться в сердце грусти по былому.
Тоски по дням, во мрак ушедшим без следа.
Не позабудутся навеки те мгновенья,
Когда порывы жизни рвутся из груди;
Не кануть в бездну пыли отрешенья
Тем вспышкам, молниям померкнувших страстей.
В глубокой осени буяющую пору;
Чрез мрак и пелерину тяжких туч,
Как нежный поцелуй натомленному взору,
Порой пробьется золоченый неба луч.
...Когда сквозь годы поминанье взблещет
И образ милый тотчас оживит,
В душе вдруг что-то вздрогнет, затрепещет;
И сердце вновь взволновано стучит...

* * *

...И будет жизнь обузой брэнной
Для того уродца, что-с
Для красоты сияющей, нетленной
Душонкой так и не дорос!
Он будет тяжбиться впустую
Среди минут, часов и дней,
Пока не заколотят крышку гробовую
И он не канет в мир теней...
На зеленеющем пригорке
Под сенью липовых аллей
Ромашки дикие буяют на надгробке –
Шутливо-траурный привет полей...



Искусство – жизнь – искусство

- 194 Евгений Деменок**
Валентина Маркаде
- 207 Ольга Танган**
Жена художника
- 222 Екатерина Пименова**
Одесские коллекции. Семен Верник
- 227 Алена Яворская**
«О, граждане воры...»
- 236 Евгений Деменок**
«Вот это настоящее, брат Мюллер!»
- 249 Леонид Нейман**
Амазонка еврейского авангарда
- 267 Феликс Кохрихт**
Степан Рябенко: прогулки с облаком
- 272 Алексей Овчинников**
Почему в XXI веке так скучно смотреть кино?

Евгений Деменок

Валентина Маркаде

Французский искусствовед и литератор родом из Одессы

В том, что Одесса – кладезь талантов, не нужно убеждать никого. И все же каждый раз, открывая для себя новое имя, я не перестаю удивляться. И какое же это наслаждение – шаг за шагом открывать для себя детали биографий тех, кто уехал из города, добился признания и успеха, но до сих пор неизвестен на родине, и возвращать их Одессе!

В 1990 году в издательстве «L'Âge d'Homme» в Лозанне вышла книга «Art d'Ukraine» – первая в Европе книга об украинском искусстве. Ее автором была Валентина Дмитриевна Маркаде, в девичестве Васютинская. Доктор искусствоведения (докторскую диссертацию она защитила в Сорбонне в 1981 году), почетный доктор Колумбийского университета, автор многочисленных статей, посвященных русским и украинским художникам (Малевичу, Ермилову, Андреенко-Нечитайло и другим), и целого ряда монографий, вышедших в Париже, Кельне, Лозанне; переводчик – благодаря ей на французский переведены «Полутораглазый стрелец» Бенедикта Лившица, либретто к футуристической опере «Победа над солнцем»... А еще прозаик, многолетняя приятельница Тэффи и целого ряда известнейших людей, среди которых Нина Берберова, Магдалина Лосская, скульптор (тоже одессит) Александр Головин и его жена, поэт «Пражского скита» Алла Головина...

Но самое главное для нас – одесситка.

«Она всегда, до самой смерти, была очень живой, жадной до жизни», – вспоминает ее муж, французский писатель и исследователь Жан-Клод Маркаде.

Типичная для одессита черта.

После выхода в 2019 году в киевском издательстве «Родовід» книги «Рыцарь. Дама. Авангард», представляющей собой разговор Валентины Клименко с Жаном-Клодом Маркаде, мужем Валентины Дмитриевны, мы узнали о ней гораздо больше. А совсем недавно Жан-Клод передал мне практически весь ее архив с просьбой подарить его Одесскому литературному музею, а ту часть, которая касается учебы в Русской гимназии в чехословацкой Моравска-Тршебове, передать в пражский Мемориал национальной письменности (*Památník národního písemnictví*). В архиве – семейные документы и фотографии (семьи Васютинских и Корбе – это девичья фамилия матери – жили неподалеку от Одессы более ста лет), обширная переписка, в которой особо выделяются письма от ее гимназического преподавателя Владимира Владимировича Перемиловского, семьи Штейгеров (в первую очередь от подруги по гимназии Аллы Головиной), Тэффи, Юрия Шевелева, Вадима Павловского (пасынка художника Василия Кричевского), Женевьевы Нуай-Руо (дочери художника Жоржа Руо), Люси Маневич (дочери художника Абрама Маневича), Никиты Лобанова-Ростовского, искусствоведа Евгения Ковтуна, Валерии Чюрленте-Каружене... Рабочие материалы, переводы и черновики к статьям и книгам. А главное – рукописи неопубликованной прозы и поэзии.

Теперь биографию Валентины Васютинской-Маркаде можно изучить гораздо глубже. Этот очерк – первое приближение, первая попытка краткого описания.

Валя Васютинская родилась 22 сентября (5 октября) 1910 года в Одессе в зажиточной дворянской семье. Ее отец Дмитрий Степанович Васютинский (1875-1934) родился 20 сентября 1875 года в селе Карловка Ананьевского уезда Херсонской губернии. В Государственном архиве Одесской области, в фондах Новороссийского университета, есть запись о поступлении его в августе 1894 года на физико-математический факультет, отделение математических наук. Указано, что он был дворянином православного вероисповедания, окончил Ришельевскую гимназию.

Род Васютинских в Ананьеве был хорошо известен. В списках должностных лиц Ананьева и Ананьевского уезда числятся

земские начальники Дмитрий Степанович Васютинский, Василий Афанасьевич Васютинский; Афанасий Павлович был губернским секретарем. Среди землевладельцев Ананьевского уезда на 1912 год числятся поручик Степан Павлович Васютинский, потомственный почетный гражданин Николай Степанович Васютинский; Дмитрий Степанович Васютинский владел земельными наделами в Бакшале Головлевской волости и Викторовке Головлевской волости.

Удивительно, но Дмитрий Степанович обожал петь, поэтому с годами практически все свое время посвящал этому занятию. Он стал оперным тенором и выступал под псевдонимом Курагин.

Не менее известным был род матери, Евгении Антоновны Корбе (1875-1953). Еще в начале XIX века Василий Корбе выкупил село Грушевка – сейчас оно находится в Первомайском районе Николаевской области. Живший в Херсонской губернии род Корбе достаточно хорошо описан и прослеживается с начала XVIII века. У Антона Васильевича Корбе, бабушки Валентины Дмитриевны по материнской линии, было восемь детей – трое сыновей и пять дочерей, Евгения Антоновна – одна из них. В 1903 году она числится в списках студентов Новороссийского университета.

Васютинские много путешествовали – в семейном архиве есть множество фотографий из Италии. Жан-Клод Маркаде рассказывал о том, что несколько детских лет Валя провела в Италии и всю жизнь обожала эту страну.

Удалось установить адрес, по которому жила в Одессе семья Васютинских. Среди переданных мне Жаном-Клодом писем оказалось датированное сентябрем 1969 года письмо из Одессы от школьной подруги Валентины, Лили Премыслер. Из него следует, что до эмиграции Васютинские жили на улице Елисаветинской в доме номер 21.

Да-да, до эмиграции. Разумеется, люди такого происхождения симпатий к власти большевиков не испытывали. И в 1920 году (по некоторым сведениям, в 1918-м) Васютинские (родители, Валентина и ее старший брат Степан) покинули Одессу и сначала оказались в Софии. Несколько лет Валентина училась здесь в католической начальной школе. Вскоре семья перебирается в центр

русской эмиграции – Париж. Но девушке нужно было продолжать образование, и родители отправляют ее в Чехословакию, в знаменитую Русскую гимназию в городке Моравска-Тршебова. Валя Васютинская окончила гимназию в 1930 году, получив аттестат о среднем образовании. Скорее всего, выбор Чехословакии был обусловлен несколькими причинами. Во-первых, родители хотели, чтобы дочь получила образование на русском языке. Во-вторых, благодаря «Русской акции помощи» чехословацкого правительства и учеба, и проживание были совершенно бесплатными. А главное – компания преподавателей и учеников была совершенно блестящей. Валентина не успела пересечься с Ариадной Эфрон, но на всю жизнь сдружилась с детьми барона Сергея Эдуардовича Штейгера – Аллой, Лизой и Анатолием.

Переселившиеся в Россию швейцарцы Штейгеры – отдельная большая история. Сергей Эдуардович окончил одесскую Ришельевскую гимназию, затем Елисаветградское кавалерийское училище. В 1891-1901 годах состоял адъютантом при командующем войсками Одесского военного округа графе А.И. Мусине-Пушкине, позже стал предводителем дворянства Каневского уезда. В 1912 году был избран членом Государственной думы от Киевской губернии. После октябрьского переворота практически вся семья вернулась в Одессу, откуда в 1920 эвакуировалась в Константинополь – за исключением старшего сына, родившегося в Одессе Бориса Сергеевича, который под угрозой расстрела стал сотрудничать с ГПУ, позже работал в Наркомпросе и в 1937 году был расстрелян. Считается, что барона Майгеля в «Мастере и Маргарите» Булгаков писал именно с него.

Эмигрировавшим членам семьи повезло значительно больше. Проведя два тяжелых года в Константинополе, они в 1923 году приехали в Чехословакию. Сергей Эдуардович устроился заведующим библиотекой той самой Русской гимназии в Моравска-Тршебове; там же учились его дети. Алла, вышедшая замуж за еще одного одессита, скульптора Александра Головина, стала выдающимся поэтом, стихами которой восхищались Бунин, Цветаева и Адамович. Поэтом стал и Анатолий, чью обширную переписку с Мариной Цветаевой сохранила сестра.

Одним из близких друзей Валентины того периода был и поэт Герман Хохлов, о котором писал Варлам Шаламов.

Там же, в гимназии, Валентина Васютинская познакомилась еще с одним человеком, который окажет влияние на всю ее жизнь. Этим человеком был ее преподаватель, учитель русского языка и литературы Владимир Владимирович Перемиловский (1880-1966). Педагог, литературовед и переводчик, до приезда в 1925 году в Чехословакию он преподавал русскую литературу в Риге и Харбине. Перемиловский был близким другом Алексея Ремизова – тот даже посвятил ему легенду «О безумии Иродиадином, или Как на земле зародился вихрь». Он был членом Союза русских педагогов в Чехословакии, автором целого ряда статей о литературе и педагогике (среди них «Задачи и принципы школьного изучения русской словесности» («Русская школа за рубежом», Прага, 1929), книг и брошюр («Ожерелье жемчужное» (Харбин, 1923), «Пушкин» (Харбин, 1934-35), «Беседы о русской литературе» (Прага, 1934), «Лермонтов» (Харбин, Прага, 1941) и других). Они с Валентиной будут переписываться десятки лет, до самой смерти Перемиловского.

Окончив гимназию, Валентина Васютинская собиралась поступать в Карлов университет, но отец потребовал срочно ехать в Париж – у мамы был перитонит. Васютинские жили невероятно бедно, и Валентина, не имевшая французского паспорта, была вынуждена заниматься любой возможной работой. Она помогала посетителям кинозалов находить свои места, вышивала, паяла радиоприемники, была домработницей. И тем не менее 1930-е и 40-е были годами плодотворных встреч. Близкими ее друзьями были в то время перебравшиеся в Париж Алла и Сергей Головины, Анатолий Штейгер. Она сближается с Тэффи (мама Евгения Антоновна была у Тэффи *dame de compagnie*). Тэффи всячески поощряла литературное творчество Валентины Дмитриевны. В 1952 году Валентина написала рассказ «Блаженная», посвятив его «светлой памяти моего нежного друга, строгого судьи – единственной Надежды Александровны Тэффи». Тогда же написала она это стихотворение:

Эпитафия

Н.А. Тэффи

Ты не могла не знать,
Мой чуткий друг! –
Что связаны с тобой мы
Узами навеки;
Что дружбы вехи –
Сильней страстей и горячей огня!

В 131 номере парижского журнала «Возрождение» за 1962 год опубликована статья Валентины Дмитриевны «Надежда Александровна Тэффи. Из личных воспоминаний», которую сейчас цитируют все исследователи творчества Тэффи.

Именно на конец 1940-х и начало 1950-х приходится основной всплеск литературного, беллетристического творчества Валентины Васютинской. В папках, переданных мне Жаном-Клодом Маркаде, есть наброски сборника стихотворений «Сокровенное», отпечатанные на машинке сборники рассказов «Неизгладимые встречи» и «У чужих очагов», рассказ «Блаженная» и еще целый ряд черновиков. При жизни были опубликованы лишь повесть «Каменный ангел» (журнал «Возрождение», № 207, 1969) и рассказ «Блаженная» («Новое русское слово», Нью-Йорк, 1952).

После войны Валентина разводится с первым мужем Борисом Павловичем Алимовым, бывшим белогвардейским офицером, и переезжает к матери. Начинается новый этап в ее жизни.

В 1947-50 годах она учится в Школе восточных языков у доктора Пьера Паскаля, с успехом сдает выпускные экзамены и получает место ассистента преподавателя русского языка в Бордо. Она не оставляет мыслей о высшем образовании и в 1955-м оканчивает университет в Бордо, после чего переезжает обратно в Париж, где также преподает русский язык в различных гимназиях, а затем и в Школе восточных языков.

В Бордо, где у Валентины Васютинской было множество учеников, она встречает главного человека своей жизни – Жан-Клода Маркаде. История их романа напоминает историю романа

Эмманюэля и Брижит Макрон, с тем лишь отличием, что разница в возрасте у Маркаде составляла не двадцать четыре, а двадцать семь лет.

«В Бордо у нее был свой круг друзей, и я тоже с ней дружил, поэтому, бывало, ездил на море с ней и ее подружкой Свет (Люсьет Видаль), преподавателем французского языка, латыни и греческого. А когда Валентина Дмитриевна поехала в Париж, мы спланировали и решили на лето устроить такое «общежитие» в селе – нанять на троих маленькую ферму где-то в Центральной Франции и там отдыхать. Почему-то Свет не приехала, ферму еще ремонтировали – это была настоящая сельская конюшня, так что мы с Лялей жили в отеле. Я был страшно в нее влюблен. И она как славянская женщина, невзирая на молву и сплетни, которые могли о нас распускать, пошла мне навстречу, уступила мне... <...> Она ничего не делала, чтобы меня соблазнить, не играла шармом. Мы с ней очень много говорили на разные темы, и, думаю, она совсем не ожидала такого поворота событий. У нас это называется *coup de foudre* – удар молнии», – вспоминает Жан-Клод Маркаде.

В 1958 году они начинают жить вместе, а в 1966-м Жан-Клод принимает православие, и они венчаются в Свято-Духовском ските в Ле-Мениль Сен-Дени. Гостями на венчании были в числе прочих художники Рафаэль Херумян и Михаил Андреевич Нечитайло. Это было неспроста. Валентина и Жан-Клод круто изменяют предмет своих исследований (несмотря на это, в 1987 году Жан-Клод защищает в Сорбонне диссертацию, посвященную Лескову). Русское и украинское искусство, в первую очередь искусство авангардное, становится их страстью (Жан-Клод рассказывал, что забросила беллетристику окончательно Валентина после критического письма от Перемиловского, который и посоветовал ей заниматься исследовательской работой). Валентина посещает лекции знаменитого искусствоведа Пьера Франкастеля, основателя французской школы социологии искусства. Под его руководством она готовит диссертацию о русском искусстве второй половины XIX – начала XX века (с 1863 по 1914 годы). В ходе ее подготовки она встречается в Париже с Михаилом Ларионовым и Натальей Гончаровой, Ниной Кандинской, Леопольдом Сюрважем, Сергеем Шаршуном, Константином Терешко-

вичем, Соней Делоне, Юрием Анненковым, Дмитрием Бушеном, Павлом Мансуровым, Сержем Поляковым, искусствоведом Сергеем Эрнстом, редактором журнала «Возрождение» князем Сергеем Сергеевичем Оболенским, переписывается с Давидом Бурлюком. Дружба связывает супругов Маркаде с художниками Михаилом Андреем, Андреем Ланским, иконописцем отцом Григорием Кругом, позднее – с Анной Старицкой. Валентина Дмитриевна публикует в журнале «Возрождение» целый ряд статей по русской истории, литературе и искусству, среди которых: «К выставке Гойя» (1961), «Малевский и его картины» (1961), «После выставки русских и советских художников» (1960), «Светлой памяти отца Григория Круга» (1969), «Философские и религиозные искания русских художников начала XX века» (1963), «Выбор невесты московского государя» (1970), «Конструктивный кубизм Андреем» (1970), «О выставке Марка Шагала» (1970), «Преломление идей от Соловьева к Розанову через Дягилева» (1970), «Русская драматическая литература на рубеже двух столетий (от 1900 по 1914 г.)» (1971), «Царь Борис А.К. Толстого» (1972). Совместно с Жаном-Клодом они публикуют ряд статей о Малевиче, который стал для них одним из главных художников, в частности, статью «Значение Малевича в современной живописи». Совместно они перевели на французский его теоретические работы – те были изданы в четырех томах.

Важнейшим этапом станут две первые поездки в Советский Союз – в 1968 и 1972 годах. Супруги Маркаде посещают Москву и Ленинград, Киев и Львов; во второй приезд к Киеву добавляются Одесса, Ялта и Харьков. Они знакомятся с Владимиром Бехтеевым и учеником Малевича Иваном Кудряшовым, Михаилом Шемякиным и Татьяной Глебовой, Марией Горчилиной и Анной Лепорской, с коллекционерами, прежде всего Георгием Костаки, искусствоведами И.С. Зильберштейном, Савиновым, Русаковыми, Е.Ф. Ковтуном, А. Повелихиной. Но главные встречи состоялись в Киеве, с Дмитрием Емельяновичем Горбачевым. Он тогда работал главным хранителем Государственного музея изобразительного искусства (сейчас это Национальный художественный музей Украины). Именно Горбачев познакомил их с украинским авангардом, причем произошло это удивительным образом.

«В 1968 году мы с Лялей впервые приехали в Киев. Ехали из Москвы нашим «Ситроеном» вместе с приятелем, московским скульптором Максимом Архангельским. В Киеве мы знали только Александра Парниса... Парнис познакомил нас с Виктором Некрасовым и Дмитрием Горбачевым... <...> В Киеве Горбачев показал нам с Лялей все фонды музея, где хранились запрещенные работы разных «формалистов», в том числе «Правка пил» Богомазова. Потом повел в Лавру, где в музее театрального, музыкального и киноискусства Украины мы увидели фантастические работы Александры Экстер, Анатолия Петрицкого, Вадима Меллера. Повел к коллекционерам: мы были у Юрия Ивакина, у которого были чудесные рельефы Ермилова, и у Игоря Дыченко. Повел к Ванде Монастырской, вдове Богомазова. Помню лишь, как Ванда покраснела от волнения, что заморские гости интересуются работами ее мужа. А может, волновалась, что принимала иностранцев, – тогда же это было подозрительно.

Из Киева мы поехали во Львов. А вернувшись в Париж, узнали, что Диму уволили из-за того, что он показывал иностранцам запрещенных формалистов, водил в фонды и т. д.

Тогда Ляля как раз думала о теме следующей диссертации – докторской, и колебалась, писать ей о Дягилеве или, может быть, о Марианне Веревкиной. Но после инцидента с Горбачевым она решила писать об украинском искусстве. Ее настолько возмутило, что Горбачев – такой увлеченный, такой влюбленный в украинское искусство – заплатился должностью ни за что, что в России было такое странное отношение к украинским художникам, что она решила писать об украинском искусстве», – рассказывал Жан-Клод Маркаде в интервью Валентине Клименко.

Сам Дмитрий Емельянович Горбачев вспоминал об этом эпизоде так:

«В 1968 году в Киев впервые приехал Жан-Клод Маркаде с женой Валентиной Дмитриевной. Они стали украинистами, увидев в фондах Богомазова. Первым их впечатлением было – «Потрясающе!». Когда они впервые зашли, то поблагодарили меня за то, что я им дал какую-то редкую информацию через их знакомого москвича. Они проездом были – из Одессы через Киев в Москву своей машиной. Зашли в музей, чтобы поблагодарить. А у меня

на столе лежал рисунок Богомазова «Пожар в Киеве», я его принес из Музея русского искусства. Там он в спецфонде был анонимным, а я вижу, что это Богомазов, и говорю: «Отдайте». Они отдали без всяких сложностей.

И вот входят они в мой так называемый кабинет с расхлябанными дверьми, без окон, и видят этот рисунок. Их первая реакция: «Это же уровень Боччони!». То есть – футуризм высшей меры.

Потом они говорят:

– Можете еще что-то показать Богомазова?

– Для этого нужно, чтобы вам дало министерство разрешение, а министерство не даст.

Я пошел к своему директору, говорю:

– Люди приехали за 1000 километров, хотят посмотреть Пальмова, Богомазова (Пальмов их тоже поразил). <...> Директор подсказал мне пойти на такую хитрость: пусть Маркаде стоят в коридоре, а я делал бы вид, что переносу работы их одного хранилища в другое.

Так я и сделал... И они говорят: «Потрясающе!».

Потом они еще раз приехали в Киев и говорят: «Мы бы хотели увидеть театральные костюмы Экстер и Петрицкого, мы слышали, что они есть в киевском театральном музее». Ну я знаю, что министерство не разрешит, и звоню директору театрального музея: «Вы знаете, мои приятели, коллеги, которые приехали из Москвы (а они через Москву ехали, так что я не такой уж и брехун), они хотят посмотреть». Она говорит: «Да о чем речь, пусть приходят». И вот они пошли со мной вместе в фонды театрального музея, там тогда вообще экспозиции не было, только запасники. Но они почему-то взяли с собой еще баронессу, которая не знала русского языка, понимаете? Это меня и подвело. Мы пришли, смотрим: Петрицкий – уровень Шлеммера, никто же не мог себе такого представить. И, значит, эта баронесса воскликнула: «Мон дье!». Тогда директриса смотрит на меня и говорит: «Это что, иностранцы?» – «Иностранцы». – «Я бы их пустила». Мы выходим из фондов, а там уже 30 кагэбистов – за каждым же следили. <...> Что мне особенно запомнилось, что когда мы вышли, то один и кагэбистов подошел к Ване Маркаде и дотронулся, и шел с ним плечо в плечо, чтобы контакт был... Ну даже смешно было.

А директриса сразу написала в министерство. К слову, я ее даже не осуждаю, потому что если бы кто-то стукнул, то ее бы сняли.

<...> Меня на следующий день вызвали в министерство, и там была начальница музейного отдела, Кирилюк. Она говорит: «Как же так, на вас написали, Дмитрий Иванович. Ведь это же...» Я помню, она долго искала какие-то компрометирующие рубрики. «Ведь это же низкопоклонство перед Западом!» Нашла.

Меня выгнали. Маркаде, узнав об этом, уже тайно приехали из Москвы... «Дима, можно с вами встретиться?» Я говорю: «Давайте возле памятника Ленину». Думаю, КГБ, наверное, было довольно – «наш человек». И вот я пришел, и они говорят: «Мы виноваты». Я говорю: «Нет, а при чем тут вы? Вы ни в чем не виноваты». – «Но чтобы вам теперь немного подсластить ваше тяжелое положение, мы решили стать украинистами». И Валентина Маркаде написала книгу «Украинское искусство», представляете? На французском языке. Вот не было бы КГБ, она была бы «русистка».

В 1969 году Валентина Дмитриевна защищает кандидатскую диссертацию по истории русского искусства, которая в дальнейшем была издана в виде монографии под названием «Le renouveau de l'art pictural russe, 1863-1914» в издательстве «L'Âge d'Homme» в Лозанне. Руководителем диссертации выступает Пьер Франкастель, в жюри – легендарный Жан Кассу, первый директор Государственного музея современного искусства в Центре Помпиду. Она становится пионером в изучении русского искусства во Франции и первой декларирует то, что в истории русского искусства XX века нельзя разделять художников, живших в России и СССР, и художников-эмигрантов. Вскоре ее назначают приват-доцентом в Школе восточных языков, где она преподает историю русского искусства.

И начинает работать над «большой», докторской диссертацией, становясь пионером и в изучении украинского искусства.

Во время второго визита в СССР Валентина Дмитриевна находит в Одессе свой дом на Елисаветинской и даже встречает подруг детства. В ходе подготовки докторской диссертации она знакомится, в частности, с Вадимом Павловским и Юрием Шелевелевым и публикует в мюнхенском журнале «Сучасність» ряд статей на украинском языке: «Селянська тематика в творчості

Казимира Севериновича Малевича» (1979, № 2); «Український внесок до авангардного мистецтва початку ХХ століття» (1980, № 7-8); «Театр Леся Курбаса» (1983, № 1-2); «Василь Єрмилов і деякі аспекти українського мистецтва початку ХХ сторіччя» (1984, № 6). В 1990 году в журнале «Всесвіт» виходить її стаття «Українське мистецтво ХХ століття і Західна Європа».

Ряд її статей виходить і в інших виданнях, в частности, «О влиянии народного творчества на искусство русских авангардных художников десятих годов 20-го столетия» в «Revue des Études Slaves» в 1973 году.

В 1979 году они с Жаном-Клодом составляют опубликованный позднее в Кельне каталог «Художницы русского авангарда 1910-1930», к которому пишут вступительную статью, за год до этого – их совместная монография о Михаиле Андреевко. А в 1981-м Валентина Дмитриевна защищает докторскую диссертацию на тему «Вклад в изучение украинского изобразительного искусства». В 1990-м в Лозанне она выходит отдельной монографией («L'Art d'Ukraine», «Éditions L'Âge d'Homme»).

Обе монографии Валентины Дмитриевны ставят ее в ряд первых в истории исследователей русского и украинского авангарда – наряду с Камиллой Грей, Ларисой Алексеевной Жадовой, Шарлоттой Дуглас.

Квартира супругов Маркаде на рю Сен-Сюльпис в Париже стала на долгие годы одним из заветных очагов культурной жизни. Жан-Клод устраивал домашние выставки, вечеринки, у них в гостях побывало множество художников и искусствоведов.

В конце 1980-х супруги Маркаде стали проводить все больше времени на юге Франции, в родной для Жана-Клода Гаскони. Его маме и ее родителям принадлежал когда-то участок земли с двумя старыми домиками недалеко от городка Понтон-сюр-л'Адур. В 1971 году Маркаде выкупили его у тогдашних хозяев и наезжали туда летом. А в 1993 году переселились туда окончательно. Валентина Дмитриевна болела, у нее был свой небольшой одноэтажный домик, где она окружила себя всем тем, что любила – православными иконами, фотографиями, книгами и картинами. После ее смерти 28 августа 1994 года Жан-Клод оставил все в неприкосновенности. Он водил меня туда. Из того, что запомнилось

крепко, – две великолепные скульптуры Александра Головина. Ездили мы и на могилу Валентины Дмитриевны на тихом маленьком городском кладбище...

Жан-Клод и сегодня живет там в двухэтажном доме, окруженном лесом и полями. Он радушный хозяин, прекрасный повар, отличный водитель и настоящий француз, точнее – гасконец, искренне любящий жизнь. А еще – страстный исследователь, знаток, коллекционер. Я бывал у него дважды, и каждый раз уезжал с чемоданами бесценных документов. До сих пор не могу поверить своему счастью.

Я очень надеюсь на то, что именно Одесса станет городом, в котором литературное творчество Валентины Маркаде будет впервые собрано в книгу, а в нашем литературном музее появится стенд, ей посвященный.



Ольга Танган

Жена художника*

В реальной жизни бабушка Полина очень ругала тех, кто рожал детей непродуманно, неподготовленно:

– Вот я семь лет прожила в браке, прежде чем родить ребенка. Ждала, пока муж встанет на ноги.

У племянницы Нюренберга – Майи Нюренберг – рано родилась дочь. Когда дочке исполнилось два года, Майя осталась без мужа. Она пришла к моему деду. До сих пор, а ей теперь больше 90 лет, и она живет с семьей дочери в Бостоне, она вспоминает, какую отповедь получила тогда от бабушки Полины:

– Когда я пришла в дом к Нюренбергам с двухлетней Наташей, Полина на меня набросилась: «Зачем ты родила ребенка непонятно от кого? Как ты собираешься воспитывать свою дочь? Вот я семь лет прожила с мужем, прежде чем родить...». Нелька за меня вступилась: «Оставь Майку в покое. Вон у тебя сидит твой подчиненный. Так им и руководи».

Привычка «руководить» в первую очередь проявлялась у Полины в отношениях с дочерью. Выведя ее на большую сцену, Полина считала себя главой проекта «Нина Нелина» и заявляла на него свои права. Трифонов видел это несколько упрощенно:

«Вера Лазаревна жила недалеко, через два дома, и приходила к Лене почти ежедневно под предлогом «помочь Наташеньке» и «облегчить Ленусе», а на самом деле с единственной целью – беспардонно вмешиваться в чужую жизнь».**

* Окончание. Начало в кн. 87.

** Ю. Трифонов. Обмен. В кн.: Ю. Трифонов. Избранные произведения в двух томах. Т. 2. – М.: Художественная литература, 1978, с. 11.

«Руководя» дочь и отстаивая ее интересы, понимаемые по своему, Полина не ограничивалась ее личной жизнью. Так, в повести «Долгое прощание» теща, защищая дочь от домогательств режиссера, отправляет начальству обличительное письмо:

«Ляля увидела несколько страниц, исписанных чернилами, и с ужасом узнала знакомый почерк – писала мать!

Вот оно, самое страшное, чего Ляля больше всего боялась. Мать добивается справедливости. Господи, ведь сколько раз было сказано, умоляла ее, стояла перед ней на коленях* – чтобы не смела вмешиваться, чтобы никаких писем, жалоб! Любимое занятие: писать письма. Когда-то писала директору школы с требованием, чтобы письмо обсуждалось на родительском совете, писала в роно, потом, когда Лялю не приняли в театральное училище, писала в министерство.

Она и дома, когда сердится на кого-то, выясняет отношения с помощью писем. Нередко Ляля, проснувшись, находила на своем столе страницы две, три, четыре, а то и больше, бывало до целой ученической тетради, исписанные крупными слитными строчками без знаков препинания: «Людмила ты должна знать что когда берешь чужую вещь ее необходимо возвратить не дожидаясь просьбы это не деликатно ты взяла мою черную меховую накидку»...

Подавив стон, Ляля придвинула к себе рукописные листки – сразу узнала большую счетоводческую книгу отца, из которой листки были вырваны, – и стала бегло читать, перескакивая через строчки. Читать подробно, вникая в каждое слово, не было сил. «Обращается мать молодой артистки... Еще в школьном драмкружке, которым руководил заслуженный артист... Шестой год после зачисления в труппу... Неужели наша артистическая молодежь должна... До каких пор самовластье режиссеров...»

Ляля увидела фразу, которую при первом чтении проскочила: «...не пошла ему навстречу, после чего последовала режиссерская месть, оба спектакля, им поставленные...» О-о! Ну, зачем же это?

* Действительно, мама иногда вставала перед бабушкой на колени, стараясь ее в чем-то убедить.

Зачем, боже мой, зачем, зачем? Теперь Ляля не могла поднять глаз на Смурного и тянула время, шевеля губами, делая вид, что с трудом разбирает почерк. Смурной терпеливо ждал...

Мать сотворила глупость, но ведь написала правду. Он знает, что написала правду, но делает оловянные глаза и требует – боже мой, чего же он требует? – чтобы она, Ляля, стыдилась за мать, чтобы умирала от чувства стыда, и этот стыд был бы некоторой оплатой за те неприятности, которые он испытал, получив письмо, пересланное из высшей инстанции.

Теперь уже все равно. Значит, стыдиться за мать не нужно. Зачем стыдиться за несчастную женщину, которая терзается и не спит ночей из-за дочкиных неурядиц и пытается в меру своего разумения... Да ведь главное, главное: написала правду! Все правда от первой до последней строчки.

И, совершенно успокоившись, Ляля выложила все это Смурному.**

Излишне добавлять, что подобное событие действительно имело место. Говорили, что самая разумная из сестер Мамичевых – Ольга – уговаривала Полину не посылать письма в театр, но бабушку ничем нельзя было остановить. Она отказывалась смириться с мыслью, что дочь не только не нуждается в ее попечении, но и лучше нее разбирается в своих делах, а заступничество матери только унижает ее в глазах коллег и выставляет в глупом свете. Она не хотела считаться с тем, что даже самый хороший предводитель должен в какой-то момент «сдать дела», от которых отстал по жизни, иначе нанесет своему же делу непоправимый ущерб.

Естественно, бабушкино письмо никак не помогло маме, более того, до предела осложнило ее ситуацию в Большом театре, из-за чего Нелина в 1957 г. перевелась в Госконцерт.*** Такое понижение в карьере после двух десятков главных ролей в главном театре страны явилось причиной постоянных бабушкиных страданий. Она всюду искала виновных, но причины крылись глубже.

** Ю. Трифонов. Долгое прощание. – Там же, с. 130-131.

*** Л.Д. Рыбакова. Нелина. В кн.: Большой театр России. Энциклопедия. Под ред. В.Н. Варганова. – М., 2010.



1963. Примбалтика. Нина Нелина, Ольга и Полина Мамичева. На фото рядом с дочерью у Мамичевой было часто расстроенное выражение лица

У французов есть пословица: «Характер – это судьба». У Нелиной был достаточно крутой «мамичевский» нрав, но у Полины он был еще круче, и мама всегда уступала бабушке. Трифонов с сожалением писал об отношениях жены и тещи:

«Она будет в ее власти всегда. До чьей-нибудь смерти».*

Помню, как однажды я с мамой возвращалась домой от бабушки с дедушкой. И мама, поглядев на меня снизу вверх (я уже была выше ее ростом), сказала мне немного виновато:

– Если я умру, то из-за бабушки.

В тот момент я не придавала значения ее словам. Совершенно не представляла себе, что она могла бы внезапно умереть.

Трифонов, чей психологический тип поэт Борис Слуцкий обозначил как «флегматичный напор», обладал столь же твер-

* Ю. Трифонов. Долгое прощание. – Там же, с. 209.

дым характером, как Полина, но проявлял его реже и не столь резко. В семье он доминировал над мамой даже в годы, когда удача, казалось бы, от него отвернулась. Сопротивляемость Нелиной ослаблялись еще и стрессами в Большом театре, для которого она оказалась слишком инфантильной. В отличие от коллег, «выгрызших зубами» свои места и роли, успех достался ей слишком легко. Нелина оказалась в четырехугольнике: она, неостановимо радеющая за нее мать, неуступчивый муж и перегруженный страстями и интригами театр. И она, отказавшись от звездной карьеры ради семьи, стала заниматься домашним благоустройством и как секретарша – литературными делами отца.

После выхода романа «Утоление жажды» в 1963 году Трифонов купил недостроенную дачу в поселке писателей «Красная Пахра», и мама взялась ее достраивать. Трифонов, безразличный к хозяйственным делам, во всем этом участия не принимал, что создавало в семье сильные напряжения, подогреваемые еще и Полиной. У бабушки еще теплилась надежда, что дочь, решив бытовые проблемы, вернется в оперу, но вместо этого Нелина, надорвавшись на строительстве дачи, стала жаловаться на сердце и уволилась из Госконцерта по состоянию здоровья.**

Здоровье Нелиной продолжало ухудшаться, и знакомый врач Нюренбергов заподозрил у нее предынфарктное состояние. Трифонов относился к недомоганиям жены не вполне серьезно, списывая их на расхолодившиеся нервы. Занятый своей работой, он не поехал с женой в Друскининкай, где Нелина надеялась поправить здоровье. Она сняла комнату в частном секторе и на следующий день после конфликтного разговора с мужем по телефону Нелина внезапно скончалась, как официально объявили, от инфаркта миокарда – 26 сентября 1966 года в возрасте сорока трех лет.

Друг Нюренберга, Виктор Мидлер, знавший Нелину с рождения, написал письмо на ее преждевременную смерть:

** Л.Д. Рыбакова. Нелина. В кн.: Большой театр России. Энциклопедия. Под ред. В.Н. Варганова. – М., 2010.

«Дорогая Нелли!

Твои родные, твои друзья пришли сюда проводить тебя в другой, неизведанный мир. Слишком рано, слишком неожиданно, скоростижно, мы расстаемся. Горе, безутешное горе твоих родных следует за тобой.

Давно было другое! Я встретил твою мать, которая тебя – крошку, несла на руках. Рядом был отец. Радость и надежда светились в их глазах. Ты выросла, а мы – твои друзья, пришли в Большой театр послушать твой талантливый голос. Ты пела Розину, и мы радовались вместе с огромным числом слушателей и благословили новую талантливую девушку на долгую большую творческую жизнь.

Судьба по-другому решила и распорядилась. Она злостно оторвала тебя от всех нас, несвоевременно, не подготовив ни тебя, ни твоих родных к этому несправедливому событию.

Что мы можем еще сказать? Прости, прощай, дорогая Нелли. Если есть мир где-то, другой мир, какая-либо жизнь, мы всем сердцем тебе ее пожелаем.

Виктор Мидлер»

В смерти дочери Полина обвинила Трифонова. Я присутствовала на похоронах, но была в шоковом состоянии и абсолютно ничего не помню. Мне рассказывали, что пришло много знакомых, было много известных людей. Бабушка Полина выкрикивала: «Убийца Нели – среди нас!». Бросалась на гроб, ее оттаскивали, давали успокаивающее. Все это знаю лишь по рассказам очевидцев.

Для Полины смерть дочери стала не только трагедией матери, потерявшей ребенка. Обрушилось дело всей ее жизни, не оставив даже призрачных надежд что-то как-то исправить. Для бабушки с дедом Трифонов сделался главным врагом, который «угнал Нелю на тот свет». Дед рассылал по разным инстанциям напечатанные на машинке открытое письмо Трифонову на 20 страницах и «Дневник Нины Нелиной» о последнем горьком периоде ее семейной жизни. Нюрнберги порочили Трифонова в разных учреждениях, в том числе Союзе писателей, обвиняя во всех смертных грехах, и Трифонову несколько раз приходилось давать малоприятные объяснения. В частных

разговорах бабушка величала состоявшегося писателя просто «Юркой», а окружающих его уважаемых литературных дам – «марухами». К счастью, их всерьез не воспринимали – думали, старики просто помешались от горя. Должна признаться, что я тоже так думала.

Трифонов регулярно получал от бывшей тещи ругательные послания. Обычно он выбрасывал их, не читая, догадываясь, что она могла написать. Бабушка также донимала отца ночными звонками с проклятиями. Могла ему выкрикнуть в трубку только одно слово: «Убийца!». После таких ночных звонков трудно было снова уснуть. Однажды я видела, что у отца после этого дрожали руки. Полина устраивала ему настоящий психологический террор.

Бабушка как-то сказала своей племяннице Тамаре Куколевой:
– Утром просыпаюсь. Опять день. Не хочу жить. Только Ольгу жалко.

Помню, как она говорила с грустью, что ей без мамы скучно жить. «На кого девку оставила?» – сетовала она на дочь. Один раз она воскликнула: «Мы так любили друг друга!». Еще бабушка часто вспоминала выражение: «На страданье Бог силы дает». Часто повторяла мудрость библейского царя Соломона, который носил на руке кольцо с надписью: «И это пройдет».

Часто, однако, наши встречи с ней кончались грубыми и, как мне тогда казалось, беспочвенными нападками на отца. Дед был более выдержанным, иногда он останавливал ее по-французски: «Il n'est faut pas».* Но бабушку невозможно было остановить. Ей были присущи резкие перепады настроений – от бешеного гнева до безумной любви. Мне она говорила: «Я безумно любила Нелю» или «Я тебя безумно люблю». Однако ее «безумная любовь» часто ложилась на человека тяжким грузом. В отношениях с мужем проявлялось то же самое.

«Янина Владимировна порой считала Иону Александровича дураком и заявляла об этом твердо и ясно. А порой считала очень умным человеком. Она говорила: «Все знают, что

* «Не надо» – фр.

ты дурак, и тебя легко обмануть». Иногда говорила: «Иона, зачем ты вступаешь в спор? Они не стоят твоего мизинца. Ты умнее всех в этом доме».*

В отличие от деда, который был прекрасным и остроумным рассказчиком, бабушка говорила мало. Отсутствие красноречия она компенсировала бесконечными письмами, где отстаивала ту или иную точку зрения, разоблачала плохих людей и клеймила плохие поступки. Целью своих писем она считала «срывание масок» с того или иного лица. Писать ей было нелегко, но ее просто разрывали чувства и мысли, которые просились на бумагу. Писала она на всем, что попадалось под руку – то в школьных тетрадях, а то и на обрывках бумаг. Иногда она сооружала из бумаг своего рода папирусы, склеивая их в длинные свитки.

Бабушкина сестра Дина, которая тоже ярко проявляла себя в эпистолярном жанре, по словам ее дочери Тамары, жаловалась:

– Вот сижу и все думаю, думаю. Умру когда-нибудь от этих думок.

В таком состоянии «раздумий» находилась и моя бабушка, когда писала свои письма. Они были разными по настроению. Иногда ласковые, иногда гневные. Иногда спокойные, иногда горячие, перевозбужденные. Часто ее письма становились пророческими, о чем писал мне дед:

«Ты, вероятно, Ольга заметила, что все письма твоей нервной бабушки Полины рано или поздно оказываются пророческими».

В другом месте Нюрнберг давал еще более интересную и точную характеристику писем бабушки Полины:

«Несколько слов о бабушке Полине

Надо признаться, Ольга, что не все ее письма рождены здоровыми подозрениями. Некоторые из них кажутся даже близкими к страданиям. Но есть такие, что кажется, это не письма, а крики».

* Ю. Трифонов. Посещение Марка Шагала. В кн.: Ю. Трифонов. Собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. – М.: Художественная литература, 1987, с. 234.

Трудно передать неподражаемый тон и уникальную лексику этих писем. Хотя бабушка родилась и выросла в Москве, некоторые ее простонародные выражения я ни от кого больше не слышала: например, «кундепать» – плохо работать (шить), «маруха» – женщина легкого поведения, «пичкать» – насильно кормить. В словах «понял» и «поняла» – она ставила ударение не там, где положено. Бабушка не училась в гимназии и грамотностью не отличалась. Знаками препинания себя не утруждала. При этом она обладала природным умом и народным языком. А многие ее письма стали действительно пророческими.

Бабушка любила меня в письмах наставлять. Раньше я возмущалась ее непререкаемым тоном, не соглашалась с ее постулатами. Но теперь дорожу этими письмами как реликвиями, вижу в них заботу о себе. Жалею, что никто больше не борется за меня столь жаростно.

Из «Дневника» Нины Нелиной:

«Бабуля накатала Оле письмо о жизни».**

Как и за маму, бабушка безоглядно бросалась в бой и за меня, что выглядело иногда нелепо, а чаще неуместно. В 1975 году у меня родилась дочь Катя, которая так мало весила, что я скрывала от некоторых знакомых ее вес 2550 г. Помню, как однажды в палату родильного отделения пришла сестра и сообщила:

– Звонила ваша бабушка. Спросила: почему такая здоровая девка родила такого маленького ребенка?

Что могли ответить на бабушкину претензию? Ей в ту пору было уже более восьмидесяти.

В связи с бабушкой Полиной вспоминается карикатура В. Ложкина, на которой изображена старуха рядом с телефоном и написано: «Я сейчас в Кремль позвоню!». Такой была и моя бабушка Полина. Она никогда ни перед кем не тушевалась, могла позвонить и в Кремль. Собственно говоря, один раз так и произошло. Один раз он (возможно, по совету Полины) написал письмо в Кремль, самому генеральному секретарю Леониду Брежневу. В письме Нюрнберг описал трудности старого заслуженного

** Нина Нелина. Дневники разных лет. – Личный архив Ольги Танганя.

художника, смерть единственной дочери и попросил помочь в предоставлении отдельной квартиры. И Леонид Брежнев действительно пошел ему навстречу. Говорили, что он отличался добрым сердцем. Последние пять лет жизни Нюрнберги провели в небольшой, но отдельной двухкомнатной квартире рядом с метро «Войковская».

Должна сказать, что на самом деле бабушка была лучше, чем производила впечатление. У нее было доброе сердце, а все письма и проклятия следовало воспринимать как предупреждение. Помню, как дед однажды сказал удивившую меня фразу:

– Полина никогда не может быть злой до конца.

Поскольку они сильно не ладили с отцом, я насторожилась. Что бы это значило, «быть злой до конца»? Убить отца, что ли? Я обеспокоилась, так как всегда защищала от них отца.

Но теперь я лучше понимаю деда. Бабушка была непоследовательной. Она могла на тебя накинуться и тут же пожалеть, приласкать. Бабушка была против моего рождения, но именно она и занималась со мной больше других, когда я родилась. Она возилась со мной в младенчестве – заворачивала меня в вату, поскольку я родилась холодной зимой, была недоношенной, весила чуть более 2 кг и не могла согреться в своем теле. Когда я подросла, она оставалась со мной дома, поскольку мама работала, а отец часто ездил в командировки. Лето они с дедом проводили вместе со мной на даче. Помню, как она пела мне колыбельную: «Спи, моя крошка, усни. В доме погасли огни, дверь ни одна не скрипит, кошка под лавкою спит...».

Привожу отрывок оригинального письма бабушки Полины от 1968 года, адресованного Инне Гофф. Оно написано непривычно для нее грамотно. Видимо, дед его подправил. Но все ее мысли мне знакомы: они о муже, об умершей дочери и обо мне:

«Единственное, что утешает нас, что скоро мы уйдем к ней. У нас там уже есть памятник для нас с мужем. Бывает состояние покончить с жизнью, но у мужа много незаконченных дел на земле. Скоро выйдет его книжка. Открытки с его произведе-

ний. Он распределяет свои вещи по музеям. Недавно у него взяли 35 вещей в Третьяковку. Он хочет и в другие музеи. Много послал на родину. Есть в Пушкинском музее. На Кавказе. В Маяковском, в музее Красной армии, в музее Революции. Конечно, главная трагедия – Оля. Мы делаем все, чтобы облегчить ее жизнь в будущем».

Бабушкина сестра Дина как-то сказала:

– Полинка была в нашей семье самой доброй. Она всех обшивала, всем помогала. Потом вышла замуж за Амшейку. Стала злой и жадной.

На самом деле бабушка стала злой не из-за деда, а из-за той жизни, которая их окружала. Помню, как однажды она сказала мне с ожесточением:

– Чтоб весь этот мир провалился!

Я испугалась:

– Бабушка, а как же я?

Она ответила:

– У тебя ноги длинные. Ты убежишь!

Абсурдный ответ, но в чем-то провидческий. Я действительно в какой-то момент «убежала».

Хотелось бы закончить описание Полины словами одной из ее сестер – Шуры. Та была самой некрасивой из детей Мамичевых и, к тому же, несчастной в личном плане. Но она жалела Полину, приходила в Дом художников помогать ей по хозяйству. Даже помню ее немного: она всегда курила папиросы. В повести «Долгое прощание» Тамара Игнатьевна (списанная с Шуры Мамичевой) защищала свою сестру перед зятем:

«... [Тамара Игнатьевна] сказала мягко и даже просительно: – А все же вы на нее не сердитесь, ладно? Знаете, какая Ирина была красивая! Сколько у нее было предложений в двадцать третьем году! Она была просто замечательная. Она же балерина. Училась у Полякова, в студии на Бронной. Мы бегали всей оравой смотреть. Поляков предлагал уехать в Ригу. И не поехала, маму пожалела – отец наш как раз умер, у Коли были неприятности... Вот чего не отнимешь: она семье предана. Ведь вся Иркина молодость, все ее надежды, таланты какие-никакие, но что-то ведь было – все в землю ушло.

Вот вам, Гриша, и счастье, жизнь кончается... Ой, такая она глупая, наивная, если рассказать...»*

Записка 90-летнего Нюренберга после того, как бабушка попала в Боткинскую больницу с переломом шейки бедра, откуда она уже не вышла и где умерла в возрасте 84 лет:

«Моя дорогая и любимая!

После твоего отъезда я зашел в спальню и поглядел на твою постель. Она произвела на меня мрачное впечатление. Вещи лежали в беспорядке и свидетельствовали о больших твоих страданиях.

Я вспомнил фразу одного писателя: «Мы старимся под бременем тяжелых годов» «Человек с очень подрезанными крыльями быстро познается...»

Сегодня я только о тебе думал. Кто теперь меня утром будет звать: «Иди, дружок, завтракать! Искусство – потом. Тебе нужны силы, чтобы жить! Не забудь, Амшей, о 20 каплях адонизиды! Никогда думать о картинах!»

Больше полвека ты меня кормила, поддерживала. И утешала.

Кто тебя может заменить?

Вечно я тебя нежно и глубоко любил.

Всегда для тебя, Амшей».

Вспоминается моя последняя встреча с бабушкой в Боткинской больнице. Накануне мне позвонил дед и попросил, чтобы я поехала и навестила бабушку. Дед простудился и остался дома. А так он сам каждый день ездил к ней в больницу на такси. В то время я была беременна второй дочерью Ниной. Мы с мужем приехали. Бабушка лежала одна в комнате для умирающих. Она была в сознании и ясном уме. Обрадовалась, увидев нас. Сказала моему мужу немного игриво:

– А, Андрюша.

Я ее спросила, знал ли дед о ее состоянии. Она ответила:

– Нет. Не хочу его огорчать.

Наутро она умерла. Мы поехали к деду, сообщили ему об этом. Он долго плакал, качаясь на стуле. В этот день мы забрали его

* Ю. Трифонов. Долгое прощание. В кн.: Ю. Трифонов. Избранные произведения в двух томах. Т. 2. – М.: Художественная литература, 1978, с. 177.



1960-е годы. Москва. Полина и Амшей Нюренберги

к себе домой, мы тогда жили в квартире моего свекра на ул. Чайковского.

Прощальное письмо Нюренберга своей умершей жене:
«11 февраля 1978

Сегодня ночью во сне умерла моя нежно любимая, безгранично близкая, сердечная и душевно чуткая Полина, которую я всегда называл девочкой.

Когда Оля мне сказала, что Полина умерла, я полчаса метался и истерично охал, бил себя в грудь. Не сумели мы и врачи поддержать ее слабое сердце и снять ее нечеловеческие страдания.

Новый крематорий.

Ее сжигали 13 февраля в новом крематории (находится под Москвой). Свирепствовала бешеная метель. Здание крематория напоминало ультрастилизированный сарай. Архитектору крематория удалось придушить воображение людей, окружавших дорожного покойника. Вместо покоя и утешения попавший в здание

крематория был охвачен безнадежностью и жестокой местью за веру в новую утешительную форму. Страшный, жестокий сарай – так выглядит крематорий. Особенно зимой. Казалось, что покойники возмущались архитектором.

Я не могу жить и работать в комнате, где лежат и висят ее вещи.

Вот ее любимая цветистая кофта, шуба меховая, сапожки в складках, которые сохранили ее характер, волю и состояние поспешности. Шарфы зимние – красный и фиолетовый.

Вот летний шарф нашей Нели. Мы оба с волнующей сердечностью одевали его.

А в кухне все умыто ее усталыми руками».

Бабушка Полина умерла, успокоившись на мой счет. Я была замужем, родила первую дочь и ожидала рождение второй. Она познакомилась и с моим мужем, и с его родственниками. Ее обязательства перед рано ушедшей дочерью были выполнены.

* * *

Бабушка Полина часто повторяла мне: «Ты потом все узнаешь», «Потом все поймешь». Что мне надо было позже понять? Что же мне было делать? Ведь я любила и бабушку с дедушкой, и своего отца. Вопрос должен был формулироваться иначе: кому я больше доверяла? Вначале я, безусловно, больше доверяла отцу. Считала, что Нюрнберги наговаривали на Трифонова, обвиняя его в смерти единственной дочери. Отец ведь всегда был такой спокойный и интеллигентный. А бабушка, напротив, была конфликтным и несдержанным человеком.

Помню свой один разговор с бабушкой Полиной. Я ее спросила:

– Зачем ты все время нападаешь на отца?

Она ответила:

– Чтобы он лучше о тебе заботился. Он нас боится. Скажи спасибо, что мы долго живем.

Помню, как меня поразили тогда ее слова. Оказалось, что она сознательно и рационально нападала на отца, причем делала это в моих интересах. А я всегда думала, что она нападала на него от безутешного горя.

Но, видимо, отец их и впрямь побаивался. Пока Нюренберги были живы, ни на какие серьезные перемены он не решался. Отец с головой ушел в творчество и создавал одно за другим свои лучшие произведения. По совпадению или нет, со смертью бабушки в 1978 г. закончился и его «золотой период». Трифонов наконец стал пожинать плоды пришедшей к нему мировой славы, отдался от старых друзей и полностью переустроил свою жизнь. Лишившись привычной «среды обитания», он через три года заболел и умер в возрасте 55 лет.

Получилось, что бабушка, терроризируя Трифонова, подтолкнула его к творческому прорыву. И наоборот, вырастив дочь и сделав из нее певицу, излишней опекой навредила ее карьере и не довела до конца главное дело своей жизни. При этом и зять, и дочь преждевременно умерли. Мне кажется, что отец, изображая Полину, не понял или не захотел понять драму ее жизни.

Сразу после похорон дочери Нюренберги заготовили себе могильный камень, где были выбиты слова: «Амшей Нюренберг – художник» и «Полина Мамичева-Нюренберг, страдающая мать». Последняя эпитафия долгое время казалась мне слишком драматичной, на грани безвкусицы. Лишь сейчас я поняла ее смысл.



Екатерина Пименова

Одесские коллекции. Семен Верник

– Семен Евгеньевич, как у вас все начиналось? Когда вы поняли, что хотите стать коллекционером?

– Во-первых, я никогда не хотел стать коллекционером живописи. Я начинал с коллекций марок, спичечных коробков. Это было просто увлечение, наша тусовка – Женя Суслов, Игорь Пашков, Хрущ, Сычев, другие художники – это просто общение, молодежь, тусовки, вино, песни. Появились рисунки. Потом, когда возникли квартирные выставки Суслова, Глузмана, оно тогда начало приковывать взгляд. Мне захотелось тоже что-то иметь дома. Это не было какой-то страстью, не было планов создать коллекцию живописи. Потом уже как-то выстроилось, выкристаллизовалось. Были случайные работы, которые мне ну очень нравились, – работы Хруща, Стрельникова; маленькие работы Хруща, большие работы Хруща, потом Сычев, Рахманин – просто покупки, которые доставляли удовольствие, а потом они уже начали складываться в коллекцию. Я понял, что мне хотелось иметь, но только собрание художников этой эпохи, этого времени – моих современников и моих друзей.

– А сколько примерно работ насчитывает сейчас ваша коллекция?

– Никогда не считал, но думаю, что больше ста – это точно. Я не собираю количество, я собираю качество. Никогда не ставился целью пересчитать работы.

– Самыми первыми ласточками были работы Игоря Божко?

– Да, это были именно работы Игоря Божко. Я очень люблю Игоря, он мне очень нравится как человек. Мне нравится его острый саркастический ум – еще в молодости он был искрометный; он прекрасно пел. И потом появились эти рисунки, появилось что-то еще. Не могу сказать, что мне разонравились его работы, но затем появились Хрущ, Стрельников, которые настолько завладели мной, что все остальное отодвинулось на второй план. Также и Рахманин.

– В какой момент вы поняли, что это не просто симпатия, а что-то большее, а именно – что вы на этом пути?

– Наверное, это было в середине 70-х. Началось в конце 60-х, покупались какие-то работы, были споры в семье по поводу этих работ, мои близкие – люди старой формации, не понимали, что я приношу в дом, но постепенно успокоились.

– Ваша супруга когда-то сказала о том, что у вас талант распознавать будущих гениев. Как вы это можете прокомментировать?

– Никак. Просто интуиция. Авторы работ малоизвестных художников, которые я покупал, стали большими мастерами. Спасибо моим родителям, которые были очень простыми людьми, хотя и из интеллигенции: они любили музыку, возили меня на концерты, водили в музеи. Первый детский эмоциональный шок я получил, когда попал в Эрмитаже на третий этаж и увидел работы импрессионистов. Я никогда в жизни такого не видел, и меня поразило буйство красок. Это осталось у меня внутри. Потом папа, когда заметил, что мне это нравится, начал ездить в Румынию, привозить мне альбомы. Помню Пикассо, Сезанна, Модильяни. Когда я был мальчиком, влюбился в этого художника, Модильяни.

– Они у вас сохранились?

– Сохранились, конечно.

- Что является жемчужиной вашей коллекции? Чем вы гордитесь? В любом случае вы упоминаете того же Стрельникова...

- Жемчужины, если выделить пять пальцев на одной руке, – это работы Стрельникова: «Игра в мяч», вторая – его же «Город»; Хрущ – «Стенка»; Сычева работа «Портрет Риты», Ануфриева – вот и пять пальцев. Но если больше – то можно все перечислить!

- Были ли какие-то неожиданные случаи в ваших взаимоотношениях с художниками? Желание что-то приобрести, может, истории какие-то необычные, развороты непредсказуемые?

- Были споры с другими коллекционерами... Неохота называть имена. Вот такие эмоции, которые приводили к разрыву отношений на долгие годы. Такие кипели страсти, когда хотели одну и ту же работу! Возникали серьезные идеологические разногласия. Как я понимаю на сегодняшний день, это было глупо, но обе стороны были упрямы до невозможности. Кто-то когда-то в любом случае делал шаг навстречу. Проходили годы, все это стиралось.

- А было такое, что несли по улице работу – и потеряли?

- Наверное, не было. Единственный казус – это у меня был автопортрет Игоря Божко, который я очень ценил. И я не понимаю, куда он делся, потому что это была большая работа, мы переезжали с квартиры на квартиру, и для меня это была огромная потеря. Игорь спрашивал меня, куда делся автопортрет. У меня не может быть такого, чтобы что-то потерялось.

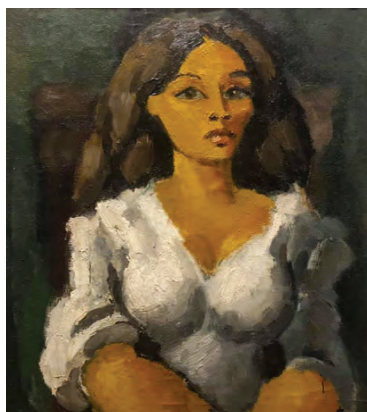
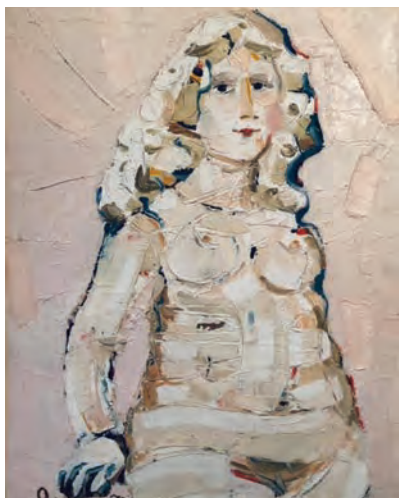
- Вы рассказывали однажды, что ваши дети выменяли статуэтки...

- Это были деревяшки Хруща, я их обожал. У меня их было очень много, потому что Валик их делал целыми днями, он их или дарил, или продавал за копейки. Они стояли на пианино, на книжных полках, я даже не обращал внимания. Потом их стало меньше. Дети сказали, что проиграли их в фантики. На старой квартире были завешены стены, и какие-то рабо-





Работы из коллекции
Семена Верника



ты за смешные копейки я начал продавать. Потом проходили годы, и я понимал: что же я наделал! Приходилось находить человека, которому продал работы, и за совершенно другие деньги покупать это все обратно. Одну работу Хруща я до сих пор выкупить не могу.

– Как вы переживаете это чувство удовлетворения: взяли, принесли – и она ваша?

– Это страсть коллекционера, это чувство, как Женя (Евгений Голубовский. – Е. П.) писал, «эстетического сопротивления» или, наоборот, эстетического наслаждения. Это настоящий праздник. Конечно, такое ни с чем не сравнить. Да, много работ, которые вызывают страсть коллекционера, которые трудно найти.

– Бывают ли такие случаи, когда оказывается, что какая-то работа – не подлинник?

– У меня были случаи, когда в коллекцию вместо подлинника попадала авторская копия. У Рахманина появился покупатель из Германии, который на фото увидел работу и захотел купить. Рахманину пришлось делать копию для немца. У меня в коллекции нет ни одной работы, в подлинности которой были бы сомнения.

– Кто из коллекционеров интересен вам? С кем вы сравниваете себя, с кем дружите?

– Во-первых, покойный Лущик был блестящий коллекционер. Потрясающая коллекция была у Жени Сулова. Я нашел его вторую жену после его смерти, попросил ее позвонить мне, если она захочет что-то продавать. Она дружила с Игорем Божко. Я у них спрашивал, что осталось, они ничего не знали. У Славика Выродова безупречный вкус, великолепная коллекция. У Жени Голубовского замечательная коллекция. У Феликса (Кохрихта. – Е. П.) замечательная коллекция.

Михаил Кнобель был, меценат, я ему благодарен за то, что он сделал для художников, для популяризации живописи, но у него не было цельной коллекции. Музей современного искусства благодаря Вадиму Мороховскому докупил работы, и они остались в городе.

– Актуально ли сейчас в Украине коллекционирование?

– Это актуально везде и во все времена. Меценаты, которые покупают работы художников, делают огромное дело. Если ребенок растет среди искусства, у него развиваются вкус и система ценностей.

– О чем вы мечтаете в отношении своей коллекции?

– О приобретении классных работ художников моей эпохи (60-80-х) и о чем-то из работ, которые меня зажгут (Стрельников, Рахманин, Хрущ, а также Кожухарь). Люблю работы, в которых есть живопись и нет литературы. Я считаю одесскую школу живописи одной из лучших на постсоветском пространстве.

– Как вы думаете, будет ли ваша коллекция отображать тенденции в современном искусстве?

– Я считаю, что это значимая коллекция для Одессы. Здесь собраны лучшие работы художников той эпохи. Одесская художественная школа – это самая сильная школа в постсоветскую эпоху.

– Каково возможное будущее вашего собрания?

– Во-первых, у меня есть сын, который увлекся этим делом. У него своя коллекция.

– Думали ли вы открыть музей?

– Пусть он думает. Я с этой коллекцией расстаться не смогу.



Алена Яворская

«О, граждане воры...»

У нашего города к концу девятнадцатого века сложилась репутация если не воровской столицы, то воровской «мамы». «Ростов-папа», «Одесса-мама»...

Но по легенде, одесские воры никогда не покушались на имущество адвокатов, врачей и актеров. И если с первыми двумя профессиями понятно – защищают и лечат, – то неистребимая тяга всех одесситов (в том числе и с криминальными наклонностями) к искусству просто поражает.

Легенда легендой, но, к моему изумлению, подтвержденная документально. В одну из холодных зим, перелистывая в Горьковке (она же Публичка) старые газеты, я прочла небольшую заметку «Воровская этика». Январь 1918. В Петрограде уже революция, до Одессы она пока не дошла. Но молодая милиция, как и старая полиция, с бандитами справиться не может. Ранним утром врач шел на работу – в лазарет одесской тюрьмы. Шел, естественно, пешком, через тогда дикое и пустынное Куликово поле. Одет был по-зимнему – в теплую бобровую шубу и шапку, нес чемоданчик с инструментами. К нему подошли трое молодых людей и вежливо предложили отдать им шубу, шапку и чемоданчик. Врач взмолился: «Оставьте инструменты, я же врач, вам они не пригодятся». Воры проверили его документы, вернули шубу, нахлобучили шапку и так же вежливо предложили проводить до места работы. Отстали они за квартал от тюрьмы, все так же вежливо распрощавшись. Врач в тюремном лазарете рассказал об этом происшествии своему больному, старому вору. Тот заявил с достоинством: «Шо вы хотите! У нас тоже есть своя этика!».

Итак, документально подтверждено – врачей не грабили. А вот с поэтами и актерами все же было сложнее.

Еще задолго до революции ограбили Петра Сторицына, поэта, издателя знаменитых поэтических одесских альманахов. Сторицын был известен тем, что стихи мог писать по любому поводу. И вот после серьезной заметки «Одесских новостей»: «В ночь на 9 августа воры проникли через окно с улицы в квартиру Петра Сторицына <...> похитив при этом весь гардероб, бумажник с деньгами, серебряные часы, всего на сумму около 1000 руб.» – газета помещает длинный горестный монолог ограбленного поэта:

О, граждане воры! Верните
Часы мне и паспорт скорей,
Ведь вас в «Новостях» под защиту
Поэзии взял я своей.
На что вам мой паспорт, скажите,
Ответьте хотя бы письмом,
Затем как друзья приходите
Пить чай в мой безрадостный дом.

А другой одесский поэт, Вениамин Бабаджан, в стихах описывает нелегкую воровскую долю:

Два вора, встретясь в переулке,
Пеняли на голодный день:
«Совсем не ходят на прогулки –
Боятся, что ли, или лень.
Опять же – скверная погода,
И все засели по домам.
Плохое осень время года,
Совсем наживы нет ворам».
Бог все слышал, и жалко стало
Ему заблудших малых сих.
Луна на небе просияла,
И ветер в улицах затих.
И вот на площади пустынной
При свете трепетной луны

Забрали воры два с полтиной
У подполковничьей жены.
Так Бог печется равномерно
О счастье стада своего.
И то, что зло для одного,
Для двух других совсем не скверно.

Что примечательно и символично – стихотворение датировано 7 ноября 1917. В этот день в Петрограде произошла революция.

Революция, как известно, смещает нормы этики, даже воровской. И уже в феврале 1918 одесские артисты горестно взывают к совести представителей уголовного мира:

«К товарищам ворам и налетчикам! В субботу, 23 февраля, в зале Гарнизонного собрания мы, безработные артисты при союзе безработной трудовой интеллигенции, устраиваем спектакль-кабаре. Не имея возможности угрожать вам репрессиями, но желая предоставить гражданам безопасное посещение нашего спектакля, взываем к вашей чести и просим принять меры, дабы эта ночь прошла без эксцессов.

Группа безработных артистов».

Трудно сказать, возымело ли это действие, скорее уж могло повлиять похожее обращение от матросов зловещего крейсера «Алмаз». Они тоже проводили благотворительный спектакль в пользу раненых, но как раз репрессиями тем, кто посмеет ограбить актеров и зрителей, и угрожали.

А между тем актеров грабили, невзирая на популярность. Говорят, одесские воры рыдали над песнями Вертинского. И что же? В октябре 1918 журнал «Фигаро» сообщает: «Во вторник, 29 сего месяца, из номера «Большой Московской гостиницы», занимаемой А.Н. Вертинским, была совершена кража гардероба артиста на сумму в 20 тысяч рублей».

Через пару дней разрекламированный ранее концерт состоялся, но в чем же пел бедный Вертинский? Старые одесситы рассказывали, что люди Мишки Япончика строго наказывали залетных бандитов, порочащих честное имя одесских налетчиков, но Вертинскому, похоже, ничего не вернули. Надо отметить, что через

год бесстрашный Вертинский вновь появился в Одессе. И сбор от первого концерта достиг 70 тысяч. Так что в итоге он все же оказался в выигрыше.

Уже в те годы стало понятно, что легкой жизни у сатирика быть не может. Все знают, хоть по названию, песенку «Как на Дерibasовской угол Ришельевской». Казалось бы, угол этот выбран для смеха: центр города же – ну что здесь может случиться плохого?

Но вот подлинное происшествие 1919 года: «У юмориста Александра Франка на днях в центре города (Дерibasовская угол Ришельевской) тремя злоумышленниками было снято пальто». Днем или ночью – в заметке не уточнялось.

Вообще, у респектабельной Ришельевской сложилась в те годы криминальная репутация. Александр Козачинский позднее написал в «Зеленом фургоне»: «...гимназистка седьмого класса Дуська Верцинская, известная под кличкой Дуська-Жарь, совершила за вечер восемнадцать налетов на одной Ришельевской улице и только по четной ее стороне».

Дамы, юность которых пришлось на эти годы, вспоминали позднее: «Идешь в гости или на вечер поэтов – надо взять с собой и платочек, и шляпку. Шляпку на Дерibasовской надевали, а на Старопортофранковской меняли ее на платочек. Это чтоб везде быть своей, чтоб не раздели».

А вот еще одно свидетельство очевидца. Юная Нина Гернет занималась «сокольской гимнастикой». Дорога на занятия была опасной: «Темно. Очень темно. Тихо. Похожие на призрачные тени – порождение ночи, бесшумно бродят угрюмые псы. Спаянными кучками деловито проходят сниматели пальто, изредка дружески перестреливаясь со снимателями туфель и полуботинок. Из полуоткрытых черных ворот кое-где выглядывает пара наполненных почти мистическим страхом глаз, а старая калитка ритмично стучит в такт держащейся за нее дрожащей руке. Это – домовая охрана. <...> Сниматели всех частей одежды объединенно бранят трусливых обывателей и выстреливают свои инициалы в стенах самых высоких домов. Псы злорадно ухмыляются, радуясь, что у них нет ботинок, а мы молча выбираем самые неосвященные улицы».

Впрочем, похоже, у «снимателей» тоже была определенная этика. Константин Паустовский в повести «Начало неведомого века» описывал историю, которая случилась в конце 1919 с ним и Яшей Лифшицем.

«Мы шли с «Яшей на колесах» на Черноморскую, выбирая тихие переулки, чтобы поменьше встречаться с патрулями. В одном из переулков из подъезда вышло два молодых человека в одинаковых жокейских кепках. Они остановились на тротуаре и закурили. Мы шли им навстречу, но молодые люди не двигались.

Казалось, они поджидали нас.

– Бандиты, – сказал я тихо Яше, но он только недоверчиво фыркнул и пробормотал:

– Глупости! Бандиты не работают в таких безлюдных переулках. Надо их проверить.

– Как?

– Подойти и заговорить с ними. И все будет ясно.

У Яши была житейская теория – всегда идти напролом, в лоб опасности. Он уверял, что благодаря этой теории счастливо избежал многих неприятностей.

– О чем же говорить? – спросил я с недоумением.

– Все равно. Это не имеет значения.

Яша быстро подошел к молодым людям и совершенно неожиданно спросил:

– Скажите, пожалуйста, как нам пройти на Черноморскую улицу?

Молодые люди очень вежливо начали объяснять Яше, как пройти на Черноморскую. Путь был сложный, и объясняли они долго, тем более что Яша все время их переспрашивал.

Яша поблагодарил молодых людей, и мы пошли дальше.

– Вот видите, – сказал с торжеством Яша. – Мой метод действует безошибочно.

Я согласился с этим, но в ту же минуту молодые люди окликнули нас. Мы остановились. Они подошли, и один из них сказал:

– Вы, конечно, знаете, что по пути на Черноморскую около Александровского парка со всех прохожих снимают пальто.

– Ну уж и со всех! – весело ответил Яша.

– Почти со всех, – поправился молодой человек и улыбнулся. – С вас пальто снимут. Это безусловно. Поэтому лучше снимите его

сами здесь. Вам же совершенно все равно, где вас разденут – в Александровском парке или в Канатном переулке. Как вы думаете?

– Да, пожалуй... – растерянно ответил Яша.

– Так вот, будьте настолько любезны.

Молодой человек вынул из рукава финку. Я еще не видел таких длинных, красивых и, очевидно, острых, как бритва, финок. Клинок финки висел в воздухе на уровне Яшиного живота.

– Если вас это не затруднит, – сказал молодой человек с финкой, – то выньте из кармана пальто все, что вам нужно, кроме денег. Так! Благодарю вас! Спокойной ночи. Нет, нет, не беспокойтесь, – обернулся он ко мне, – нам хватит и одного пальто. Жадность – мать всех пороков. Идите спокойно, но не оглядывайтесь. С оглядкой, знаете, ничего серьезного не добьетесь в жизни.

Мы ушли, даже не очень обескураженные этим случаем. Яша всю дорогу ждал, когда же и с меня снимут пальто, но этого не случилось. И Яша вдруг помрачнел и надулся на меня, будто я мог знать, почему сняли пальто только с него, или был наводчиком и работал «в доле» с бандитами.

Паустовский написал это в конце 1950-х, по памяти.

А Надежда Тэффи описала одесский быт в конце 1920-х.: «Горожане все-таки вылезали по вечерам из своих нетопленых квартир. Уходили в клубы, в театры, поугагать друг друга страшными слухами. Для возвращения по домам собирались группами и приглашали охрану – человек пять студентов, вооруженных чем бог послал. Кольца засовывали за щеку, часы – в башмак. Помогало мало.

– Он, подлец, слушает, где тикает, – туда и лезет. Я и говорю – это сердце от страха... Да разве они честному человеку поверят!»

И Паустовский, и Тэффи вспоминали. А вот одесский юморист, укрывшийся за псевдонимом Фернандо, описывал все в 1919 по горячим следам:

Хоть средь людного проспекта,
Невзирая ни на что
Вас порою «в сером некто»
Приглашает снять пальто.

Но грабеж, пальба и стычка
Одесситу – трын-трава...

Одесские газеты тех лет пестрят объявлениями примерно такого содержания: «Прошу (Умоляю) вора (лицо, укравшее у меня), похитившего у меня бумажник с деньгами и документами, деньги оставить себе, а документы вернуть мне».

Впрочем, воры были разные. Об одном, оставшемся в строчке стихов Багрицкого «Там банк Мозжухину срывает // Фартовый парень – Ленька Грек», упоминала Зинаида Шишова в 1935: «Толстый и легкий Ленька Грек».

Валентин Катаев в 1985, в самой загадочной своей повести «Спящий», описывает неудачливого налетчика, дружившего с одесскими поэтами:

«Опустевшая привокзальная площадь каким-то образом превратилась в игорный дом, куда вдруг ворвался налетчик с наганом в руке. Это был Ленька Грек. В его полудетском лице с короткими черными бровями, в его средиземноморской улыбке было несомненно нечто греческое. В порту его называли «грек Пиндос на паре колес».

Короткие кривоватые ноги в задрипанных брюках, кепка блином, неопределенного цвета куртка, застиранная тельняшка.

Его театральное появление в дверях с красными плюшевыми портьерами, обшитыми золотым позументом с кистями, придававшими залу оттенок если не кабаре, то, во всяком случае, публичного дома средней руки, вызвало оцепенение. Ленька Грек почему-то считал, что большинство игроков иностранцы, главным образом французы. Поэтому он заранее приготовил французскую фразу, которой его научил на яхте некто Манфред, образованный молодой человек. Фраза эта должна была представлять нечто вроде русского «соблюдайте спокойствие». Эта фраза, произнесенная Ленькой Греком якобы по-французски, но с ужасающим черноморским акцентом, ошеломила не только всех присутствующих, но даже и самого налетчика, пораженного собственной наглостью, когда он с усилием выдавил из себя хриплым голосом: «Суаз транкиль!». Сначала все окаменели. Но потом что-то произошло непредвиденное. Один из игроков рассмеялся, и налет не получился.

Не успел Ленька Грек подойти к зеленому столу и хапнуть кучку золотых десятков царской чеканки, как кто-то неожиданно вырвал у него из рук наган и дал ему крепко по шее.

Это было естественно: все поняли, что налетчик одиночка, работает без товарищей, и справиться с ним нетрудно.

– Что ж вы деретесь! – плаксиво, с обидой в голосе проныл Ленька Грек и, вырвавшись из чьих-то рук в твердых крахмальных манжетах с золотыми запонками, кинулся вперед, опрокинул стол и, отбиваясь руками и ногами, бросился вон из зала. И как раз вовремя: уже послышались свистки Державной Варты.

Сильно потрепанный, он выскочил на улицу, юркнул в переулок, добрался через несколько проходных дворов до городского сквера, пустынного в этот ночной час, и, как ящерица, скрылся в щели между стеной оперного театра и кафе-кондитерской, известной своими меренгами со взбитыми сливками и пуншем глясе с настоящим ямайским ромом «Голова негра».

Но вернемся к актерам и зрителям. В 1919 Борис Флит (он же Незнакомец) иронически описывает тяжелую жизнь публики в фельетоне «Одесские театралы»:

«– Почему, – спросил я одесского интеллигента, – вы не ходите в театр? Неужели вы забыли завет Белинского: «Идите в театр, умрите в театре?»

– Какого Белинского? – удивился он. – Ах да, в Одессе улица есть. Знаменитый трагик? Ну, знаете ли, теперь надо это изречение изменить: «Идите в театр, умрите после театра».

– Это почему?

– А попробуйте не отдать добровольно вашего пальто. Останетесь в живых? Нет уж, не пойду я лучше в театр... О пьесе я прочту рецензию и всегда смогу сказать, что я был в театре...

* * *

Одесская театралка объяснила мне, почему она не ходит теперь в театр:

– Нельзя раздеваться! Холодно! Ну как же я надену платье с большим декольте? Бриллианты мне мой Сенечка тоже не разрешает по вечерам надевать. Он говорит – не для того я трудился и «делал» кофе, перец, изюм, чирсы, дрова, чтобы ты возвращалась из театра...

Так он таки прав, если не хочет, чтобы я ездила в театр. На днях мадам Цыпоркес возвращалась из театра, так у нее уши с серьгами вырвали. Ушей, конечно, не жалко, но серьги в 3 квадрата. А квадрат теперь 40 тысяч.

Я очень люблю театр, но подумайте сами...

Театралка упорхнула, мило сделав мне ручкой.

Бедные одесские театры!..»

Прошло три года. И вот уже в апреле 1922 Л.М. Чацкий описывает окончательное падение воровских традиций.

«Бандиты... театралы

Артист госдрамы т. Ардашев, возвращаясь несколько недель тому назад после спектакля, был ночью на улице Новосельской остановлен налетчиками, которые предложили артисту снять пальто.

Желая показать, что они имеют дело не с «жирным гусем», т. Ардашев назвал себя.

Произошел любопытный диалог:

– Ардаров?

– Мы вас хорошо знаем.

– Каждую неделю смотрим вас в театре. Но нам сейчас не до театра...

И, отобрав у актера летнее пальто и фрачные брюки, «меценаты» милостиво отпустили т. Ардарова.

Думаем, что артист и не мечтал о столь рьяных поклонниках своего таланта».

О времена, о нравы...



Евгений Деменок

«Вот это настоящее, брат Мюллер!»

Немного о гимнастике и принципах

«Вымойте ваши руки, прикасавшиеся к грязной слизи книг, написанных этими бесчисленными Леонидами Андреевыми, – писали в своем манифесте «Пощечина общественному вкусу» Бурлюк, Маяковский, Крученых и Хлебников. И продолжали: – Всем этим Максимумам Горьким, Куприным, Блокам, Сологубам, Ремизовым, Аверченкам, Черным, Кузьминым, Буниным и проч., и проч. нужна лишь дача на реке. Таковую награду дает судьба портным. С высоты небоскребов мызираем на их ничтожество!..»

Через два года после выхода манифеста, в январе 1914-го, великолепная троица – Давид Давидович Бурлюк, Владимир Владимирович Маяковский и Василий Васильевич Каменский – в рамках турне кубофутуристов дали два концерта в Одессе. Вспоминая их, Каменский писал: «Но едва коснулся литературной богадельни «седых творцов, кумиров и жрецов», как в партере зашикали, загалдели, а на галерке захлопали. Замечательно, что каждый город защищает какого-нибудь одного из писателей, которого никак трогать нельзя. В Одессе таким оказался Леонид Андреев. Можно всех святых свалить с «парохода современности», но Леонида Андреева не тронь. Я было «тронул» Андреева за убийственный пессимизм, но меня затюкали».

Разумеется, все это было бравадой. Спустя годы Бурлюк вспоминал мельчайшие детали своего знакомства с Сологубом, Горькому посвятил поэму, а Каменский с восторгом писал о том, каким простым был в общении с ним, юным редактором журнала «Весна», сам (!) Леонид Андреев.

Да ведь и у самих футуристов дружба заладилась не сразу.

«Какой-то нечесаный, невытый, с эффектным красивым лицом апаша, верзила преследовал меня своими шутками и остроумиями «как кубиста», – вспоминал Бурлюк о первых встречах с Маяковским в стенах Московского училище живописи, ваяния и зодчества. – Дошло даже до того, что я готов был перейти к кулачному бою, тем более что тогда я, увлекаясь атлетикой и системой Мюллера, имел некоторые шансы во встрече с голенастым, огромным юношей в пыльной бархатной блузе с пылающими, насмешливыми черными глазами». К счастью, до боя дело не дошло, напротив, они немедленно сдружились, но упоминание системы Мюллера «рыхлым» «женоподобным» Бурлюком, которого сложно заподозрить в любви к физическим упражнениям, символично.

Помните у Маяковского: «Мужчина по Мюллеру мельницей машется»?

Это все о нем, Йергене Петере Мюллере. Увлечение его гимнастикой объединяло совершенных антагонистов. Упражнения из его системы были настолько популярны, что их выполняли даже в тюрьме.

Например, Владимир Дмитриевич Набоков, один из лидеров партии кадетов и отец великого писателя, после роспуска Думы и подписания Выборгского воззвания три месяца просидевший в «Крестах», делал их регулярно:

«Обед приносят между 12 и 12½. Я обедаю всегда с отличным аппетитом, затем пью чай, немного фланирую. В 1½ сажусь писать и пишу, с небольшими перерывами и одним в двадцать минут (для второй прогулки) – до четырех. В четыре бросаю писать и совершенно раздеваюсь, проделываю восемнадцать мюллеровских упражнений, с обливанием в резиновой ванночке и растиранием. В 4 – принимаюсь за серьезное чтение... При таком распределении дня дело идет очень скоро и не остается места для скуки и тоски».

В «Крестах» Набоков сидел в 1908 году. В том же году вышла потрясшая многих повесть Леонида Андреева «Рассказ о семи повешенных». Один из героев повести, Сергей Головин, чьим прототипом стал эсер, член Северного боевого летучего отряда Сергей Баранов, делает гимнастику Мюллера даже перед казнью:

«После ареста он было загрустил: сделано нехорошо, провалились, но подумал:

«Есть теперь другое, что нужно сделать хорошо, – умереть? – и развеселился. И как ни странно, со второго же утра в крепости начал заниматься гимнастикой по необыкновенно рациональной системе какого-то немца Мюллера, которой увлекался: разделся голый, и, к тревожному удивлению наблюдавшего часового, аккуратно проделал все предписанные восемнадцать упражнений. И то, что часовой наблюдал и, видимо, удивлялся, было ему приятно как пропагандисту мюллеровской системы; и хотя знал, что ответа не получит, все же сказал торчащему в окошечке глазу:

– Хорошо, брат, укрепляет. Вот бы у вас в полку ввести что надо, – крикнул он убеждающе и кротко, чтобы не испугать, не подозревая, что солдат считает его просто сумасшедшим».

Культ здоровья и заботы о теле будет существовать столько, сколько существует человечество. Очередная волна массового увлечения физической культурой началась сто лет назад. Именно тогда получили широкое распространение несколько систем упражнений, которые мог выполнять практически каждый. Все они делились на две большие группы – упражнения с отягощениями и без них.

В первой группе несомненным лидером был родившийся в Кенигсберге Евгений Сандов, основоположник бодибилдинга и отец массового атлетизма. Евгений Сандов – это псевдоним, Сандов – девичья фамилия русской матери, настоящее его имя – Фридрих Мюллер. Студент-медик, ставший цирковым атлетом, борцом и сильнейшим человеком мира, стал еще и автором собственной системы упражнений, написавшим пять книг, создавшим сеть салонов и студий физической культуры и тренировавшим даже английского короля Георга V. А еще в 1901 году Сандов организовал в Лондоне первый в истории конкурс красоты атлетического сложения, судьями на котором были кроме него сэр Артур Конан-Дойль и скульптор и спортсмен сэр Чарльз Беннет Лоуз-Виттевронге. И вот уже много лет победители конкурса «Мистер Олимпия» получают в награду статуэтку, изображающую Сандова со штангой в руке.

Довольно слабый в детстве, Сандов в результате упорных занятий добился ошеломляющих результатов:

– в течение нескольких секунд удерживал на вытянутых вперед руках гири по 27 килограммов каждая;

– опираясь пятками на один стул, а затылком на другой, держал на груди двух человек, а в вытянутой руке – 22-килограммовую гирию;

– держа в каждой руке по 24-килограммовой гире, становился на носовой платок, затем прыгал и делал сальто назад, точно приземляясь туда же.

Или вот еще – ему на грудь устанавливали платформу, и он держал на ней трех лошадей. В другом номере на этой платформе находились рояль и оркестр из восьми человек. В 1894 году Сандов выжал одной рукой штангу с огромными полыми шарами, внутри каждого из которых сидел человек. А в 1895 году Сандов выполнил сложнейший трюк: поднял и выжал правой рукой штангу весом 115 килограммов и, переложив ее в левую руку, присел, и лег на спину, затем, не опуская штангу, встал.

Система тренировок с утяжелениями – гантелями, гириями, штангами – имела и имеет множество сторонников. Увы, собственная сила сыграла с Евгением Сандовым злую шутку. Когда в 1925 году его машина попала в кювет, друзья предложили ему показать молодецкую удаль и вытащить ее одной рукой. В результате сильнейший человек мира умер от кровоизлияния в мозг.

Во второй группе было несколько ярчайших представителей. Например, родившийся в Вильно и умерший под Лондоном Александр Засс, известный под псевдонимом Железный Самсон, тоже творил чудеса. В одном из своих коронных номеров он разрывал толстую железную цепь одним усилием мышц грудной клетки, расширяющихся при вдохе. Ладонью забивал гвозди в толстую деревянную доску. Поднимаясь под купол цирка, зубами держал канат, на котором держался рояль, на котором играла его возлюбленная, воздушная акробатка. Удерживал на плечах платформу, на которой стояли пятнадцать человек.

Засс, переписывавшийся и бравший заочные уроки у Сандова, вскоре понял, что одни лишь занятия с гириями не приносят ожидаемого результата, и создал свою систему изометрических

упражнений, направленную на развитие сухожилий. Подобная изометрическая система вьям, использующая только собственное тело, была разработана несколько тысяч лет назад индийскими йогами.

Еще дальше в создании собственных систем пошли чех Иосиф Прошек и киевский врач, тренер, видный масон, председатель оргкомитета прошедшей в 1913 году в Киеве первой Всероссийской спортивной олимпиады Александр Анохин. «Волевая гимнастика» Анохина вдохновляла многих, в том числе и великого тяжелоатлета Юрия Власова, писавшего о нем в книге «Справедливость силы» так:

«Анохина, несомненно, можно отнести к строителям русского спорта. Невозможно счесть его очерки, заметки в разных спортивных журналах, каждая – самостоятельный взгляд на судьбу того или иного атлета, а также на назначение физической культуры и спорта.

<...> Его работа «Волевая гимнастика. Психофизические движения», напечатанная в 1909 году, выдерживает шестнадцать изданий! Из них восемь – посмертных, последнее – в 1930 году».

С этой самой книгой вышел конфуз. Когда в 1915 году Санкт-Петербурге была наконец опубликована книга «Человек. Комнатная гимнастика по новому методу Прошека», читатели с удивлением прочли в предисловии: «Один русский, по имени Анохин, позволил себе дословно перевести мою книгу, сфотографировать иллюстрации, дать брошюре заглавие: «Система Анохина» – и «его» система была готова. Этот Анохин имел даже дерзость перевести предисловие проф. Гюппе, заменив в нем только мое имя своим собственным».

И действительно, если взять в руки две книги, Прошека и Анохина, сразу же видно, что все иллюстрации в книге Анохина – это грубо исправленные фотографии Прошека.

Однако интересно не это. Интересно то, что если Сандов ориентировался на древнегреческие каноны красоты и стремился воссоздать античный идеал гармонично развитого человека, то «волевая гимнастика», как и изометрия Засса, берет свое начало в упражнениях йоги, в первую очередь – системе вьям.

Но безусловным лидером, самым известным атлетом и автором собственной системы был датчанин Йерген Петер Мюллер. Мюллер был горячим противником системы своего однофамильца и отрицал необходимость упражнений с гантелями и штангами. Нарращивание мышечной массы не было его целью, основной упор он делал на развитие красоты и гибкости тела, усовершенствование дыхания и общее оздоровление. Первым он вводит в свой комплекс и элементы самомассажа. Сам он в полной мере соответствовал тому, к чему призывал. В предисловии к русскому переводу «Моей системы», своей первой и самой популярной книги, пишется, что Мюллер получил 132 приза в спортивных соревнованиях, причем в совершенно разных дисциплинах – беге, ходьбе, катании на коньках, гребле, плавании, прыжках в воду, метании молота, диска и копья, греко-римской борьбе, поднятии тяжестей и так далее, и так далее.

«Если выдержавших курс по упражнению тела спрашивают: «На что вы способны?» – то речь идет о спорте. Если же спрашивают: «Какими вы сделали?» – то подразумевается гимнастика. Рациональная гимнастика избирает такие упражнения, которые укрепляют и развивают в индивиде именно те органы тела, которые больше всего нуждаются в этом», – писал он.

«Моя система» была отпечатана общим тиражом в два миллиона экземпляров на двадцати четырех языках. Она стала самой успешной книгой по физической культуре, изданной в начале двадцатого века в Великобритании. Но эта книга не была у Мюллера единственной. Близкий к движению натуралистов, он также издает «Мою систему под открытым небом», затем «Мою систему для женщин» и «Мою систему для детей». Чрезвычайно популярной была и «Моя система дыхательных упражнений». Со временем Мюллер упростил свою систему, сократив время занятий с пятнадцати минут до пяти, что сделало возможным использовать ее даже на переменах между школьными занятиями либо во время короткого отдыха на работе. Все его рекомендации воспринимались широкой публикой на ура. И не только публикой – Мюллер очень гордился тем, что врачи признали его систему и даже рекомендовали ее пациентам.

Усилия его были замечены и отмечены. В 1919 году датский король Кристиан X наградил Мюллера орденом Даннеброг – вторым по значимости рыцарским орденом Дании. Так же, как и Сандов, он был запечатлен в скульптуре – его фигуры, отлитые в 1905 году Расмусом Бегебьергом, были установлены перед гребным клубом в Копенгагене и в городе Ньюкебинге, где Мюллер вырос.

Простота и эффективность системы Мюллера сделала ее привлекательной для миллионов последователей по всему миру. Его книги выходят по настоящую пору. В России, например, смена строя никак не отразилась на их популярности – они издавались и в 1920-х, и в страшных 1930-х. «Каждое утро я делал гимнастику по системе Анохина и холодное обтирание по системе Мюллера», – вспоминал Саня Григорьев, главный герой «Двух капитанов» Каверина, романа, начатого в 1938 году. Да что там Каверин? В своей «Свадьбе на сто семьдесят человек» Михаил Жванецкий шутил: «Нас было шестеро на сорок один метр, и я был в очереди на квартиру первым. Первым! Так умер дедушка жены. Казалось бы? Человеку пришло время – кому какое дело? Он был таким здоровым. Он дышал по системе Мюллера. От его дыхания просыпался весь дом...»

Так что гимнастику Мюллера делали и в самое застойное время.

Кстати, именно в Одессе еще в 1861 году был организован первый в Российской империи гимнастический кружок – он появился на десять лет раньше, чем было создано первое в России официальное «Общество гимнастов». Тогда, в 1861-м, чиновники запретили регистрацию организации, но одесситов это не остановило, и в 1897 году в нашем городе было зарегистрировано «Общество содействия физическому развитию» – первое официальное гимнастическое общество на территории современной Украины.

Как и Сандов, Мюллер считал своим идеалом древнегреческий канон. «...какое великое и в то же время нежное и гармоническое уравновешенное физическое состояние и какой могущественный источник здоровья представляют Doryphoros и Aroxyomenos, и какая была нужна необыкновенно большая и сознательная работа, чтобы создать такие тела», – писал он.

И хотя целый ряд упражнений Мюллера (например, упражнения для шеи) подобны изометрическим йогическим упражнениям, в системе Мюллера, как, впрочем, и других описанных

выше системах, полностью отсутствует то, что в йоге считается базовым – моральные и этические принципы, изложенные в первой ступени йоги, яме. Слово «гармония», четырежды встречающееся в «Моей системе», относится только к гармонии тела.

Ведь здоровое тело нужно даже убийцам, не правда ли?

Безусловно, сложно ожидать откровений от брошюры, посвященной гимнастике, но это полностью соответствует греческому канону. «Хотя во всех архаических культурах и действует запрет убийства, а также прелюбодеяния и воровства, он касается исключительно «наших людей» или соплеменников, членов собственного племени или культуры, в то время как убить врага, наоборот, считается героическим поступком», – пишет чешский философ Ян Сокол.

По словам Демокрита, «так же, как обращаются с вражеским зверьем и змеями, так нужно и с людьми: по законам отцов, надо убивать врагов всегда, когда этому не препятствует закон». И даже в классический период античности такие убеждения не были чем-то необычным. Современник Платона, писатель и полководец Ксенофонт, в своих «Воспоминаниях о Сократе» писал: «Достоинство человека видишь в том, чтобы друзьям делать больше добра, а врагам больше зла».

В этот канон вполне укладывается поведение героев «Рассказа о семи повешенных». Они тоже старались сделать врагам как можно больше зла.

Мне законно возразят – но ведь в начале XX века этическая ниша давно уже регулировалась христианской моралью, и десять заповедей – как христианских, так и иудейских – вполне совпадают с йогическими ахимсой, сатьей, астеей...

Но в своей безудержной борьбе за придуманную ими самими справедливость революционеры не обращали и не обращают внимания на такие мелочи.

Главным героем «Рассказа о семи повешенных» был одессит, выпускник Ришельевской гимназии, получивший позже в Новороссийском университете золотую медаль за диссертационную работу «Сравнение способов определения яркости небесных светил», племянник великого физика Гамова и друг детства и однокашник Владимира Жаботинского, Всеволод Лебединцев.

Жаботинский не раз писал о нем – и в «Повести моих дней», и в романе «Пятеро». Приведу несколько цитат:

«Всеволод Лебединцев, тот самый мой русский друг, которого я упоминал на первых страницах, делил свое время и энтузиазм между тремя устремлениями: он изучал астрономию в университете; проводил свои вечера в итальянской опере и ухаживал за молодой певицей Армандой Делли-Абатти; а сверх того был активным членом партии эсэров. На мой вопрос, как все это совмещается в одной душе, он ответил: «Как ты не понимаешь, что все это одно и то же». Теперь мне этого не понять, но тогда это было мне понятно».

А вот фрагмент из «Пятеро»:

«В том году в Петербург на гастроли приехала Лина Кавальери; кто-то меня зазвал полюбоваться на знаменитую красавицу, не то в «Лакмэ», не то в «Таис». Впрочем, не кто-то, а старый друг, которого уже раза два я в этом рассказе поминал, не называя; и теперь не хочется назвать. Это он мне когда-то сказал, что кургузые «дрипки», подруги революционных экстернов 1902 года, были переодетые дочери библейской Юдифи; и это он, через год или меньше после того спектакля с Линой Кавальери, погиб у царя на виселице под Сестрорецком. Теперь он жил в столице инкогнито: коренной одессит, мой соученик по гимназии, он выдавал себя за итальянца, корреспондента консервативной римской газеты, не знающего по-русски ни слова; говорил по-итальянски, как флорентиец, по-французски с безукоризненно подделанным акцентом итальянца, завивал и фабрил усы, носил котелок и булавку с цацкой в галстухе, – вообще играл свою комедию безошибочно. Когда мы в первый раз где-то встретились, я, просидевший с ним годы на одной скамье (да и после того мы часто встречались, еще недавно), просто не узнал его и даже не заподозрил: так он точно контролировал свою внешность, интонацию, жесты. Он сам мне открылся – ему по одному делу понадобилась моя помощь за границей; но и меня так захватила и дисциплинировала его выдержка, что даже наедине я с ним никогда не заговаривал по-русски. Он был большой любитель оперы и большой приверженец Лины Кавальери; а кроме того – объяснил он мне, даже бровью не моргнув – «ведь она моя соотечественница».

Между двумя описываемыми эпизодами в жизни Лебединцева произошло многое – и работа в Пулковской обсерватории, и попытка утопиться в Тибре. Накануне попытки самоубийства он написал предсмертную записку, в которой были такие слова: «Я никогда не переживал таких дивных минут. Сознание, что через каких-нибудь 3-4 часа меня больше не будет здесь, среди людей, что не буду я больше невольным актером в пошлой комедии – человеческой жизни, – дало мне столько счастья, как ничто в жизни. Теперь люди не внушают мне больше отвращения, ненависти: напротив, во мне проснулось другое чувство, – самое обидное, оскорбительное чувство какой-то жалости, почти сострадания к этим червям, ползающим по земному шару, страдающим зачем-то и лгущим, лгущим вечно <...> До сих пор я тоже лгал, лгал всем, лгал самому себе и иногда даже кончал тем, что верил сам в свою ложь. Но теперь я не могу и не хочу этого больше. Хочу быть сам собой и, если в этом мое сумасшествие, я горжусь этим, потому что в моих глазах это поднимает меня над всеми и заставляет уважать самого себя...»

Утопиться не удалось, и в Россию Лебединцев вернулся как итальянец Марио Кальвино, и с твердым намерением бороться за освобождение народа (хотя, спрашивается, зачем освобождать этих вечно лгущих червей?). А как проще всего вести себя, чтобы «подняться над всеми»? Конечно, убивать недостойных. Чем он немедленно и занялся, возглавив после ареста Альберта Трауберга «Летучий боевой отряд Северной области партии социалистов-революционеров».

В очерке «Всева» Жаботинский описывает их встречу уже в Петербурге, когда бегавших по столу тараканов Лебединцев не убивает, а смахивает метелочкой: «За что их отравлять? Мы друг другу не мешаем». При этом держит дома динамит, чтобы взорвать весь дом, если за ним придет полиция.

– А соседи? Ведь среди них – женщины, дети... – спрашивает его Жаботинский.

– Не сентиментальничай. Одно из двух: нужное дело революции или нет? Если нужное, то не считай букашек, даже если они двуногие, – отвечает ему Лебединцев.

Он действительно пытался взорвать себя и «всю улицу» во время покушения на министра юстиции Ивана Щегловитова,

но, к счастью, за несколько секунд до этого был обезврежен. После неудачной попытки покушения девять членов Северного летучего боевого отряда были арестованы. Семеро из задержанных во главе с Лебединцевым были приговорены к смертной казни через повешение. 17 февраля 1908 года приговор был приведен в исполнение. Произошло это в Лисьем Носу, тогда дачном поселке, сейчас – районе Санкт-Петербурга.

Собственно, приготовлениям каждого из них к смерти и посвящена повесть Андреева.

Как и Жаботинский, Андреев симпатизирует Лебединцеву – он вывел его в повести под именем Вернера как героя и стойка. Скорее всего, потому что был с ним хорошо знаком – Лебединцев занимался с его женой итальянским языком.

Хоть мы и родились с Лебединцевым в один день, никаких чувств, кроме презрения, он у меня не вызывает.

Самым симпатичным и человечным вышел у Андреева Сергей Головин, «крепкий, здоровый, веселый юноша, одаренный той спокойной и ясной жизнерадостностью, при которой всякая дурная, вредная для жизни мысль или чувство быстро и бесследно исчезают в организме».

Здоровый организм требовал своего – и даже перед лицом неминуемой смерти, делающей все бессмысленным, он продолжает упражняться:

«Вот тебе и Мюллер! – вдруг громко, с чрезвычайной убедительностью произнес он и качнул головою. И с тем неожиданным переломом в чувстве, на который так способна человеческая душа, весело и искренно захохотал. – Ах ты, Мюллер! Ах ты, мой милый Мюллер! Ах ты, мой распрекрасный немец! И все-таки – ты прав, Мюллер, а я, брат Мюллер, осёл.

Быстро несколько раз прошелся по камере и к новому, величайшему удивлению наблюдавшего в глазок солдата – быстро разделся догола и весело, с крайней старательностью проделал все восемнадцать упражнений; вытягивал и растягивал свое молодое, несколько похudevшее тело, приседал, вдыхал и выдыхал воздух, становясь на носки, выбрасывал ноги и руки. И после каждого упражнения говорил с удовольствием:

– Вот это так! Вот это настоящее, брат Мюллер!

Щеки его покраснелись, из пор выступили капельки горячего, приятного пота, и сердце стучало крепко и ровно.

– Дело в том, Мюллер, – рассуждал Сергей, выпячивая грудь так, что ясно обрисовались ребра под тонкой натянутой кожей, – дело в том, Мюллер, что есть еще девятнадцатое упражнение – подвешивание за шею в неподвижном положении. И это называется казнь. Понимаешь, Мюллер? Берут живого человека, скажем – Сергея Головина, пеленают его, как куклу, и вешают за шею, пока не умрет. Глупо это, Мюллер, но ничего не поделаешь – приходится».

За двадцать восемь лет до казни Лебединцева, Баранова и других террористов всего в двадцати километрах от Лисьего Носа, на левом фасаде Иоанновского рavelина Петропавловской крепости был повешен мой двоюродный прапрадедушка, член Исполнительного комитета «Народной воли» Александр Александрович Квятковский. Он был убежден в том, что только террор, главной мишенью которого был Александр II, приведет в итоге российский народ к счастью и благоденствию.

Эти дикие убеждения вызывали горячее одобрение в среде тогдашней интеллигенции.

«Процесс шестнадцати», первый судебный процесс над членами «Народной воли», произвел тогда невероятное впечатление на всю Россию – о нем писал даже Достоевский. И вторая жена, и сын Александра Александровича, моего самого знаменитого родственника, были вовлечены в революционную деятельность – София Андреевна провела много лет в ссылке и на каторге, Александр Александрович-младший был членом ЦК РСДРП, близким товарищем Красина и Рыкова и возглавлял легендарный лондонский «Аркос». Революция пожирает своих детей – в 1927-м он был отозван в Москву, арестован и осужден...

К счастью, не вся семья считала террор путем к светлому будущему. Мой прапрадедушка, брат Александра, Тихон Александрович, всю жизнь проработал земским, а затем городским врачом; их сестра, Юлия Александровна, хоть и была поначалу одним из организаторов первой в России типографии газеты «Искра», окончила врачебные курсы при Николаевском военном госпитале и всю жизнь проработала врачом. Пятьдесят восемь лет она

прожила в Кишиневе, где не только стала первой женщиной-врачом, но и организовала первую глазную клинику, а затем офтальмологическую лечебницу. Во время Первой мировой она заведовала глазным отделом хирургического отряда Всероссийского земского союза, была врачом во время битвы при Мэрэшешти. В октябре 1917 года Юлию Квятковскую избрали членом Кишиневской городской управы, а в годы Второй мировой она спасала еврейских детей, чьи родители стали узниками Кишиневского гетто.

Да и мне гораздо ближе ахимса, йогический принцип ненасилия и любви ко всему живому, когда в каждом живом существе видишь принципиально равное себе создание. Все есть Бог, и Бог есть во всем, и каждый может быть в любом образе в будущем перерождении.

А упражнения Мюллера я делаю теперь каждый день – спасибо Владимиру Дмитриевичу Набокову, чьи воспоминания я обнаружил совершенно случайно.



Леонид Нейман

Амазонка еврейского авангарда

Как писала Александра Шатских, одна из ведущих специалистов по русскому авангарду, в работе «Евреи в русском авангарде»: «В начале XX века Россия благодаря творчеству авангардистов выдвинулась в число стран, искусство которых определяло уровень мировой цивилизации. Среди новаторов были художники разных национальностей – культурная жизнь Российской империи вобрала в себя деятельность представителей многих народностей, населявших ее огромные территории. Славу русскому искусству ковали поляк Казимир Малевич, русские Василий Кандинский и Михаил Ларионов, итальянец Иван Пуни, украинцы Александра Экстер и Александр Архипенко, армянин Георгий Якулов, евреи Марк Шагал, Натан Альтман, Лазарь Лисицкий и другие. Тем не менее в отношении художников-авангардистов еврейского происхождения можно было говорить о специфических отличиях и особенностях, делающих правомочной тему «евреи в русском авангарде». Будучи полноправными участниками и творцами русского авангардного движения, многие художники-евреи, погруженные в проблемы национальной самоидентификации, углубленно занимались поисками путей развития новейшего еврейского искусства. Двудеинная природа этих мастеров давала себя знать на протяжении всей истории русского авангарда».

Русский авангард, как известно, был знаменит женщинами-творцами – так называемыми «амазонками авангарда»: Наталья Гончарова, Елена Гуро, Александра Экстер, Любовь Попова, Ольга Розанова не уступали в яркости и силе таланта коллегам-мужчинам. Среди новейших художников-евреев также обращало на себя

внимание активное появление женщин-художниц, происходивших, как правило, из просвещенных семей, живших в Петербурге, Москве, крупных провинциальных центрах российской черты оседлости – Киеве, Витебске, Харькове, Одессе. Скульпторы Элеонора Блох, Нина Нисс-Гольдман, Беатриса Сандомирская, живописцы Софья Дымшиц, Нина Коган, Соня Терк, Полина Хентова, Вера Шлезингер начинали свой творческий путь в конце 1900-х – начале 1910-х годов; Блох, Нисс-Гольдман, Сандомирская, Хентова, Шлезингер участвовали в выставках художников-евреев. Некоторые из вышеперечисленных художниц – кто раньше, кто позже – уехали из России и осели на Западе (Соня Терк прославилась под фамилией Делоне; произведения Хентовой и Шлезингер имели хорошую прессу). Другие работали в СССР; впоследствии, как и следовало ожидать, на творческих биографиях Софьи Дымшиц, Нины Коган, Нины Нисс-Гольдман, Беатрисы Сандомирской не могло не сказаться деформирующее влияние тоталитарного советского режима.

В Витебском Уновисе также было много женщин, и женщин талантливых; руководительницами мастерских были Вера Ермолаева и Нина Коган, а среди подмастерьев находились Хая Каган, Евгения Магарил, Фаня Бялостоцкая, Эмма Гурович, Елена Кабищер, Цивия Розенгольц и другие. По-разному сложились судьбы и преподавательниц, уроженок Петербурга, и учениц, происходивших из еврейских семей черты оседлости. Но в те годы большинство из них были восторженными адептами новых систем в искусстве – даже пятидесятилетняя Цивия Розенгольц с успехом писала кубофутуристические работы. Нина Коган в Витебске создала один из первых в мире перформансов; за отсутствием жанрового определения он был назван «супрематический балет». Малевич очень хвалил мощь и мастерство рисунков Эммы Гурович; ученики школы вспоминали о совершенно особом его отношении к Хае Каган, работы которой лидер Уновиса помещал рядом со своими в Музее современного искусства, находившемся в здании Витебского художественно-практического института.

Сегодня я хочу вспомнить имя одной почти забытой амазонки еврейского авангарда, Полины Хентовой. Имя Полины, или, как



Полина Хентова, неизвестная амазонка еврейского авангарда

ее называли, Поли Хентовой было мне известно давно. В моей коллекции уже были иллюстрированные Хентовой книги. Но прошлым летом ко мне попал оригинал одной из ее иллюстраций для книги «Толстой для детей», вышедшей сперва в Берлине

в 1921 на русском, а потом в 1926 в Вильно на идиш. Эта находка подогрела мой интерес к жизни и творчеству Полины Хентовой, к ее яркой, трагической и очень короткой судьбе.

Итак, Полина Хентова родилась в Витебске в середине 1890-х годов: точная дата ее рождения неизвестна, и разные источники трактуют ее по-разному. В некрологе художницы писатель и художник Сергей Шаршун называет годом рождения Хентовой 1896, однако достоверность этой информации ничем не подтверждается. Она родилась одной из десяти детей витебского торговца льном и спичечного фабриканта Абрама Моисеевича Хентова. Училась в гимназии. Увлекалась рисованием.

В юности брала уроки в студии художника Юдея Пэна. Того Юдея Пэна, который открыл в Витебске частную Школу рисования и живописи, существовавшую до 1919 года, – первое в России еврейское художественное училище, которое было преобразовано Марком Шагалом в Витебское художественное училище, существовавшее до 1941 года. Учениками Юдея Пэна были Марк Шагал, Лазарь Лисицкий,



Иллюстрация Полины Хентовой к «Толстому для детей»



Юдель Пэн (1854-1937). Автопортрет. 1922 г.

Оскар Мещанинов, Осип Цадкин, Соломон Юдовин, Давид Якерсон, Илья Чашник.

В дальнейшем Полина Хентова уехала в Брюссель, поступила в Королевскую академию художеств, по слухам, окончила ее с отличием. Работала в Мюнхене и Париже. Накануне Первой мировой войны вернулась в Россию, жила под Москвой.

В это время Полина Хентова входит в кружок еврейской национальной эстетики «Шомир», организованный в конце 1916 года с целью создания современного искусства, опирающегося на традиции еврейской художественной культуры. Основателем кружка был Яков Фабианович Каган-Шабшай – виднейший деятель Еврейского культурного возрождения, инженер, изобретатель, электротехник, который основал в Москве Электротехнический институт, впоследствии переустроенный в институт имени Баумана. Каган-Шабшай помогал еврейским художникам, был страстным меценатом и одним из первых покупателей картин Шагала. Он собрал огромную коллекцию работ еврейских художников, которая была частично передана в тридцатые годы в Музей еврейской пролетарской культуры имени Менделя Мойхер-Сфорима в Одессе.



Яков Фабианович Каган-Шабшай

Искусствовед Яков Брук, исследователь кружка «Шомир», писал: «Абрам Эфрос, один из основателей московского кружка еврейской национальной эстетики «Шомир», считал, что еврейские художники «хотят и могут быть евреями, не переставая быть детьми своего века. Нашего эстетического возрождения или не будет вовсе, или оно взойдет на тех двух корнях, на которых всходит все мировое искусство современности, – на модернизме и народном творчестве». Наряду с Абрамом Эфросом и Хентовой ключевыми фигурами «Шомира» являлись поэт Моисей Бродерзон, художник Лазарь Лисицкий, композитор Александр Крейн и другие. Кружок существовал до лета 1918 года. Лазарь (Эль) Лисицкий был активным членом этого объединения и безответно влюбился в Хентову.

Одним из важнейших, если не главным проектом этого общества было издание поэмы Мойше Бродерзона «Праздная беседа» (Sikhes Khulin), или «Пражская легенда». Лазарь Лисицкий стал создателем этого шедевра книжного искусства, изданного на деньги Якова Каган-Шабшая. Сюжет поэмы взят из средневековой еврейской пражской истории. «Праздная беседа» – это по-



Мойше Бродерзон и Лазарь Лисицкий. «Праздная беседа», или «Пражская легенда». 1917

уровень художественного языка достаточно умеренный. Это некий модерн, где, казалось бы, ничто не предвещает радикализации языка и не приближается к авангарду.

В этот период Хентова участвовала в выставках общества «Мир искусства» (к сожалению, я не нашел ее имени в каталогах выставки этого времени), Московского товарищества художников, и Выставках картин и скульптуры художников-евреев (Москва, 1917, 1918), на которых она показывала жанровые картины и портреты.

Единственный подлинно документированный автопортрет Полины Хентовой этого времени был репродуцирован в Харьковском журнале «Kunst-Ring» за 1917 год.

Летом 1918 года Хентова и Эль Лисицкий уезжают в Киев. Там они активно включаются в работу Художественной секции украинской «Культур-лиги», еврейского объединения, созданного в апреле 1918 г.

Исследователь «Культур-лиги», израильский искусствовед Гиллель Казовский пишет: «Культур-лига» была образована в 1917 году в Киеве разными еврейскими несионистскими партиями для развития идишской культуры. Благодаря удачному стечению обстоятельств на короткое время этой организации удалось сконцентрировать в своих руках колоссальные материальные средства и влияние, что давало возможность для широкой культурной деятельности. Они открывали школы, издательства, музеи, где выставлялись картины Брейгеля, еврейских прими-



П.А. Хентова. Автопортрет. 1917
Репродукция: «Kunst-Ring» № 1. Харьков, 1917

тивистов, Пикассо. В идеологии «Культур-лиги» подчеркивалось универсальное значение еврейства. Еврейство рассматривалось как некий авангард всего человечества, который может всех привести к светлому будущему. Эти же идеи, тот же пафос был свойственен художникам. Они говорили о том, как новая еврейская культура должна стать образцом, маяком для всего человечества (мессианский пафос был очень характерен для этого времени и для деятелей этого направления). Она должна быть результатом синтеза еврейской традиционной культуры и новейших достижений европейской модернистской культуры. Этничность если и оставалась, то в виде некоторых символов или общих принципов, которые извлекались из еврейской традиционной культуры.

В феврале 1919 года все художники, в частности, Тышлер, Рыбак, Чайков и Лисицкий, оказываются на творческой даче «Культур-лиги» в Пуще Водице под Киевом и занимаются изготовлением так называемых «авторских художественных книг». Каждый из них оформляет свою. По разным причинам был издан только новый вариант «Козочки» Лисицкого. Это были цветные литографии, где художественный язык и стилистика радикально отличаются от того, что было в Москве. Здесь форма кубизируется, подчеркиваются самостоятельные декоративные элементы, используется локальный цвет, форма уплощается и приближается к разного рода символам, эмблемам.

Лазарь Лисицкий посвящает свою работу Полине Хентовой. Впервые Лисицкий подписался как Эл(ь) в 1919 году, в посвящении Полине Хентовой на шмуцтитуле иллюстрированной им и изданной на идише книги «Хад Гадья» («Козочка»). Единственно известная работа Хентовой этого времени – это вышивка, сделанная по мотивам графических работ Лисицкого.

В 1919 году Полина Хентова приезжает к родственникам в Витебск. Вместе с Ильей



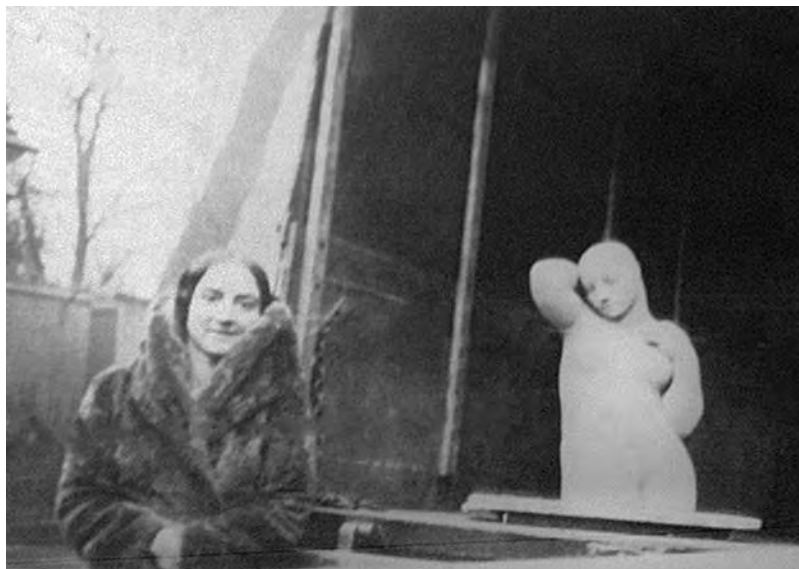
Полина Хентова и Лазарь Лисицкий. 1918/1919



Марк Шагал (в центре) и Эль Лисицкий (слева) среди преподавателей Витебского Народного художественного училища. Фотография 1919-1920

Чашником, будущим лидером супрематизма, Хентова начала посещать мастерскую Марка Шагала. Вслед за Хентовой в городе появился безответно в нее влюбленный Лазарь Лисицкий, которому Шагал предложил возглавить в училище мастерскую графики, печати и архитектуры. Чашник, уже делавший попытку связать свою судьбу с архитектурой, сразу же перешел в мастерскую к Лисицкому, но Лисицкого, получившего фундаментальное архитектурное образование в Германии, в это время больше интересовала не архитектура, а современное еврейское искусство.

Из этого периода известны две работы Полины Хентовой, опубликованные в труде Александра Кантседикаса «Ель Лисицкий. Еврейский период». Это «Женщина с ребенком» (местонахождение неизвестно) и скульптура Полины Хентовой «Обнаженная» – истинная жемчужина корпоративной коллекции Белгазпромбанка в Минске. Сохранилась фотография Полины Хентовой на фоне этой скульптуры.



Полина Хентова рядом со своей скульптурой «Обнаженная».

В 1919 (или 1920) году через Киев Хентова переехала в Германию, в Берлин. Лисицкий поехал за ней в Германию в 1921 году.

В Берлине они влились в художественную богему «Русского Берлина». Алексей Ремизов в книге «Мерлог», неопубликованных воспоминаниях об этом времени, вспоминает спор, разгоревшийся на одном собрании: «Большинство было на стороне Бахраха: Эренбург, Пуни, Богуславская, Хентова, Ходасевич, Берберова, Одоевцева и Лисицкий; за меня же кроме самого Шкловского Андрей Белый, Осоргины же и Зайцевы».

Интересные сведения о Хентовой и ее взаимоотношениях с Эль Лисицким приводит Николай Харджиев в своих воспоминаниях: «Уехал он (в Берлин) еще из-за того, что влюбился в художницу Хентову... Невероятно красивая женщина – ослепительная блондинка, еврейка без национальных признаков. Она была модница, прекрасно одевалась, вся в мехах, не знаю откуда брала средства. У меня есть фотография – она вся в мехах стоит около



Эль Лисицкий. Автопортрет. 1924



Ман Рэй. Полина Хентова. Париж. 1923

работы Лисицкого. Это было в Германии, примерно во время выпуска «Вещи». Она бы и сейчас была прелестна – такие белокурые локоны. Он был в нее безумно влюблен, а она к нему совершенно равнодушна, может быть, только ценила как художника. Он из-за нее стрелялся, прострелил себе легкое и потом из-за этого болел всю жизнь. Об этом никто не знает, мне это рассказала жена Лисицкого Софья Купперс-Лисицкая. Хентову трудно было представить женой Лисицкого, он маленький, а она шикарная женщина».

И чтобы окончательно закрыть тему безответных отношений Полины Хентовой и Лисицкого, приведу письмо Лазаря Лисицкого его другу Казимиру Малевичу от 6 сентября 1924 года из Швейцарии: «Дор<огой> К <азимир> С<еверинович>. Наконец мы опять в письменной связи. Если она была прервана, то причиной тому было не что иное, как мое внутреннее положение совершенно личного характера, ни с искусством, ни с моим отношением к чему-ли-

бо нас связующему не имевшее. Это меня на пару лет от очень многого оторвало. Теперь я опять возвращаюсь в жизнь, если уж болезнь не подведет».



В Германии Хентова занималась преподаванием, давала уроки живописи, исполняла заказные портреты и книжные иллюстрации. В 1921 году из Берлина впервые представила свои произведения на Осеннем салоне в Париже. Активно сотрудничала с берлинскими русскими эмигрантскими издательствами «Слово» и «Мысль», для которых оформила книги: «Русские детские сказки» в обработке Александра Афанасьева («Слово», 1921), «Гаврилиада» А.С. Пушкина, «Хоровод: 10 диалогов» Артура Шницлера («Мысль», 1922), произведения для детей Л.Н. Толстого и др.

Исследователь творчества раннего Лисицкого Александер Кантседикас считает, что в «Русских детских сказках» ощущается влияние Лисицкого. Я считаю эту книгу вершиной творчества Хентовой, хотя она и была сделана одной из первых. И что главное для нас, теперь мы можем познакомиться с замечательными рисунками и графикой Полины Хентовой.

В 1923 г. Полина Хентова поселилась в Париже, где исчезает Полина Хентова, и на сцену выходит Polya Chentoff. Первые годы она зарабатывала случайными уроками и изготовлением кукол, снималась в массовках в кино. В 1925 Polya Chentoff участвовала в выставке русских художников в кафе «La Rotonde». В 1926-1928 гг. выставляла живопись и графику в Осеннем салоне, стала членом салона. Благодаря своей красоте и таланту Полина Хентова стала находиться в центре внимания творческой богемы Парижа. Ее образ запечатлен на снимках таких известнейших фотографов XX века, как Ман Рэй и Андре Кертеш.

В Париже Хентова познакомилась с американскими и британскими ценителями искусства, которые помогли ей в получении заказов на иллюстрирование книг и в устройстве выставок в Париже, в английском книжном магазине на Монпарнасе и в Лондоне. Художница оформила ряд книг европейской литературы, ставших библиофильскими раритетами, среди них Мануэль Комрофф «Голос огня» (Manuel Komroff «The Voice of Fire». Engravings by Polia Chentoff), Paris: The Black Manikin, 1927; Arthur Schnitzler «Couples» Paris: The Black Manikin, 1927; R.C. Dunning «Windfalls» Paris: The Black Manikin, 1929.



Журнал «Этот квартал» (This Quarter).
Париж, июль-август-сентябрь 1930



Мануэль Комрофф. «Голос огня».
Гравюры Поли Хентовой.
Издательство Эдварда У. Титуса. Париж, 1927

Работа Хентовой впервые появляется в журнале «Этот квартал» («This Quarter»), Париж, июль-август-сентябрь 1929 г. Этот журнал – антология стихов, рассказов и рисунков будущих выдающихся авторов и художников. В этом номере публиковались Д.Г. Лоуренс, автор скандального романа «Любовник леди Чаттерлей», Ричард Олдингтон, Герберт Рид, поэт Эдвард Каммингс – и среди них Полина Хентова (на обложке – четвертая строка снизу) и др.

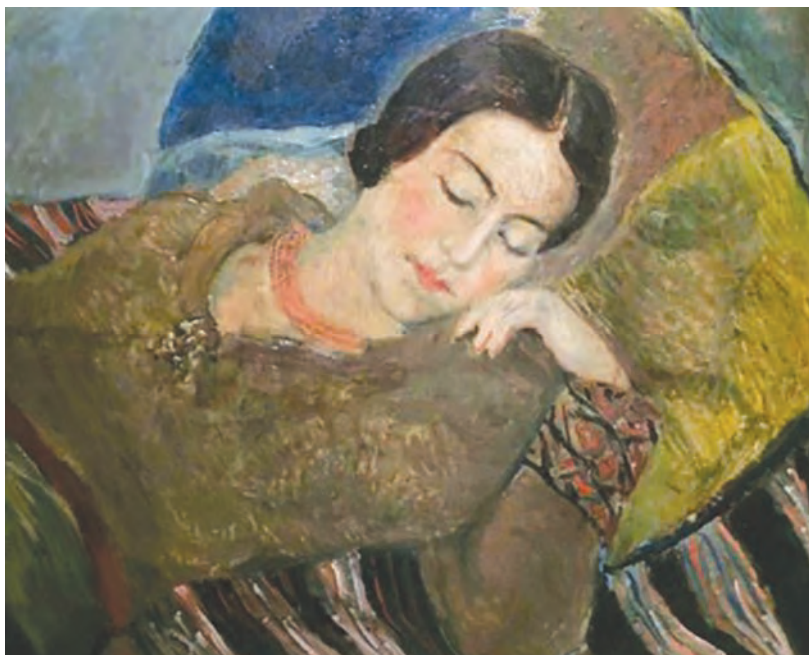
Летом 1930 года Полина Хентова участвует в новом номере журнала «Этот квартал». Этот номер почти полностью посвящен русской литературе, на обложке среди авторов – Максим Горький, Сергей Есенин, Илья Эренбург, Владимир Маяковский, Марк Шагал, Натан Альтман, Полина

Хентова, Николай Тихонов, Андрей Соболев, Михаил Зощенко, Ефим Зозуля, Михаил Пришвин, Борис Пастернак и Алексей Ремизов.

Здесь надо упомянуть, что все книги, иллюстрированные Полиной Хентовой в Париже, вышли в издательстве «The Black Manikin», основанном Эдвардом Титусом, евреем, рожденным в Польше под именем Артур Амейсен, – американским коллекционером, издателем и книжным дилером, переехавшим в Париж в 1912 году. Его женой была Елена Рубинштейн, королева косметики. На ее деньги Эдвард Титус сначала открывает знаменитый на Монпарнасе магазин редких книг «At the Sign of the Black Manikin», а в дальнейшем издательство «The Black Manikin Press». Самыми известными книгами этого издательства стали первое издание книги Д.Г. Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей», вышедшей из печати с большим скандалом, и автобиографии модели и музы Кики Монпарнаса, «Kiki's Memoirs» с предисловием Хемингуэя и фотографиями Ман Рэя. В 1929 году Эдвард Титус стал редактором небольшого модернистского журнала «This Quarter», который объявлял себя «без платформы и без программы». Рубинштейн и Титус были коллекционерами современного искусства, покупали в основном кубистов – Пабло Пикассо, Брака, Хуана Гриси и других. Сегодня работы из их коллекции хранятся в Метрополитен-музее.

В 1929 г. Хентова исполнила иллюстрации к библиофильскому изданию «Сентиментального путешествия» Л. Стерна (L. Sterne. «A Sentimental Journey Through France and Italy». Paris: Black Sun Press / Editions Narcisse, 1929). Книга была издана самым важным англоязычным издательством первой половины XX века, основанного американскими экспатриантами в Париже Гарри и Каресс Кросби. В этом издательстве вышли первые издания таких классиков, как Эрнест Хемингуэй, Т.С. Элиот, Джемс Джойс, Д.Г. Лоуренс, Дороти Паркер и многих других.

Как писала Ирина Вакар в статье, посвященной Полине Хентовой в «Энциклопедии русского авангарда», Полина Хентова явилась прототипом героини романа Вениамина Каверина «Перед зеркалом». Хотя известно, что прототипом Лизы Тураевой в романе была художница-эмигрантка Лидия Никанорова. В основу романа «Перед зеркалом» легла ее переписка с математиком Павлом Безсоновым.

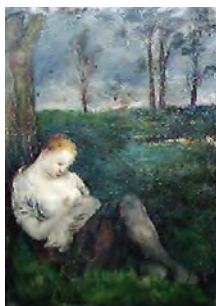


Онофрио Мартинелли. «Поля». 1929 г.





Полина Хентова. Вышивка по мотивам росписей синагог.
1919 г. Собрание Сергея Григорьянца



Полина Хентова стала героиней, к сожалению, не русского, но итальянского романа. На сайте итальянского культурологического журнала «Antinomie» появилась статья Уго Фракассы о музах первой половины XX века под названием «It Does Not Look Like Me. Le Muse Obiettrici», в которой был опубликован неизвестный мне раннее портрет Полины Хентовой под названием «Поля», 1929 года, работы знаменитого итальянского живописца Онофрио Мартинелли. Он хранится в Галерее современного искусства во Дворце Питти во Флоренции. В нашей истории появляется итальянский след.

Известный итальянский журналист и писатель Джованни Камиссо оставил воспоминания об одной богемной вечеринке во время карнавала 1929 года в парижской мастерской русского художника армянского происхождения Григория Шелтяна. Шелтян уже успел пожить в Риме и имел много итальянских друзей. Среди собравшихся были будущие классики итальянского искусства и литературы – Джоржо де Кирико, его брат художник и писатель Альберто Савиннио, писатель Артуро Лория и художник Онофрио Мартинелли. Камиссо писал: «В разгар веселья появились грузинская красавица и ее подруга Дуся. Мы танцевали с грузинкой всю ночь, но под утро она исчезла, и я оказался в постели с разгорячен-

ной от вина Дусей». Я думаю, вы уже догадались, кто была «грузинская красавица». Это была Поля Хентова. Эта история положила начало еще одному безответному роману со стороны Поли Хентовой.

Известный итальянский писатель и редактор журнала итальянских сюрреалистов «Solaria», издававшегося во Флоренции, Артуро Лория встретил ее в Париже и влюбился в нее, «охваченный страстью столь же внезапной, сколь и отчаянной». По мнению друзей,



Джованни Камиссо

он возвращался на берега Сены три раза, до того, как в 1930 году преследовать ее в Лондоне для последней и тщетной попытки.

Артуро Лориа сделал Полю Хентову героиней своего рассказа «Fannias Ventosca» (1929). Буквально увековеченному в образе цыганки Fannias образу Поли суждено было сопровождать солярианского автора до самой его смерти. Фактически лицо возлюбленной, обрамленное и повешенное на стену, оставалось во флорентийской мастерской писателя на протяжении всей его жизни. Портрет, сделанный маслом на картоне, подписанный Онофрио Мартинелли, был заказан самим Лориа. Сборник коротких рассказов «Fannias Ventosca» никогда не переводился на английский или русский языки, зато в Италии выдержал восемнадцать изданий.

В 1930 году Полина Хентова переехала в Лондон при поддержке английского художника Эдмонда Каппа – известного британского живописца, портретиста и карикатуриста, запечатлевшего многих британских знаменитостей, включая известных актеров, политиков, писателей и музыкантов. Переехав в Лондон, Полина Хентова провела персональные выставки в лондонских галереях «Brandon Davies», 1930, здесь она показывала живопись, и «Bloomsbery», где была представлена графика.

22 марта 1932 года в одной из лондонских газет появились фотография и объявление о том, что мистер Эдмонд Хавиа Капп, карикатурист, и мисс Polia Chentoff, красивая молодая русская художница, секретно поженились в офисе регистраций Хемстеда. Вместо того чтобы провести медовый месяц, новобрачные вернулись к себе в мастерскую, чтобы закончить начатую работу. Но счастье было, к сожалению, недолгим. Ровно через год, 21 марта 1933 года, Полина Хентова в Лондоне в Национальной больнице Queen Square скончалась в возрасте 37 лет, через две недели после операции трепанации черепа по удалению опухоли головного мозга.

Так закончилась жизнь и началась легенда замечательной художницы, красавицы и музы – Полины Хентовой.



Феликс Кохрихт

Степан Рябченко: прогулки с облаком

Именно так: не на облаке, не под облаком, не над ним, а – вместе. Собственно говоря – с кем или с чем? Согласно науке, со «взвешенными в атмосфере продуктами конденсации водяного пара»? С местом обитания мифических небожителей? С «белокрылыми лошадками» из детской песенки?

Об этом мы поговорим после, а сейчас вот о чем. Так или иначе, виртуально или реально автор и его создание уже погуляли по Одессе, Киеву, Харькову, а в минувшем году добрались и до Аравии, где стали участниками крупнейшего мирового



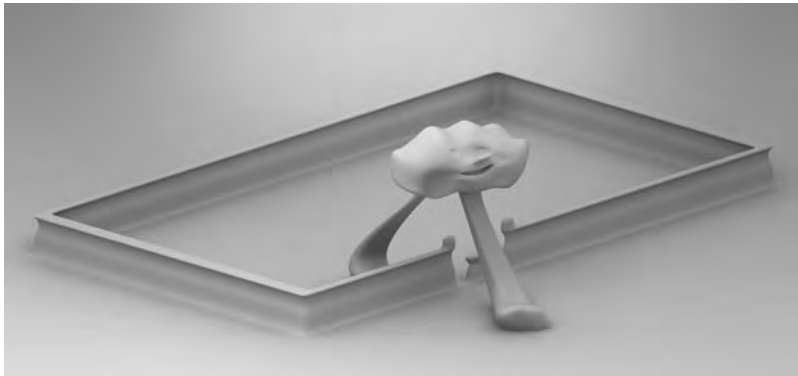
Украинский павильон на Expo 2020 Dubai

форума Expo 2020 Dubai. Меня сейчас поправят читатели – год ушедший был 21-м. Но напомним, что пандемия ковида вынудила вовсе отменить или перенести на иные даты и летние, и зимние Олимпийские игры, и многие фестивали (гордимся тем, что наш Odessa classics состоялся вовремя), и съезды, и разъезды...

Во всемирной выставке принимало участие множество стран, среди 191 павильона был и украинский, экспозиция которого рассказывала об инновационных проектах в современном искусстве. Как говорится в официальном пресс-релизе: «Один из основных участников – художник Степан Рябченко. В проекте представлены его работы из серии «Виртуальные ландшафты», компьютерная анимация «Виртуального цветка», скульптура «Гуляющее облако»...»

Именно этот... объект, скорее образ, представляется мне отражением чувств и размышлений Степана Рябченко – нашего современника, одного из самых оснащенных и готовых для этого синтеза. Дело даже не в том, что он сегодня входит в список десяти самых известных молодых цифровых художников, хотя это и важно, и лестно. Важнее мотивация: как нынче говорят, что за нравственный императив повлиял на этот выбор.

– В 2012 году я вышел на берег Азовского моря, – вспоминает Степан, – и увидел над водной гладью одинокое облачко... Оно



Степан Рябченко. «Первый шаг»





Таких будет Дом архитектора

приветливо и добродушно глядело на меня с улыбкой доброго сорванца и как бы звало вместе погулять в это светлое утро... Сегодня, спустя годы, могу сформулировать, что же поразило меня. В этом облачке каким-то непостижимым образом – ненавязчиво, без пафоса – сошлись и реализовались мои представления о свободе творчества, а еще – об осознании важности первого шага, которым мы обладаем от рождения, но, увы, далеко не всегда сохраняем, повзрослев...

Тогда на берегу он сделал беглые зарисовки, затем создал компьютерную композицию, которая сразу же привлекла внимание и коллег, и критиков, и публики. Одна из вариаций стала топом его экспозиции в Дубае. Но были представлены и скульптурные воплощения этого образа. В бронзе, но, что особенно интересно, есть выполненный в (инновационном!) материале – светоносном мраморе. Степа особенно ценит то, что эта скульптура излучает тот свет, что порастил его при первой встрече с тем облаком.

– Скажи, тебе не говорили, что этот попугайчик прогулок похож...

– На меня? Вот папа тоже так считает... Но это вовсе не автопортрет...

– Есть еще одно совпадение, которое я только что осознал. Облако послужило для тебя как бы олицетворением добрых и светлых чувств. И что поразительно – именно оно, может быть, прапрадедушка нынешнего летучего парнишки с лукавой улыбкой, вдохновило Владимира Маяковского на обещание, данное любимой девушке: «Я буду безгрешен, как облако в штанах». В этой блистательной метафоре – отказ поэта, обладавшего могучим, порой необузданным темпераментом, от энергичного проявления чувств... Увы, одесситка Мария Денисова не ответила на любовь Маяковского и вдохновила его на поэму «Облако в штанах». Поэма считается манифестом наших футуристов, что знаменательно, связанных с Одессой, – Давида Бурлюка, Василия Каменского, Владимира Маяковского.

Знаменательно, что искусствоведы нынче пишут о нашем земляке, к примеру, так: «Комбинируя фигуративный и абстрактный футуристический язык, Степан Рябченко...». И далее – интересно, но мы к своему удовольствию, но, скованные жанром беседы,



Среди работ Рябченко особый интерес у дубайских шейхов вызывал «Рисующий Робот», которому Степан передоверил право своей подписи под работами с изображениями различных вариаций Цветка. Бородатые недоверчивые миллионеры стояли в очереди за рисунками с автографом художника, а честолюбивый Робот трудился без усталости и с видимым увлечением

а не статьи, лишь констатируем, что наш город и сегодня рождает художников, которые не только чтут традиции выдающихся предшественников, но и продолжают их. В этом Степан следует примеру отца, Василия Рябченко, одного из фундаторов нового одесского авангарда. Художником был и его дед, Сергей Васильевич.

...В экспозиции Ехро была и знаковая, преисполненная для меня глубокого смысла компьютерная композиция Степана, на которой, как подлодки если не воюющих, то и не братских стран расходятся в океане, чуть ли не соприкасаясь бортами, понимая опасность дальнейшего сближения. Наше добродушное Облако шагает вправо, а роковой красавец, опасный в своей текстуре и механике Паук шныряет в другую сторону...

Разумеется, Рябченко не только понимает, но и ощущает дуализм нашего изощенного мира – его вызовы, риски, но и его красоту, и разнообразие... Мы долго говорили об этом Пауке и еще

о вирусах – компьютерных и иных, имена которых сегодня не хочется произносить. Степан относится к ним с пытливым уважением.

Скоро состоится прогулка партнеров – Степы и Облака – в Данию, за этим – другие заманчивые маршруты.

– Как ты думаешь, прижилось бы Облако в Одессе? Если да, то где ему причалить?

– Обязательно! Это ведь наш дом, а лучшее место – у моря.

И снова я вспомнил, как мы с Таней бывали у его родителей на 16 станции и ходили к обрыву, и с нами был маленький Степа, а сестра и брат родились позже.

Всех их Степан мечтает собрать в Доме архитектора, который он спроектировал в студенческие годы: причудливое сооружение, наполненное уважением и любовью к каждому, кто будет в нем жить. Важно, что Степан уверен в том, что такой дом обязательно состоится. И над ним на время зависнет облако, похожее на архитектора, а потом отправится на прогулку...



Алексей Овчинников

Почему в XXI веке так скучно смотреть кино?

Когда обмениваешься мнениями после кинофестивальных просмотров, неизбежно натыкаешься на фразы вроде таких: «Красивый фильм, но затянутый», «Если бы 20 минут сократить – было бы вообще отлично!», «Тизер и финал хорошие, но середина скучная» и т. д., и т. п. Почему же сейчас хорошее качественное, снятое явно профессионально так называемое фестивальное кино становится скучно смотреть?

Кино как вид искусства всегда было не только синтетическим, но и, в отличие даже от театра, впрямую и порой всецело зависело от техники и технологий. Да и родилось кино как технический кунштюк – двигающаяся фотография – вы такое видели!

Аппараты братьев Люмьеров и других пионеров кино были несовершенны и могли качественно показывать только короткие фильмы. Когда фильм достигал хотя бы двух минут, с протяжкой пленки возникали проблемы, и зрители начинали свистеть.

Между тем в художественном смысле было понятно, что в минуту или две трудно вложить законченную историю. В литературе, скажем, тогда процветал жанр романа, а как можно изложить роман за эту минуту? Никак. Вот и слыло кино жанром «низким», сродни цирковому трюкачеству. Хотя уже тогда Люмьеры снимали первые документальные фильмы, в основном о жизни родного Лиона, а не только видеозаписи вроде «Политого поливальщика». Но все их богатое наследие составляют фильмы длительностью до минуты.

Давайте встанем на точку зрения зрителя и проследим, что за зрелище он получал на киносеансе за свои деньги. В конце

XIX века сеанс длился минут двадцать, и за это время показывали 5-7 минутных фильмов разных жанров. Эти показы вполне соответствовали определению кино, данного Эйзенштейном, – «монтаж аттракционов», только вместо монтажа тогда были паузы для зарядки новой пленки. Зрители терпели, ибо все это было еще в новинку, и кинопоказы стремительно набирали популярность.

Первая революция произошла еще в самом конце XIX века, после того как была изобретена «петля Латама» – простой остроумный механизм, предотвращающий повреждения перфорации и обрывы. Сразу же стало возможно снимать и демонстрировать фильмы длительностью 10-15 минут. Собственно, до эры цифровых изображений подобный фрагмент кино и назывался: «часть», или «рулон», или «банка», и был именно такой по времени. Скажем, выражение «фильм «семь частей» значило, что фильм длится 70-80 минут. В начале XX века такая длительность фильмов породила, например, жанр вестерн. Самый известный вестерн из первых, «Большое ограбление поезда», длится 12 минут. А один из первых фантастических фильмов, знаменитое «Путешествие на Луну» Мельеса, – 16 минут.

А что же получал зритель? Киносеанс стал продолжительнее, и зрителям демонстрировали два или три фильма по 15 минут. Обычно показывали фильмы разных жанров – мелодраму и комедию или мелодраму и вестерн. Это занимало от тридцати до сорока минут времени. С учетом входа и выхода из зала сеансы продолжительностью в один час стали нормой.

К десятым годам XX века стали снимать кино из нескольких частей. Но чтобы демонстрировать их, приходилось делать паузы и перезаряжать рулоны пленки, что крайне не нравилось скучавшим зрителям. А если еще тапер неумелый... «Не стреляйте в пианиста!»

Следующая революция в кинопоказе произошла в 1914 году, еще до начала войны, когда догадались показывать фильм длиннее 15 минут с двух постов, то есть с двух кинопроекторов. Теперь киномеханику не нужно было останавливать фильм и перезаряжать пленку: когда один рулон в одном кинопроекторе

заканчивался, он включал другой рулон во втором проекторе и спокойно за 10 минут перезаряжал первый. Таким образом был налажен бесперебойный показ кино.

В теории стало возможным снимать и показывать фильмы любой длительности, чем не преминул воспользоваться Дэвид У. Гриффит. Сравните сами: его фильм 1912 года с Мэри Пикфорд «Нью-йоркская шляпка» длится 16 минут, а суперклассика «Рождение нации» 1915 года и «Нетерпимость» 1916 года – 190 и 197 минут! Больше трех часов – практически психологический предел зрительского восприятия.

С точки зрения зрителя, киносеанс теперь состоял всего из одного фильма. Правда, к нему часто цеплялся «прицеп» – мультфильм или кинохроника. Если учесть, что дело происходило во время Первой мировой войны, то кинохроника пользовалась большим успехом, и такая практика сохранилась очень надолго. Если фильм один, то постепенно стали формироваться актеры-«звезды», которыми привлекали потенциального зрителя. Но это отдельная тема, и пока не стоит на ней останавливаться.

Вернемся к производству и производителям. В Соединенных Штатах постепенно сложилась стройная система кинопроката. Уже в 1908 году в стране было более 3000 кинотеатров, большая часть из которых к 20-м годам контролировалась киностудиями. Студии были одновременно производителями и основными прокатчиками фильмов.

Тогда же появился термин «никельдеон», потому что средний билет стоил «никель» – пятицентовую монетку. Кино вышло к широкому зрителю и превратилось из занятия энтузиастов и ремесленников в кинопроизводство. Сколько нужно собрать этих самых «никелей», чтобы получить прибыль от фильма? И сколько нужно для этого киносеансов? А количество сеансов напрямую зависит от длительности фильмов – это уже чистая арифметика и ничего больше.

Постепенно к тридцатым годам сложилась выгодная для всех длина киносеанса – два часа. За это время зрители должны были посмотреть кино и успеть выйти из зала. Соответственно этому сложился и временной формат фильмов –

от полутора часов до часа пятидесяти минут. Конечно, бывали исключения, которые делались для блокбастеров. Тогда сеансов становилось меньше, но цена поднималась. Скажем, «Бен Гур» Уильяма Уайлера – 222 минуты, «Клеопатра» Джозефа Манкевича – 243 минуты. Из детства помню, как показывали польский фильм «Потоп» Ежи Гофмана, который длится 315 минут: в один день показывали по сеансам полфильма, а на следующий день еще полфильма. В общем, не все смогли его посмотреть полностью...

Такая система двухчасовых киносеансов существует по сей день. А между тем мир вокруг менялся и меняется, давно наступил XXI век... Кино много раз испытывало атаки конкурентов и соответственно этому менялось. Неизменной осталась только длительность фильмов.

В 20-х годах XX века появились национальные радиосети – кино отреагировало и стало звуковым, а потом и цветным. В 50-х возникло телевидение, которое стало производить телесериалы, – кино ответило блокбастерами, спецэффектами и темами, которые не попадали в телеэфир. Правда, телевидение не сдавалось, а все больше и больше забирало зрителей из кинозалов. Если сначала снятые на статичную телевизионную технику сериалы сильно проигрывали в качестве кинофильмам, то сейчас, в цифровую эпоху, разница нивелировалась. Зачастую современный качественный сериал ничем не уступает кинофильму: ни звездным составом, ни съемками, ни драматургией.

Телевидение сформировало свой, отличный от кино формат. Поскольку телевизионщики всегда были завязаны на выпусках новостей, а те шли строго по часам (чем регулярнее телепрограмма, тем она популярнее), то и сериалы стали делать в формате одного часа или его половины. Грубо говоря, 50 минут сериала, 10 минут рекламы; или 25 минут сериала, 5 минут рекламы. К такому временному отрезку развития драматургии давно привыкли современные зрители, которые поголовно выросли в телеэпоху.

Потоки информации в современном мире все увеличиваются и убыстряются. Слова о «клиповом сознании» давно стали банальностью. Реклама – 20-30 секунд, твиттер – 280 знаков,

вместо слов – смайлик, пост без фото никто не читает... И только в кино ничего не изменилось, все как 100 лет назад: сеанс два часа и фильм полтора-два часа.

Если так и будут звучать фразы про лишние двадцать минут фильма, то кино будет по-прежнему терять зрителей. Может, пора пересмотреть формат: скажем, показывать за два часа два фильма или еще каким-то способом удерживать зрителя в кресле? Однозначного рецепта у меня, конечно, нет, но проблему видно, и ее придется все равно рано или поздно решать кинопроизводителям и кинопрокатчикам.

И да не иссякнет очередь за билетами в кино!



Публикации

278 Нора Гомрингер
С немецкого – на украинский и русский

283 Исаак Вайншельбойм
Особняк в Отраде

Нора Гомрингер

С немецкого – на украинский и русский

Нора-Евгения Гомбрингер (Nora-Eugenie Hombringer, 1980) – швейцарско-немецкая поэтесса, автор семи поэтических сборников и сборника эссе. Кроме того, она в разных формах активно сотрудничает с музыкантами и художниками. Ее творчество отмечено двумя десятками литературных премий и других отличий, в том числе премией им. Ингеборг Бахман (2015) и орденом «За заслуги» Земли Бавария (2019).

І був день І цей день схилився до вечора

І було стояння і було чекання
І була людська маса й це виглядало, як море
І були чоловіки й були жінки
І були діти й пахло шкірою
І були валізи й були випари
І були уста й було слово
І була байдужість і була глухота
І були велетні й були пальта
І були собаки і був жалібний стогін
І був плач і був потяг
І були вагони і був перон
І був поспіх і був наказ: у вагони
І була тиснява й знову поспіх
І була безжалісність і був цей тон

І були руки й були погляди
І були хвилини й була тіснота
І не було місця
І невдовзі була ніч і були жарти
Позаяк вони були мов худоба
І був засув і був поштовх//

І була їзда й не було повітря
І була ніч і був час
І це було надто довго
І був шепіт і був лепет
І був здогад і були питання
І була спека й було затісно
І знову був плач і було відро
І були чотири кутки й був сморід
І був сором
І були години і були години
І були години і були години
І була спрага і було сум'яття
І було присідання і було притуляння
І була утомлена молитва
І була брудна вода із черпака
І були запахи
І знову був поштовх//

І було прислухання і було сподівання
І була якась мова і якась країна
І були години і були години
І були години і були години
І були догадки і були чутки
І був вогонь, що ширився довкола
І було лахміття і були слова
І все це аж ніяк не було правдою//

І був поштовх у спину
І це було правдою
І була ця дивна назва
Ос-вен-цім

Переклав Петро Рихло

И был день
И он клонился к вечеру

И было стояние и было ожидание
И была толпа и казалась морем
И были мужчины и были женщины
И были дети и пахло кожей
И были баулы и клубы пара
И были рты и было слово
И было оупение и была немота
И были рослые и были шинели
И были собаки и было стенание
И было рыдание и стоял состав
И была толчея и снова спешка
И была жестокость и была брань
И были взгляды и были руки
И были минуты и было тесно
И не было места
И настала вдруг ночь и не верилось
Ведь стали как скот
И были засовы и был рывок//

И была езда и нехватка воздуха
И была ночь и тянулось время
И было долго
И был шепот и был шорох
И были догадки и были вопросы
И было душно и было тесно
И было рыдание снова и было ведро
И было четыре угла и вонь
И был стыд
И текли часы и текли часы
И текли часы и текли часы
И была жажда и было смятение
И было оседание и было прислонение
И текли часы и текли часы
И была усталая молитва
И мутная вода из черпака

И были запахи
И был рывок//

И было вслушивание и была надежда
И был какой-то говор и какая-то страна
И текли часы и текли часы
И текли часы и текли часы
И были предчувствия и были слухи
И металось пламя впереди
И было тряпье и были слова
И так не могло быть//

И был еще рывок
И так уже стало
И было это странное название
А-у-швиц

Перевел Марк Белорусец

Und es war ein Tag Und der Tag neigte sich

Und es war Stehen und es war Warten
Und es war eine Masse und es sah aus, wie ein Meer
Und es waren Männer und es waren Frauen
Und es waren Kinder und es roch nach Leder
Und es waren Koffer und es war Dampfen
Und es waren Münder und es war das Wort
Und es war Stumpfes und es war Taubes
Und es waren Große und es waren Mäntel
Und es waren Hunde und es war Wimmern
Und es war Weinen und es war ein Zug
Und es waren Waggons und es war eine Rampe
Und es war Eile und es hieß: Hinein
Und es war Drängen und es war wieder Eile
Und es war Härte und es war der Ton

Und es waren Hände und es waren Blicke
Und es waren Minuten und es war Enge
Und es war kein Raum
Und es war bald Nacht und es war ein Scherz
Denn sie waren wie Rinder
Und es war ein Riegel und es war ein Ruck//

Und es war Fahren und es war keine Luft
Und es war Nacht und es war Zeit
Und es war zu lang
Und es war Flüstern und es war Raunen
Und es war Mutmaßen und es waren Fragen
Und es war Hitze und es war zu eng
Und es war wieder Weinen und es war ein Eimer
Und es waren vier Ecken und es war ein Geruch
Und es war eine Scham
Und es waren Stunden und es waren Stunden
Und es waren Stunden und es waren Stunden
Und es war Durst und es war Wirre
Und es war Sinken und es war Lehnen
Und es war ein müdes Gebet
Und es war trübes Wasser aus der Kelle
Und es waren Gerüche
Und es war ein Ruck//

Und es war ein Lauschen und es war eine Hoffnung
Und es war eine Sprache und es war ein Land
Und es waren Stunden und es waren Stunden
Und es waren Stunden und es waren Stunden
Und es waren Ahnungen und es waren Gerüchte
Und es war ein Feuer, das lief
Und es waren Fetzen und es waren Worte
Und es war sicher nicht wahr//

Und es war ein Ruck
Und es war wahr
Und es war ein seltsamer Name
Au-schw-itz

Исаак Вайншельбойм

Особняк в Отраде

Воспоминания

Исаак Абрамович Вайншельбойм (1922-2019) проработал более 20 лет в Одесской областной коллегии адвокатов, трудился в юридической консультации Ильичевского района г. Одессы, вел гражданские и уголовные дела большей частью в Ильичевском районном суде г. Одессы, который тогда располагался на Молдаванке по улице Виноградской, 2.

Там я с ним и познакомилась, работая секретарем судебного заседания. Небольшого роста, подтянутый, очень энергичный, всегда улыбающийся, с мягким чувством юмора, Исаак Абрамович не выглядел инвалидом, тяжело раненным во время Великой Отечественной войны. А между тем, воюя в пехоте, старший лейтенант, начальник штаба отдельного стрелкового батальона Вайншельбойм И.А. был тяжело ранен в голову и в 1943 году комиссован из армии по ранению, после длительного лечения в госпиталях был признан инвалидом.

В 1949 году Исаак Абрамович окончил Московский юридический институт и сразу стал работать адвокатом в Староконстантинове Хмельницкой области – своем родном городе, который он очень любил. В 1969 году переехал жить и работать в Одессу.

Он был не только хорошим адвокатом: талантливый художник-самоучка, был знаком со многими одесскими художниками, дружил с замечательной художницей Диной Михайловной Фруминой. Свой стиль он называл «одесский импрессионизм». В 1986 году Исаак Абрамович устроил выставку своих картин в помещении юридической консультации Ильичевского района на ул. Мойсеенко, 8, что было для тех лет новов и необычно.

В 1990 году, выйдя на пенсию, И.А. Вайншельбойм вместе с семьей эмигрировал в США и поселился в Нью-Йорке. Прошло довольно много

лет, и я в 2019 году случайно узнала от преподавателя исторического факультета ОНУ им. И.И. Мечникова профессора А.А. Пригарина, побывавшего в Нью-Йорке, что И.А. Вайншельбойм жив и в свои 96 лет ведет очень активный образ жизни. Благодаря Одесскому землячеству Нью-Йорка на Фейсбуке я связалась с Исааком Абрамовичем по телефону, была очень рада почти через тридцать лет слышать его голос и попросила при возможности выслать мне написанную им книгу. Из статей в Интернете я узнала, что он не только писал книги, но и создал множество картин, часть их посвящена теме Холокоста, принимал участие в десятках выставок картин в Нью-Йорке.

Получив посылку с книгами и фотографиями его картин, я в тот же день решила поблагодарить его через Одесское землячество Нью-Йорка и открыла его страницу на Фейсбуке. Первое, что я увидела, – это фотография Исаака Абрамовича, и через минуту поняла, что это траурная фотография, он не дожил месяц до 97 лет. До сих пор ощущаю смерть Исаака Абрамовича как потерю неординарного человека и думаю, как много интересного он мог еще создать.

В высланной мне книге «Высший суд» я нашла очерк «Особняк в Отраде», посвященный Евгению Ермиловичу Запорожченко, с очень интересными подробностями, и решила, что он достоин того, чтобы с ним ознакомились читатели альманаха «Дерибасовская – Ришельевская».

О. Козоровицкая
Нью-Йорк, 2016 г.

...Что ищет он в стране далекой,
Что кинул он в краю родном?

Михаил Лермонтов

Одесситы, знакомые с Евгением Ермиловичем Запорожченко, а этот круг был немалый (в него входили литераторы, художники, архитекторы, яхтсмены), знали о его увлечении парусным спортом. Увлечение Евгения Ермиловича яхтой было всепоглощающим, это было не увлечение, а страсть, страсть безудержная, даже роковая, которая едва не стоила ему жизни.

В возрасте за восемьдесят в прохладное раннее майское утро он вышел в море на своем паруснике. Между тем лето в Одессе, как известно, рождается только в конце мая. Запорожченко, однако, не терпелось открыть парусный сезон. Над Одесским заливом простиралось безоблачное высокое голубое небо. Простор был великолепен, он манил своим блеском, тянул к себе неудержимо. Парус, наполненный ветром, послушно и резво гнал утлое суденышко в даль моря. Радость после долгого зимнего ожидания лишила яхтсмена чувства осторожности, и далеко в море он подставил навстречу усилившемуся ветру гулкий парус и наполненную ликованием грудь. А был он одет всего лишь в легкую майку – захотелось свежего майского загара.

Бриз усиливался, но парус был послушен его сильным рукам, яхта легко подымалась на гребни высоких волн, скорость яхты пьянила, казалось, она находится в свободном полете, а ветер все сильнее и сильнее обдувал яхтсмена. Он радовался неистовым порывам стихии...

Впоследствии Запорожченко обронил фразу: «Горизонт в море манит к себе неудержимо!» «Почему? – спросил я. – Ведь достичь горизонта невозможно: сколько к нему ни приближайся, он настолько же отдаляется». Он развеял мое недоумение.

– А мы стремимся к горизонту как к реальной цели. Может, потому и влечет он к себе, что за ним всегда существует новая жизнь, новые земли, страны, люди. Сколько в жизни человека недостижимых горизонтов, а люди идут навстречу к ним, даже рискуя. А может, нас влечет не горизонт, а риск? Кто его знает...

Меня поразили романтические грезы пожилого человека, у которого в жизни было вдоволь риска, драматических и даже трагических испытаний, и я спросил:

– А может, к горизонту влечет давняя не удовлетворенная мечта об абсолютной свободе?

После небольшой паузы он задумчиво ответил:

– Вы, наверное, правы. Романтика удел не только молодых. Чем старше человек, тем больше у него потребность в свободе.

После того раннего майского полета к горизонту Евгений Ермилович явился домой под вечер с высокой температурой

и воспалением легких. Так Запороженко стал пациентом моей жены Зины, заведовавшей отделением в больнице в парке Шевченко, поблизости от Отрады, уютного прибрежного уголка Одессы, в котором находится особняк Евгения Ермиловича. По возвращении с работы Зина сказала:

– Ты как-то говорил, что Запороженко – товарищ Катаева и прототип персонажа из повести «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона». Он, видно, неординарный человек. Живет в Отраде на потрясающей вилле с садом. Помнишь, мы не раз любовались тем домом, когда бывали в Отраде на улице Уютной...

Я помнил.

Из редких публикаций в одесских газетах я знал, что Запороженко действительно поддерживает дружеские отношения с Катаевым, который, приезжая в Одессу, живет у него на Уютной, что он активный борец за сохранение памятников истории и архитектуры в городе и области. И является собственником замечательного особняка в Отраде – по советским временам редкость.

В Отраде много небольших красивых домов, бывших частных вилл дореволюционной постройки. Отрада – небольшой живописный уголок на одесском побережье, недалеко от центра города. Мы жили на Маразлиевской, близко от Отрады, часто там гуляли и спускались по крутому берегу к морю рядом с пляжем Ланжерон. Улица Уютная, на которой стоит особняк Запороженко, отвечает своему имени, она и в самом деле уютная, маленькая, даже не улица, скорее переулок, зеленый, тенистый, всего-то несколько домов. Со стороны города лицом к морю Уютную запирает двухэтажное здание больницы с красивым фасадом, построенной до революции генералом Орловым для своего зятя-врача.

Мы любовались домом Запороженко, фасадом в классическом стиле. За изящными колоннами – лоджия, вход в нее из глубины дома, по обе стороны лоджии два одинаковых крыла с высокими венецианскими окнами в каждом крыле. Композиция особняка и сада со стороны Уютной завершалась кованой чугунной оградой строгого рисунка. Впоследствии мы узнали, что автором особняка был знаменитый одесский архитектор Юрий Мелентьевич Дмитренко, украсивший город прекрасными домами.

Любуясь особняком на Уютной, мы не знали, кто там живет, и представить не могли, что дом не конфисковали во время революции, что в советское время, когда страна страдала от жилищного голода, особняк принадлежал не государству, а оставался частным владением, и что живет в нем всего одна семья крупного дореволюционного предпринимателя, как говорили тогда, буржуя-миллионщика.

Впоследствии, после личного знакомства с Евгением Ермиловичем, когда наши отношения стали доверительными, и он много рассказывал о своей жизни, я осторожно, но покуда безуспешно, пытался найти ответ на эту странную загадку, которая осложнялась множеством других, не менее загадочных обстоятельств и переплетений его сложной судьбы, которые случались уже в наше время. Но об этом позже.

Организм Запорожченко, человека несокрушимой воли и отменной физической силы, одолел тяжелую двухстороннюю пневмонию, ему для этого понадобилось всего десять дней. Его торс снова поражал упругими мышцами. Когда ему разрешили прогулки по коридору больничного отделения, врачи и сестры любовались его фигурой циркового борца. Несмотря на огромный рост, он был безупречно пропорционален, словно вылеплен Роденом. Он даже лицом напоминал роденовского Мыслителя. О натурщиках с такими пропорциями мечтают художники и скульпторы. Он мог бы служить прекрасной моделью для картины Репина «Запорожцы». Судя по его фамилии, его предки действительно были запорожскими казаками. Среди художников он имел много друзей, его охотно рисовали. Он и сам был одарен тонким чувством прекрасного, и сам стал художником.

Через две недели после злополучной прогулки на яхте он отправился домой на Уютную, взяв с Зины слово, что в ближайшее воскресенье он будет нас ждать к обеду, чтобы отметить выздоровление. В то сверкающее майское воскресенье, каким оно бывает в конце месяца в Одессе, состоялось мое знакомство с Запорожченко, который оказался человеком из незнакомого мира, мира Европы, наглухо для нас закрытого, из мира послереволюционной русской эмиграции, из окружения известных писателей,

художников, композиторов, бежавших от Октябрьской революции и поражения Белого движения в Гражданской войне, тем самым сохранивших себя для русской и мировой культуры.

Во время первого знакомства все это еще не было мне известно, и поэтому знакомство прошло, естественно, приятно, без волнений. И тем не менее многое в первое время общения не могло не удивлять. Прежде всего, удивляла сама мощная фигура хозяина, хотя я был к этому несколько подготовлен рассказами жены. Удлиненная форма лица с приметными чертами, крупным носом, высоким лбом под тщательно зачесанной серебристой прической, мясистыми ушами и с неожиданно мягким ртом – все формы изысканной скульптуры были прочно установлены на мощной шее, словно на подставке. Форма общения Запорожченко с гостями была простой и непринужденной, словно с давними знакомыми. В его манере была едва уловимая светскость, непривычная для нас, но при этом нисколько не смущавшая. Евгений Ермилович представил нас сестре и ее детям. Своих детей у него, к сожалению, не было, он был женат в эмиграции на хрупкой красивой женщине, дочери сибирского миллионера, покинувшей Россию, как и Запорожченко, в конце Гражданской войны. Жена умерла задолго до нашего знакомства с Запорожченко. Евгений Ермилович жил с семьей сестры.

Учился он на кораблестроительном отделении Одесского политехнического института. Потом – Первая мировая война. Немало опасных минут пришлось пережить матросу Запорожченко, когда он служил на миноносце «Феодонисий», а затем на военном транспорте. Пароход «Херсон», на котором студент Запорожченко проходил практику, принадлежавший английской компании, не вернулся в охваченную революцией Россию. Евгений сошел на берег в югославском порту, попал в Загреб, где продолжил занятия в политехническом институте. Но за учебу надо было платить, а деньги кончались. Повезло, пришло письмо от друга, с которым Запорожченко плавал на «Херсоне», и позвало его в Париж.

Собрав немного денег, Евгений поступил в электротехнический институт. Став инженером, он продолжал самообразование: занимался музыкой, много читал, изучал языки.

Обед был скромным, как в большинстве домов среднего достатка того времени, но его украшали остатки бывшего изящного фарфора, оживленная беседа, милые тосты и скромные комплименты и благодарности «волшебному доктору Зине».

Я не мог скрыть мой интерес к обстановке большой гостиной, в которой сохранились следы бывшего оформления и убранства. На стенах еще был виден первоначальный рисунок обоев, но он печально поблек. Лучше всего сохранилась лепнина потолка, хотя в одном углу отвалились детали. Поблекшими выглядели и обивка дивана, и остатки старой мебели. Несмотря на яркий день, гостиная напоминала время сумерек. Мне даже казалось, что это не настоящий реальный живой дом, а декорации кинофильма о разорившемся дворянском гнезде. Только рисунки и картины на стенах оживляли обстановку, большинство из них казались недавно развешенными. Евгений Ермилович заметил мой интерес ко всему, что нас окружало, и сказал, что если нам интересно, он покажет дом и расскажет о происхождении картин. Я ответил, что мы давно любимся фасадом здания, когда бываем на Уютной, и нам будет все интересно.

Хозяин беголо показал нам свою комнату, которую назвал «моя келья». Хотя это была довольно вместительная светлая комната с большим окном, в которой стояли кровать, старинный письменный стол, заваленный бумагами и книгами, старое кресло и еще какая-то мебель давнего времени. На стенах висели картины, о которых Евгений Ермилович рассказал во время последних посещений. Выделялись яркие этюды художника Малявина. Художники картин были его знакомыми и друзьями. Здесь висели картины и этюды самого Запорожченко, нарисованные в эмиграции, главным образом городские пейзажи Ниццы и ее окраин.

Затем хозяин пригласил нас в сад за домом, в который мы вышли через просторную открытую террасу. Сад и двор были запущены, и даже свежая майская зелень их не оживляла. Дорожка от веранды к центру, где стоял изящной формы небольшой беломраморный фонтанчик на витой колонке итальянской работы, почти заросла. Сам фонтан подчеркивал сиротливость

обстановки. По состоянию чаши фонтана было видно, что он давно забыл водную струю и брызги.

– Видно, где-то забилась водопроводная труба, – сказал Евгений Ермилович без видимого сожаления. Вероятно, он свыкся с нынешним состоянием сада и дома, а средств для ремонта и ухода не было.

Свидетелями былого великолепия сада были два каштана, могучих, как хозяин, и стройных, как он. Большой куст сирени в противоположном углу с множеством сухих веток еще не цвел. Из куста давно не удаляли сухостой, не подрезали. Запущенность сада тем не менее не лишала его своеобразного уюта, он удивительно гармонировал со всем, что мы видели в доме, был един с еще не чищенной после зимы террасой. В его запущенности была необъяснимая прелесть, его живописное старение не вызывало грусти. Каждый уголок большого дома, как и сад, дышали живой крепкой стариной. Особняк пережил разрушение старого мира, он состарился, но это была здоровая крепкая старина, которой едва коснулись новые времена. Состарившийся дом был внутренне крепок. Оба они, хозяин и его дом, пережили много катаклизмов, но устояли, они оба были созданы из крепкого материала.

Расставались мы тепло. Запорожченко мило ухаживал за Зиной, говорил, что ему приятен мой интерес к живописи, он хотел бы более близкого знакомства и просил не забывать затворника. Я обещал звонить и делиться городскими новостями. Он проводил нас до калитки и снова просил приходить. За калиткой сиял майский день, который усиливал впечатление прикосновения к событиям неведомой среды, которую хотелось увидеть и узнать ближе. С течением времени это чувство становилось едва ли не навязчивым, но я долго не решался звонить.

Евгений Ермилович опередил меня.

– Извините за поздний звонок, вы говорили, что часто бываете в филармонии в концертах и обслуживаете филармонию как юрист. Мне сказали, что ожидается приезд московской пианистки с программой бетховенских сонат, я хотел бы послушать, уведомите меня, пожалуйста. Я слушал эти сонаты в исполнении Рахманинова, и хочется восстановить впечатление.

У меня невольно вырвалось:

– Вы слушали Рахманинова?

– Мы были близко знакомы, я принимал Сергея у себя, когда жил в Ницце.

Я несколько замешкался и после паузы сказал, что непременно все узнаю и сообщу о предстоящих концертах.

Запороженченко предстал в моем воображении еще более загадочным человеком. В то время послереволюционная эмиграция была темой закрытой. Тотчас у меня возникло множество вопросов: как он оказался в эмиграции, что делал и чем занимался, каким образом вернулся домой, как к нему отнеслась советская власть после возвращения в Одессу, не подвергался ли репрессиям, и как могло случиться, что особняк не национализировали после революции и не конфисковали после эмиграции? Я особенно был удовлетворен тем, что наши отношения продлятся.

– Вот и славно, если у вас будет время, приходите, пожалуйста, в это воскресенье.

С каждой последующей встречей наши отношения становились теплее и доверительней. Этому способствовали и совпадения наших музыкальных и художественных пристрастий. Мой рассказ о предстоящих гастролях московской знаменитости с циклом сонат Бетховена вызвал у Евгения Ермиловича воспоминания о Рахманинове.

– Он исполнял бетховенские сонаты не только в концертах, но и во время домашнего музицирования, в гостях для узкого круга друзей и поклонников. Он исполнял не все сонаты. О тех, которые не были в его репертуаре, он говорил, что популярные сонаты слишком заиграны, о других сказал, что их многократно исполнял Горовиц, а с Горовицем состязаться бесполезно. «Сонаты, созданные Бетховеном в последние годы жизни, я пока еще не осилил», – как-то сказал Сергей.

Для меня рассказ о Рахманинове был неожиданным, и я спросил:

– Неужели пианист Рахманинов считал недостижимым для себя мастерство Горовица?

– Рахманинов как-то сказал, что после исполнения его собственных вещей Горовицем он не узнает своих произведений и тогда готов поверить, что он значительный композитор.

О Рахманинове Евгений Ермилович говорил не раз. У меня создалось впечатление, что их связывала не только музыка. Тогда я его спросил:

– Рахманинов не говорил вам, что планирует поездку в Москву на гастроли?

Я не без умысла подчеркнул, что имею в виду только гастроли и ничего более.

Запороженко, вероятно, понял то, что подразумевалось, и твердо ответил:

– Такие темы мы не обсуждали.

Я понял, что «темы» во множественном числе он произнес не случайно, я еще к этому потаенному не был допущен.

Между тем жизнь русской эмиграции не могла ограничиться борьбой за выживание. В Европе, главным образом в Европе, жили два миллиона эмигрантов из России, цвет русского общества, образованные творческие люди, наиболее активная и умная часть делового мира, верхушка русской армии. Безумно хотелось знать, как и чем жили русские, что знали о жизни в советской России. Порой мир знал о событиях в советской России больше, чем люди внутри страны. Западная пресса, в том числе эмигрантские газеты, постоянно освещала события в России. Однажды у Евгения Ермиловича вырвалось воспоминание о дискуссии между сотрудниками русского литературного журнала по поводу исчезновения некоторых писателей в советской России. Кто-то сказал, что Чехов своевременно умер, не дожив до первой русской революции, до пагубного октябрьского переворота и Гражданской войны. Это неожиданное замечание вызвало бурную реакцию. Почему аресты и гулаговская реальность конца 30-х не послужили предупреждением, когда решался вопрос о возвращении некоторых известных эмигрантов на родину? Той же Марины Цветаевой и ее мужа Сергея Эфрона...

Чаще всего мы говорили о живописи. О сочных этюдах Федора Малявина, висевших в кабинете, Запороженко рассказал, что он поддерживал с художником дружеские отношения и даже брал у него уроки рисования. О художниках говорил охотно и интересно, о выставке Репина отозвался сдержанно, зато живо рассказал

о знакомстве с Пикассо: «живописная личность», о его творчестве ничего не сказал, но был доволен подарком Пикассо – небольшим рисунком.

Как-то у нас зашла речь о Второй мировой войне, и Запороженко спросил, в качестве кого я участвовал в сражениях. Когда я сказал, что был офицером и командовал пехотным подразделением, Евгений Ермилович меня обнял. Я не ожидал от этого человека с его драматическим прошлым подобной чувствительности, у него даже голос стал мягче. Он едва не силой усадил меня в кресло, сам сел на стул напротив и попросил, если мне не трудно, рассказать о фронтовой окопной жизни. Его интересовали подробности взаимоотношений офицеров с нижними чинами, так он называл младших командиров, и с солдатами, как поддерживалась дисциплина, трудно ли было поднимать солдат в атаку, как воевали штрафники, каковы их судьбы.

– Скажите, пожалуйста, эффективны ли были атаки пехоты, подобно атакам в Первую мировую? Ведь противник обладал автоматическим оружием, а Красная армия еще была вооружена винтовками старого образца, не так ли?

Я ответил, что малоэффективны, а порой вовсе неэффективны. Евгений Ермилович тяжело вздохнул.

К теме Второй мировой войны мы возвращались не раз, и тогда я попросил Запороженко рассказать, как он оказался во французском Сопротивлении.

Когда в Ницце появилась немецкая администрация, Запороженко арестовали. Его друзьям удалось устроить ему побег из тюрьмы. С тех пор и до конца войны он был во Французских Альпах в отряде Сопротивления. Он руководил многими успешными операциями, за что был удостоен награды, врученной ему генералом Шарлем де Голлем.

Тоска по Одессе, по родному дому была спутницей Запороженко. Окончание войны оживило надежду вернуться в особняк на Уютной. В осуществлении мечты, по версии Евгения Ермиловича, способствовали хорошие личные отношения с послом Советского Союза во Франции.

Запороженко – член правления, затем председатель правления Союза советских патриотов (ССП) в Ницце (1947). Эта деятельность

пришлась не по вкусу французским властям. Есть версия, что они заподозрили в нем... советского шпиона. В 1951 году французские власти выслали Евгения Ермиловича с женой из страны. Не думаю, что это было справедливое решение. Но так случилось...

Необходимые формальности были соблюдены относительно быстро, и герой Сопротивления, и его жена начали собираться в дорогу. Они были не одиноки. Русских эмигрантов, клюнувших на сталинскую пропаганду, было очень много, несколько тысяч. Кто-то ехал по зову крови, кто-то страдал ностальгией, кто-то по эмигрантской неустроенности, были французские жены, мужья и французские коммунисты... Ехали семьями.

Оказавшись в СССР, многие не добрались до места назначения. По пересечении границы их грузили в зарешеченные телячьи вагоны и напрямик отправляли в лагеря, в лучшем случае – в ссылку. Все документы сразу отбирались, в обратную сторону, даже если сразу соображал, в какую западню попал, отъезд был заказан. Кто-то выжил, приспособился, выучил язык, кому-то чудом удалось остаться незамеченным НКВД, кто-то погиб...

Собственный путь Запороженко домой оказался тернистым, как она сам выразился, «с тяжкими пересадками».

Французские и западногерманские пограничные и таможенные проверки прошли безболезненно. Поезд начал короткий путь по Восточной Германии и медленно вполз в вокзал Восточного Берлина. По расписанию стоянка должна длиться двадцать пять минут, и супруги Запороженко решили прогуляться по вокзалу и купить еду. Едва они приготовились к выходу, как открылась дверь и в купе вошли два белобрыхых молодых стройных немца в почти одинаковых серых плащах. Один из них, видимо, старший по чину, поздоровался.

– Добрый день, гутен таг, мадам Запороженко и геноссе Запороженко.

Впоследствии выяснилось, что это были офицеры Штази, восточногерманской службы безопасности. Дальнейший разговор состоялся по-русски. Старший по чину продолжил:

– Нам поручено препроводить вас для беседы в наше ведомство.

– Я буду беседовать только с участием советского консула, – заявил Запороженко.

– Конечно, там будет представитель консульства, мы поможем вам вынести вещи.

Не ожидая разрешения, они взяли чемоданы. Старший сказал, что вещи будут храниться в полном порядке, а фрау Запороженченко предоставляется гостиница.

Евгений Ермилович обнял жену: «Не волнуйся, все будет хорошо, – и на ухо добавил: – У тебя все номера». Это означало, что она знает, кому звонить. Жена знала не только французский, но и немецкий, и английский.

Никакой встречи и беседы с консулом в тот день не было. Запороженченко привезли в известную берлинскую тюрьму Моабит, в специальную секцию. Никакого ареста или задержания. Тюремный служитель с большой связкой ключей открыл дальнюю дверь – и Запороженченко водворили в маленькую камеру для одиночек. В камере была узкая железная кровать с жестким тюфяком, покрытым жидким одеялом. В изголовье стоял маленький столик, наглухо прикрепленный к полу. Крошечное окошко в толстой железной решетке смотрело в кирпичную стену, неба не видно.

После второй беседы с высоким должностным лицом Штази Запороженченко перевели в большую и более благоустроенную камеру с нормальной большой кроватью по его росту и шкафчиком со сменой белья. Два раза в неделю он мог пользоваться душевой. Один раз в неделю получал короткую весточку от жены.

За девять тюремных месяцев с Запороженченко всего несколько раз беседовали разные должностные лица. Дважды – люди из Москвы, представившиеся сотрудниками советского консульства в ГДР. Один из них намекнул, что действует по просьбе советского посла в Париже. Это было накануне освобождения из тюрьмы...

О причине ареста и о содержании «бесед» Евгений Ермилович не распространялся, и это лишало меня возможности спрашивать. Внутренний мир Запороженченко оставался недоступным. Я мог думать разное...

На следующий день чету Запороженченко пригласили на обед в советскую администрацию в Берлине. Обед был роскошный. Церемониальная часть приема ограничилась тостом за здоровье и благополучие четы Запороженченко. Супругам был предложен

двухнедельный отпуск в одном из лучших санаториев. В приеме также участвовал один из руководителей (в ранге замминистра) советского отраслевого министерства. Он пригласил Евгения Ермиловича для частной беседы за отдельный столик, уставленный винами. Замминистра рассказал Евгению Ермиловичу, что на территории ГДР функционирует советский завод по производству сложных приборов для авиационной промышленности. Заводом временно руководит местный инженер. «Мы знаем о вас очень много. Знаем, что по образованию вы инженер. Предлагаем вам должность директора завода, для начала на два года с продлением контракта по вашему желанию. Думаю, мы могли бы вместе осмотреть завод...»

Так Запорожченко на два года стал директором оборонного предприятия в ГДР, прежде чем окончательно вернуться в Одессу. Это, по всей видимости, спасло Запорожченко от ГУЛага.

Когда он делился воспоминаниями, меня поражало, как менялось выражение его лица: крупные черты словно каменели, как у скульптуры, высеченной из серого гранита. Приходило сравнение с «окаянными годами» Бунина и оказалось, что окаянными были и последующие десятилетия. По всему видно было, что в полной мере он осознал это, лишь когда вернулся домой. И меня поразило, как после такой бурной жизни, после стольких перипетий Запорожченко сохранил столько деятельной энергии. Я по-новому оценил его увлечение парусным спортом как обретение свободы в безбрежном море, где он без помех, без ограничений властей хозяин своей судьбы. Он и на суше пытался хоть как-то сохранить бывшее, этим было продиктовано возвращение в родное гнездо, в *особняк в Отраде*.

Борьбе за сохранение всего, что осталось от старого мира, он посвятил годы жизни после возвращения домой, взвалив на себя бремя безвозмездной работы в Обществе охраны памятников. Он знал все сохранившиеся культурные ценности, каждый уголок в городе, каждую церквушку в области, все достопримечательности. Это было подлинное бескорыстное служение идее.

В те годы властям Одессы удалось утвердить в украинском правительстве безумный план застройки железобетонными чу-

довищами курортного приморского пригорода Одессы, известного всей стране Большого Фонтана. Без ведома и согласия горожан и многочисленных владельцев частных жилых строений, втайне от дачных кооперативов. Власти даже успели снести несколько домиков с ухоженным и цветущими садами на тринадцатой станции Большого Фонтана и возвести общежитие.

Так случилось, что мне как профессиональному адвокату и члену дачного кооператива пришлось возглавить борьбу за сохранение Большого Фонтана от разрушения. Наши многочисленные обоснованные возражения, основанные на убедительных экспертных заключениях, направленные в различные компетентные ведомства, успеха не имели. Мои письма с жалобами общественности в самые высокие советские и партийные органы встречались в Москве с пониманием и сочувствием, но в конечном итоге не привели к отмене пагубных решений одесских и киевских начальников.

Тогда родилась идея обратиться к властям предержавшим с помощью всесоюзной прессы. Планом обращения в авторитетную газету «Известия» и привлечением для этой цели почетного одессита и знаменитого писателя Валентина Катаева я поделился с Запорожченко, которого я посвящал во все нюансы моих бесплодных усилий. Мы знали, что Катаев любит Одессу, как страдает от плохого ухода за одесской стариной.

Во время обсуждения с Евгением Ермиловичем очередной попытки поколебать местные власти он сказал:

– Вы бросили вызов влиятельным чиновникам. Не бойтесь мести, провокаций с их стороны?

– Боюсь. Но вы лучше меня знаете, что гадкое чувство страха не может пересилить чувство долга. Первое время на фронте были ситуации, когда страх нередко закрадывался в душу. Боялся не столько смерти, она постоянно нас окружала и в какой-то мере становилась привычной, больше боялся угодить немцам в плен. Чтобы избежать плена, я в критические моменты держал в руке гранату-лимонку с вынутым предохранителем. Она хорошо помещается в ладони, разжал пальцы – и лимонка сработала. Лимонка в руке рождает уверенность. Металл гранаты от тепла руки нагревается, и становится тепло в груди. Так я укротил страх.

То была война, был фронт, было ясно, кто враг и как с ним поступать. А сейчас... Если честно, во время нелицеприятных объяснений с одесским градоначальником мне не хватало лимонки в руке.

– Может быть, имя Катаева послужит нам такой лимонкой и сдвинет дело с мертвой точки. Я помогу, езжайте в Переделкино, я свяжу с Валею.

На следующий день я приехал к Евгению Ермиловичу, и он дал мне письмо к Катаеву, в котором изложил суть проблемы и представил меня: «Исаак Абрамович тебе понравится, он человек без страха и ведет борьбу в одиночку, – и в категорической форме добавил: – Они задумали уничтожить наш Фонтан. Твое вмешательство может предотвратить катастрофу».

Дома я на всякий случай заготовил проект письма Катаева в «Известия».

Писательский поселок Переделкино встретил меня блестящими на солнце стройными березами, напоминавшими трубы огромного органа. Мне даже показалось, что я слышу густые низкие органные аккорды. В доме Катаева меня принял его сын Павел. Он был любезен, но, извинившись, сказал, что отец очень занят и просил его не беспокоить: он заканчивает правку новой работы, которую днями должен сдать в журнал «Новый мир». Я сказал, что у меня небольшое, но крайне важное письмо от Запорожченко. Павел заулыбался и сказал:

– Дядя Женя – это святое, – и понес письмо отцу.

Через короткое время я увидел, как с лестницы второго этажа бодро спускается Валентин Петрович Катаев. Я пошел к нему навстречу. Катаев радостно обнял меня, словно обнимал Одессу, и спросил:

– Как поживает Одесса, как выглядит Женя?

– Одесса ждет помощи, а Евгений похож на роденовского Мыслителя.

Катаев залился долгим смехом:

– Какое великолепное сравнение! Как это я раньше не заметил? Разрешите мне им воспользоваться, если представится случай.

– Конечно, с удовольствием, буду польщен.

Наша встреча произошла на застекленной террасе. Там стоял довольно длинный, крытый светлой скатертью стол, за который хозяин меня усадил, а сам сел напротив.

– А теперь поговорим за Одессу, как говорят у нас дома.

– Валентин Петрович, я знаю, вы очень заняты, извините меня...

– Никаких извинений. Одесса стоит всех романов, без нее не было бы Бабеля, Багрицкого, Ильфа, и даже Олеси не было бы без Одессы, и всех-всех, им нет числа. И моих вещей не было бы. Книга, которой я теперь занимаюсь, тоже во многом об одесситах. Первая из двух была «Трава забвенья», а эту назвал «Ветка Палестины», если цензура позволит. (Потом она стала известна как «Алмазный мой венец».)

– Чтобы не отнимать у вас время, я набросал проект в «Известия».

Он взял у меня письмо и внимательно прочел.

– Убедительно и точно написано. Ничего лишнего. Ни одной запятой не добавлю, дайте ручку, подпишу, – подписал и вдруг спросил: – Вы сами пишете?

– Только кассационные жалобы.

Катаев рассмеялся и сказал:

– Это хорошо, это важно, но чувствую, что могли бы больше, у вас такой богатый жизненный материал и перо не только юридическое.

– Спасибо, большое спасибо за все, Валентин Петрович. Я, пожалуй, поеду, хочу успеть сегодня в «Известия».

– Успеете, успеете... Сперва вы у нас отобедаете, затем вас мой сын отвезет на машине. У нас сегодня фирменное блюдо моей Эстер – вареники с вишнями. Что касается «Известий», влияние этой газеты не гарантирует успеха у киевской власти. Критика «Правды» действует безотказно, но в «Известиях» есть одесситы... У Киева вообще сложные отношения с Одессой. *Одесса – город Екатерины, город Пушкина, русский, еврейский город, и это там добрые чувства не вызывает.*

Вареники были очень вкусные, но самым интересным были вопросы Валентина Петровича об Одессе, его комментарии и короткие зарисовки его любимых уголков.

Павел действительно скоро довез меня в Москву, к подъезду «Известий» на Пушкинской площади. По дороге домой расспрашивал о Запорожченко, увлекается ли еще яхтой. Рассказал, что

его сестра замужем за еврейским поэтом Вергелисом, редактором журнала «Советиш геймланд».

Вскоре в «Известиях» была опубликована статья «Бульдозер у сада», в которой была дана резко негативная оценка плана застройки Большого Фонтана. Ссылка газеты на письмо Катаева усилила нашу борьбу.

Большой Фонтан был спасен.

Я всегда помнил слова Катаева о том, что я должен писать, что накопленный жизненный материал представляет интерес. В какой-то мере я последовал совету классика, выпустил несколько книжек. Острая потребность рассказать о необыкновенном человеке, казавшемся мне олицетворением едва ли не всего двадцатого века, возникла, когда ближе познакомился с Евгением Ермиловичем Запорожченко.

Мне до сих пор не дает покоя мысль-загадка: почему глубокий писатель-психолог не воспользовался таким богатым человеческим материалом, как жизнь и приключения Запорожченко – друга детства и юности, близкого товарища всей жизни? Представляю, как этот зашифрованный персонаж украсил бы алмазный венец.

Р. С. Умер Запорожченко в 1990 году в возрасте 92 лет.



Сокровища из сокровищницы

302 Татьяна Щурова
«Ты – любовь моя!»

Татьяна Щурова

«Ты – любовь моя!»



Зоя Вотинцева. 1957 г.

Театральные зрители с солидным стажем, уверены, помнят солистов Одесского театра музыкальной комедии Зою Вотинцеву и Всеволода Применко. Эта супружеская пара влилась в труппу в 1958 году и активно проработала здесь до середины 1980-х гг. С первых же сезонов почти в каждом спектакле в программах можно было прочесть их фамилии. Вотинцева обладала прекрасным лирическим сопрано оперного масштаба (выпускница харьковской консерватории) и, конечно, отлично справлялась с партиями в классических опереттах – «Сильве», «Марице», «Фраските», «Летучей мыши», а также в спектаклях современных авторов – «Сердце скрипки», «Невесты не должны плакать», «Под черной маской» и еще мно-

жестве других. О том, что артистка была всегда органична на сцене и очень хорошей партнершей, писали, в частности, Юрий Дынов и Николай Огренич.

Применко пришел на профессиональную сцену после окончания педагогического института и вокального отделения музучилища. Артист проделал колоссальную работу по освоению профессии. Он также был прочно занят в репертуаре театра. Отмечали его хороший вокал, выразительную внешность, актерское мастерство. Добавим, что этот артист был необыкновенно обаятелен: сегодня это определяется словом *харизма*. «Он отлично вписался в то, что определяет своеобразие творческого почерка одесской труппы, – корректность и легкость сценического поведения», – отмечали столетние критики во время гастролей театра. Особенно запомнился артист в роли профессора Хиггинса в спектакле «Моя прекрасная леди». Об этой его удаче писали, например, известные театральные критики Лидия Жукова и Елена Грошева. Заслуженный артист республики Вс.Д. Применко сыграл в одесском театре свыше ста ролей. К сожалению, он очень рано безвременно ушел из жизни. Зоя Николаевна в 1984 году оставила актерскую карьеру и проработала много лет педагогом по вокалу в театре, заслужив огромную благодарность и добрую память у представителей разных поколений ведущих солистов...



Всеволод Применко

Несколько лет назад дочь Вотинцевой Наталья Борисовна Коваленко передала мне семейную реликвию – переписку молодых начинающих артистов Зои и Всеволода, которые были вынуждены некоторое время жить в разных городах, чтобы окончательно проверить не только свои творческие возможности, но и чувство, связавшее их в Харьковском театре музыкальной комедии. Семьдесят писем, написанных в течение 1956-57 гг. Можно с уверенностью сказать, что для героев это был «год, как жизнь», – столько им пришлось за это время передумать и преодолеть.



Эти письма, по нашему мнению, могли бы стать основой для хорошего сценария фильма о молодых талантливых людях, цельных натурах, для которых очень важно было сохранить подаренную жизнью большую любовь, но при этом оба понимали, что без искусства, музыки они не смогут быть до конца счастливы. Ему, неопытному актеру, необходимо было утвердиться на сцене, войти уверенно в профессию. У Зои же в силу огромной занятости в театре оперетты появились проблемы с голосом, и она уехала в Челябинск к знаменитому оперному дирижеру Исидору Заку. За год ей пришлось испытать надежду и восторг, а затем, увы, и большое разочарование при подготовке серьезной работы, которая оказалась вредной для ее голосового аппарата. Челябинскому театру она нужна была для партии Ярославны в опере «Князь Игорь»,



Сцена из спектакля «Невесты не должны плакать»

и никто из руководителей театра не стал считаться с трудностями вокалистки. Трудолюбие и целеустремленность не спасали положение. В письмах они описывали друг другу свои маленькие победы, рассказывали о сложностях. Учились терпению, умению ждать и очень хотели сохранить свою любовь. И это им удалось! Время испытаний прошло не напрасно. Творческая зрелость была добыта дорогой ценой, а школа жизни закалила и дала отличные результаты.

Хотим предложить фрагменты этой удивительной переписки, которая, уверенны, не оставит вас равнодушными.

Иллюстрации – из фонда отдела искусств ОННБ и архива Одесского академического театра музыкальной комедии им. М. Водяного



Всеволод

...Я хочу разделять с тобой всё – и горести, и радости...
Хочу быть с тобой на расстоянии ежеминутно...

10.08.56

Всеволод

...Премьера прошла хорошо, с успехом. Чувствуется, что зрителю спектакль нравится. Смотрится легко, а это важно. На обсуждении просмотра особенных дифирамбов не пелось... Но меня «немного» похвалили. А на премьере все высказывались и благодарили, и даже перехвалили («откуда



«Москва. Черемушки». Лидочка – Тамара Ланько, Борис Корецкий – Всеволод Применко



столько обаяния, простоты, непосредственности и умения общаться со зрителем»). В общем, я произвел впечатление. Сейчас очень много работы...

18.06.56

Зоя

...Ты ведь знаешь, что для меня значит музыка. Она меня спасает от всех бед... Бросать не начатое было бы глупо и смешно. Отступить, хотя и тяжело одной, нельзя! Да и не в моем характере. Я вот и убедила себя, что так нужно и должно быть. Мечтам ведь нелегко сбываться, иначе было бы неинтересно жить, и они не были бы мечтами... Сейчас, как представляю себе, что это надолго и что в этом холодном чужом городе я одиноко должна зимовать,



«Моя прекрасная леди». Хиггинс – В. Применко, Элиза – Л. Сатосова, Миссис Хиггинс – Е. Дембская

ужас охватывает меня. Становится даже иногда бессмысленно жертвовать всем, но... музыка, настоящее вокальное мастерство, которое я только здесь могу приобрести, и это счастливый случай – вот что меня удерживает от глупых решений...

Дорогой простудилась, смена климата, и я заболела сильно гриппом. Но лежать не хотела и перенесла все на ногах... Лечилась я отчаянно, все, что ни говорили, и сама знала, все проделала, и вот только сейчас прихожу в себя. И все это время учила партию Ярославны. Правда, шепотом, но все-таки по два урока в день мне выписывали. Скоро на память смогу петь...

18.08.56

Всеволод

Любимая, родная моя, Зайка, здравствуй! Здравствуй, мой дорогой «далекий» дружок. Нет, не далекий. Ты здесь, рядом со мной. Я вижу, чувствую тебя... Иначе быть не может. Только и только так!.. Родная моя певунья, я радуюсь и хочу радоваться каждому твоему успеху. Хочу разделить с тобой все: радость, успех, желание, о горе я уже не говорю, да и не надо его. Его было вдоволь. Хочется уже противоположного. А оно должно быть. Если уж приносить себя в жертву, то за определенную мзду. Милая,

любимая моя, работай, учись, дерзай! Пусть наша любовь, хорошая, чистая, будет твоим верным спутником, пусть она озаряет тебя, вдохновляет... Ведь я боготворю тебя, богиня ты моя неземная, любовь моя необыкновенная. Хочется пронести это чувство, которое мы познали с таким трудом и всякими препятствиями, – гордо и горячо, страстно и красиво...

22.08.56

Зоя

...Сейчас моим другом сделалось радио. Я, когда дома, то все слушаю, и мне кажется, что все передачи – стихи, песни, романсы,



«Севастопольский вальс». Всеволод Применко и Людмила Сатосова



музыка – посвящены нам! Это потому, что в них рассказываете тоже о любви. Они очень часто созвучны с нашими переживаниями и чувствами... Не дождусь, когда на сцене смогу выразить свое наболевшее, ведь Ярославна, если ты прочтешь ее тексты, вся скорбит, безумно любя своего князя. А я постоянно в мыслях о моем князе Всеволоде. Что ни строчка, то мои мысли, слезы, чувства...

Я тебе писала, что болела гриппом и все время пела, то есть учила партию Ярославны. Правда, не полным голосом. Вот через 15 уроков появилась необходимость петь полным





Светлана – Галина Смирнова, Юрий – Всеволод Применко

голосом. Начав петь широким драматическим тоном, поняла, что не вытяну... Зак на уроках настроил меня на высокую позицию. Все было бы благополучно, если бы он не злоупотреблял моими верхними нотами, заставляя повторять по 7-10, а то и более раз верхушки и подходы к верхним нотам. У меня получались красивые устойчивые ноты, и он был доволен. Мы увлеклись и не подумали, что это меня утомит. Я всецело доверилась его опыту. Напевшись досыта, я «села», вдруг захрипела, стал не смыкаться звук, рваться и т. д. Молчу 5 дней. Что будет, не знаю... Вот такие дела. Но я сейчас не переживаю. У меня есть время и возможность все выдержать и проверить. За этим, собственно, я и приехала...

26.08.56



Всеволод

...Это действительно большая жертва... Ты права, нужно время, ждать... А ждать нет сил. Но подождем, давай еще наберемся терпения, воли, упорства. Главное – спокойствие и присутствие духа. Может, ты начинаешь в себе сомневаться? Гони прочь эти мысли, они мешают очень во многом. Верь в себя. Иначе быть не может!..

Еще один вопрос. Насколько я помню, ты мне не говорила, что тебя берут в театр как драматическое сопрано. Для меня это прозвучало новостью и неожиданностью, потому что все время шел разговор о «Татьяне», и твои отрывки из «Аиды», которые ты пела на прослушивании, интересовали их как материал

и наличие диапазона... Разве можно тебе петь, если на то пошло, драматическую партию широким звуком, твоей машиной? Кому это нужно? Ты уже работаешь в оперном театре, и тебе не следует показывать свою мощь. Тебе необходимо показать свое мастерство, умение владеть голосом. Показать, что ты умеешь петь – с большой буквы! Понимаю, трудно это сделать сразу, сменив оперетту – театр, где никто не пел, на оперу, где все поют. Это необычайно трудно. Знаю. Но в тебе еще не убиты хорошие задатки и понимание о вокале, ты же прекрасно умеешь владеть собой и петь...

...Грущу без тебя и по тебе. Ты не исчезаешь из моего сердца, из воображения. Я тебя вижу, чувствую все время, каждую минуту. Если бы ты была здесь, то Харьков не был бы таким неприятным и чужим. Я не вижу никакого просвета в улучшении своего подавленного состояния. Без тебя я половина человека. Ты забрала с собой и увезла все, что у меня было ценное. Я остался только

подобием и живым механизмом, напоминающим человека. Странно!.. Правда, горю я в работе – это единственное мое утешение, единственное, что я делаю с желанием... Работа сейчас серьезная. Очень много занят, днем и вечером. Танцы, массовки, буду играть премьеру...

6.09.56

Зоя

...Нет в мире невозможного. Есть только слабые существа. Неужели у нас не хватает сил, умения, стремления, желания, здоровья, чтобы сделать нашу жизнь такой, какой мы ее хотим, понимаем и видим? Ведь невозможно же было продолжать так жить. Если мы не можем жить без настоящей любви, то, любя искусство, музыку больше жизни, можем ли мы остановиться, успокоиться и не достигать настоящего мастерства? Это закономерно. Мы никогда не успокоимся на достигнутом, и я это тоже поняла. Я рада, что здесь нахожусь, что могу все взвесить, продумать и работать, работать над самым дорогим – голосом. Да! Это так! Мы рабы своего собственного голоса, и пока мы не научимся





«Цирк зажигает огни». Владимир Гузар, Зоя Вотинцева, Семен Гохберг

им владеть, нам не выйти из этого рабства... И вот сейчас я сознаю всем своим существом, что настал в моей жизни кульминационный момент. Или я запою и буду владеть голосом (а не он мною) сознательно, умело, совершенно, или я должна буду задуматься о другом... Я запасусь терпением все выдержать, преодолеть. Хочу еще и победить! Вот мои мысли, желания, чувства, какими я здесь живу. Поверь мне, любовь моя, что я не могу и не хочу заниматься более ничем. Никто меня не сможет увлечь и отвлечь от моей идеи и работы – это моя жизнь!..

Конечно, хочется встречи! Обязательно придет час свидания. Будем в это верить! Ждать! Зависит только от нас и нашего отношения к работе и успеха в ней! Поэтому давай трудиться! Ты должен запеть. Работай!.. Ты спрашиваешь, в чем я нашла утешение и немного успокоилась? Только в музыке – настоящей, глубокой. Только в работе! Только в мечте о цели! В вере в будущее! В нашу любовь и музыку!

15.09.56



«Обещания... Обещания». Всеволод Применко и Михаил Водяной

Зоя

...Ты должен петь! И немедленно приступи к этому!.. Хочу работать вместе с тобой и жить в одном городе. И это очень зависит от *твоей* воли и работы. Будем трудиться вместе пока в разных городах. Но верю, что настанет счастливый день, когда мы соединимся. Нам предстоит многое еще пережить, перенести: трудности, упреки судьбы, отчаяние, но в борьбе мы закаляем волю, вырабатываем уверенность, уравновешенность, спокойствие, а главное, приобретаем *мастерство*...

16.09.56

Всеволод

...Голубка моя, можешь меня поздравить с еще одной победой. Сегодня премьера «С 1-м апреля». В общем, прошла неплохо. Спектакль проходящий, это не золотой фонд. Но для меня он сделал много. Это еще одна ступень выше. Хочу немного похвастать. Никто в театре не ожидал от меня нечто подобное в этой роли. Представь себе – успех!.. Делаю свое дело. Мне это необходимо.



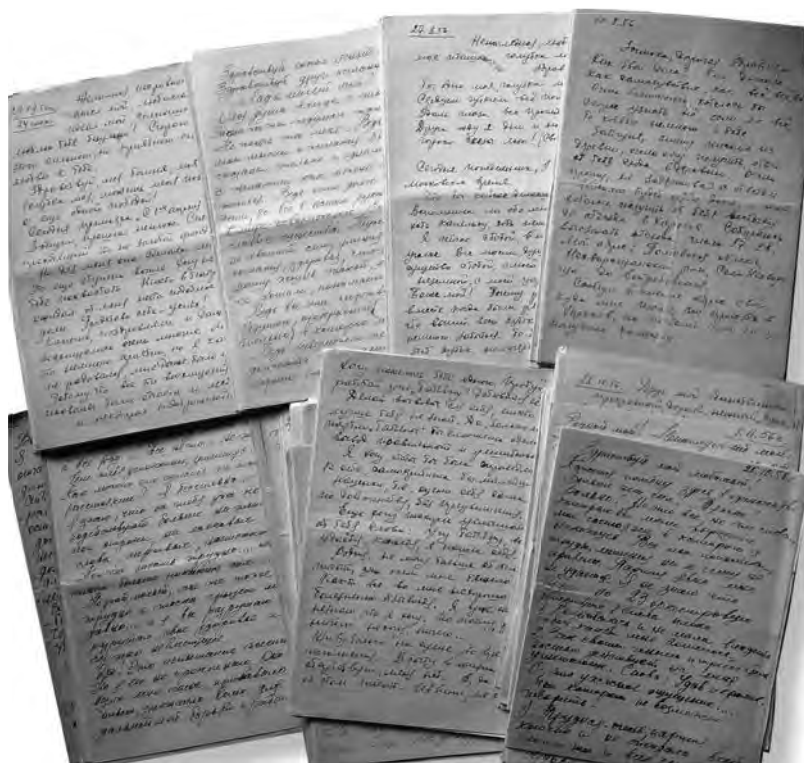
«Моя прекрасная леди». Хиггинс – Всеволод Применко, Дулиттл – Михаил Водяной

Наконец-то меня заметили... В душе рад, рад тому, что смело шагаю вперед. Дерзать – так дерзать! Хочу, чтобы и ты немножко порадовалась вместе со мной этому маленькому успеху, для меня знаменательному шагу... Еще предстоит сделать очень много. Считаю, что будущая «Марица» решит все. Если будет не последним моим спектаклем в этом театре, то, по крайней мере, предпоследним. Поэтому надо потрудиться...

29.09.56

Зоя

Я увлеклась работой, и был успех в уроках с Заком. Научилась, наконец, свободно выпускать свой голос, не жать и не давить на звук. Но вся беда, что удержать все найденное трудно. Зак кропотливо и терпеливо работает над каждой ноткой и фразой и не дает двигаться вперед, если недоволен звуком. Я, конечно, не привыкла к такой тщательной работе в классе, и иногда меня раздражает это топтание на месте. Но оказывается, все, что я по-



нимала в вокале и знала раньше, это ноль. Сейчас пришлось познакомиться с новыми требованиями и приемами. Конечно, закон один для всех поющих – петь свободно, высоко, звонко на дыхании и т. д. Но это все разговоры, а сделать не так-то легко... Вообще говоря, мне уже хотелось бы спеть в спектакле, но страшно. У меня совсем пропал весь мой опыт. Я сейчас как бы вновь рождаюсь... Зака обмануть невозможно в частоте интонации, и то, что у другого дирижера сошло бы, он не пропустит. Зак заинтересован показать меня в лучшем виде, так как сам же меня рекомендовал и брал, и, кроме того, хочет показать и свою работу. Мне жаль подвести. Волнуюсь – требования беспощадные. Все мои публичные



«Марица». Марица – Зоя Вотинцева,
Тассило – Юрий Дынов

попытки в этой партии пока что были неудачными. Но главное, что меня волнует, – это связки. Все-таки они утомляются чаще, чем мне бы хотелось...

14.10.56

Зоя

...Мой дебют переносится... Мне стало, наконец, все ясно. Партия Ярославны меня утомляет. Петть ее каждый день нельзя, а приходится. Вот два месяца я пою ее полным голосом. Я разучилась петть вполголоса... Я вообще не могу понять, что со мной стало происходить, когда я выхожу на сцену. Хуже школьницы, вся во власти стихии, совершенно не владею собой... Я боюсь за голос, мно-

го думаю, мудрю, и все это мне мешает, я волнуюсь, и дыхание не спокойно... В общем, если ты вспомнишь свой первый выход с вокальной партией, то это примерно те же муки и волнения. Вот тебе и опыт... А все потому, что я мало репетирую на сцене. Это мой третий раз, и то не целиком, а по кусочкам. А тут еще голос подводит. О, если бы я начала с лирической партии!.. Снова в бой! Вера меня еще не покинула. Знаю, что уже запела бы, если бы не Ярославна...

19.10.56

Всеволод

...О, время! Как оно значительно для жизни человека! Оно делает все, все ему подвластно. И ранит, и залечивает, обнадеживает и губит! С нами оно поступило жестоко... Перенеся все трудности, все невзгоды, оно нас соединяло все ближе и ближе. И вот, когда казалось, что достигаешь цели, когда любишь и любим, когда

наступила минутка блаженства, полного радостного блаженства, когда любовь наша не знала предела, когда, как казалось, только настал медовый месяц, который мог бы быть значительно дольше, продолжительнее, – разлука!!! Принесено много жертв во имя нашей любви, очень много... В отношении себя я лично не жалею ни о чем. Я познал прекрасное, настоящее чувство, влечение, страсть к любимому человеку. Зайка, родная, любимая, ты вдохнула в меня впервые новое... Я только где-то глубоко мечтал об этом, мне хотелось так полюбить, искренне, хорошо, красиво, чтобы я мог молиться, поклоняться своей любимой, боготворить ее. И эта богиня спустилась с небес – это ты, моя любовь!..

20.10.56

Зоя

...Ты же прекрасно понимаешь, что как бы мы ни были довольны и счастливы вместе, мы все равно не сможем жить без искусства, вне музыки. Только в творческом удовлетворении наше счастье будет полноценным... У меня были безумно трудные



«Моя прекрасная леди». Элиза Дулиттл – Людмила Сатосова



минуты отчаянья. Но, рассудив все и взвесив, я поняла одно – сдаваться я не привыкла, и отступать тоже. Только терпение и труд способны победить...

3.11.56

Всеволод

...Скорее, скорее хотелось бы, чтобы ты уже спела, окунулась в работу, чтобы на практике, на сцене совершенствовалась, росла. Теория остается теорией. Поменьше рассуждений, разговоров. Ты вновь начала копать в себе, отыскивать какие-то причины, тормозящие тебя в работе. Поверь мне, умоляю, поменьше мудри – вот тебе мой совет... Искусство не любит стараний. Оно требует простоты, искренности и свободы – в этом залог успеха. Вдохновения не ждут – оно приходит во время работы (правда, это немного спорно). Когда-нибудь пофилософствуем. Я просто не могу без друга, без любви, без совета, критики – нет тонуса. У меня даже появляется заметная инертность. И что интересно, вот в жизни, в быту, даже на репетиции (но должен сказать, что усталость здесь тоже немаловажна, ведь я не помню, когда у меня был свободный вечер) я стал заме-



Чеснок – Всеволод Применко

чать не проявление интереса к происходящему вокруг, мне безразлично, что говорят, о чем судят и спорят. А вот на спектакле я только и живу. Это уже вошло в привычку – включение в состояние мгновенно. Ты еще такого качества во мне не замечала. А это хороший фактор. Это – почти профессионализм...

27.12.56

Зоя

...Дали 8 января утром спектакль. Зная все, волнуясь и отчаиваясь, я приходила в ужас и страх... Но собралась. Вспомнила былые дни успеха, свое поведение и состояние сценического мастерства... Мне удалось создать публичное одиночество, которое меня и спасло... Я играла и пела для нас всех и для себя... Была удача, совершенно для всех неожиданная. Наконец-то за столько времени ко мне пришло (былое) самообладание, бесстрашие, уверенность, спокойствие и вдохновение. Голос звучал, две картины провела хорошо. Была сама рада и счастлива своей внутренней победой над собой и всеми. До шестой картины (плач Ярославны) отдыхала два часа, молчала. Вышла петь «плач», хотела полным звуком, но почувствовала, что сил физических вытянуть не хватит, убрала звук и пела легко, лирически... Дирижер мне аплодировал. Хор, балет поздравляли, солисты тоже, желали дальнейших сил в работе... Я была наконец-то счастлива... один день... из пяти месяцев пыток. Зак сказал, что это было лучше, чем на репетиции, но плач спела плохо, сил не хватает вытянуть... Мне было больно слушать это все...

...Столько истрачено здоровья... Нужно взять все возможное от театра... Уехать всегда можно, пока ведь некуда. А я сейчас еще нуждаюсь в закреплении найденного, и это считаю главным... Я совершила огромный вокальный рост. Моя середина! Зазвучала, выровняла голос! Это же надо закрепить! Обязательно еще позаниматься...

16.01.57

Всеволод

Искусство требует жертв!! А сколько еще можно их приносить? Очевидно – всю жизнь!.. Я поздравляю тебя от всей души с первой

маленькой победой и хочу, чтобы твои стремления и желание работать на оперной сцене *сбылись*. Пойми, родная, одно, твоя радость – это моя радость... Ты права, все сговаривается не в нашу пользу, всегда приходится что-то новое преодолевать. Но такова жизнь. А сколько мы уже преодолели? Оглянись, посмотри. Ведь любо посмотреть. Правда, чего это стоит? Это время, уже почти полгода, а сколько сделано? Разве мало? Нет, родная, не мало...

Начиная с середины сентября и по сей день я очень загружен работой, попросту говоря, перегружен. Пять месяцев ударной работы. Не ужасайся, но 27-28 спектаклей в месяц! Я один на весь репертуар. Сегодня 21 января, а у меня уже 22 спектакля. Это, конечно, принесло свои плоды. Но и стоит здоровья... Если бы я меньше работал, я бы сошел с ума. Я уже привык так работать. Это не хвастовство, а результат нашей «необычной» любви. Я переключился на работу и в этом обрел любовь и мастерство. С нового сезона хочу уходить. Теперь нет во мне новичка в искусстве, и мне не страшно начать работать в новом коллективе. Я наверстал упущенное, работал втройне, и это дало результат...

21.01.57

Зоя

...Это испытание жестоко! Но я его не проклинаю. Оно вернуло мне голос, прибавило отваги, закалило волю для дальнейшей борьбы и работы. Пострадали только наши сердца. Наши чувства и стремления только окрепли. Теперь ясно одно, что больше так продолжать нельзя, да и не такие уж мы бессильные, чтобы не придумать выхода и не изменить, наконец, в нашу пользу. Вернувшись снова в оперетту, я имела в виду более всего наше соединение. Ведь любая другая проба в опере отдалила бы нас еще больше и еще на долгие... Есть много городов и оперетт, и мы сумеем найти себе место, то есть выбрать город и театр...

15.03.57



Путешествие

324 Аркадий Рыбак
Половина континента

Аркадий Рыбак

Половина континента

«На далекой Амазонке...»

Если бы я заканчивал эту строку из любимого с детства стихотворения Редьярда Киплинга, то сегодня с легкой печалью вслед за ним констатировал бы: «...не бывал я никогда». Так далеко не забирался, хотя Таня и я побывали во многих странах. А вот автор сегодняшней публикации имеет другой опыт. Знаю Алика, сына друга и коллеги, известного журналиста Михаила Рыбака, много лет, а он уже давно Аркадий Михайлович, редактор газеты «Порто-Франко», обладатель множества премий и дипломов. И смело может завершить поэта по-своему. И он это сделал в главах новой книги о путешествиях по земному шару – пятой из серии «Хорошо ли там, где нас нет?». Этот том посвящен Южной Америке. С автором, как всегда, на этом континенте побывали жена Эльвира и дочь Ольга. Публикуем одну из глав, посвященную Великой реке.

Шестой том уже в работе.

Феликс Кохрихт

Мы летели уже несколько часов, когда под крылом самолета возник сплошной зеленый ковер. Он простирался повсюду, и конца ему не было видно. Говорят, что весь этот регион можно увидеть только из космоса. Неудивительно. Амазония раскинулась на территориях девяти стран и занимает площадь в пять с половиной миллионов квадратных километров! Но большая часть этих тропических лесов и бесконечных водных артерий находит-



ся в Бразилии (это чуть меньше половины всей площади гигантской страны). Сверху разные оттенки зеленого пререзают узоры отблескивающих на солнце рек, озер и протоков. Ученые до сих пор продолжают подсчитывать одни только притоки реки Амазонки, определяя их число почти в тысячу. Тропические джунгли очень мало заселены. Многочисленные экспедиции пытаются веками проникнуть в тайны этих мест и всякий раз удивляются своим же находкам. На берегах озер и рек все еще живет больше четырех сотен племен, из которых около семидесяти – по обычаям предков, без всяких достижений современной цивилизации. То и дело приходят сенсационные сообщения о том, что обнаружено небольшое племя, никогда не встречавшее ранее белых людей.

В этих непроходимых лесах, уместившихся в гигантской впадине, круглый год тепло и влажно. Средняя температура – 30 градусов. Часто идут теплые дожди, внезапно начинающиеся и так же неожиданно заканчивающиеся.

Наш самолет за четыре часа доставил нас из Рио в столицу Амазонии город Манаус. Но в сам мегаполис мы не поехали. Нас уже ждал автомобиль, лихо рванувшийся подальше от шума городского. Вскоре мы съехали по косогору прямо к реке. От берега

шел шаткий деревянный помост, к дальнему краю которого была привязана лодка. Обычная плоскодонка, каких полно на любых реках на всех континентах. Улыбчивый лодочник помог погрузить наш багаж и тут же отшвартовался. Нас сразу предупредили ни в коем случае не опускать в воду руки. Пираньи не дремлют.

Ровно застрекотал мотор нашей лодки. На берегу остались склады и редкие строения. Перед нами до самого горизонта вилась широкая речная лента. Вокруг – ни души. По обе стороны на буровато-красных почвах выстроились вдоль берегов гигантские деревья, корни которых скрывались в воде. Мы шли по Риу-Негру, одному из главных мощных притоков Амазонки. Эта река проходит по плотным породам плоскогорий и сохраняет прозрачность, хотя цвет воды у нее темный от многочисленных разлагающихся растений. В разное время года тут происходят паводки, при которых бескрайние территории затапливаются и высоко над поверхностью воды шелестят верхушки вековых деревьев. Кстати, именно масштабные разливы рек то и дело изменяют конфигурацию берегов, скрывают целые острова и намывают новые. Местные племена ставят свои жилища на невысоких холмах подальше от береговой линии.

Пока мы плыли по реке, в ней происходило какое-то движение. Мелькали зигзагами узкие тела водяных змей, шуршали под прибрежным кустарником игуаны и самый крупный в мире грызун капибара, где-то квакали древесные лягушки. Джунгли жили своей привычной жизнью. Весь пейзаж отражался в воде и как бы двоился. Наконец лодка ткнулась носом в песок. Мы переступили через низенький бортик и огляделись. От берега чуть вверх шли выложенные из досок дорожки. Нам взялся помочь молодой парень. Но внезапно он замер, глянул себе под ноги, изловчился и поймал пробиравшегося мимо броненосца. Парень очень бережно держал его за крепкий панцирь и демонстрировал нам.

В последние годы экотуризм стал популярен во всем мире. В джунглях Амазонии другого просто нет. Здесь не строят фундаментальных зданий, не прокладывают шоссе. Вот почему до отеля, в котором нам предстояло провести ближайшие дни, можно добраться только на лодке. Здесь плохо ловит сотовая связь, а в номерах нет привычных телевизоров и телефонов. Только

скрипучие кровати, небольшой шаткий шкафчик и очень скромный санузел. Да и сам номер – это хлипкое с виду деревянное строение на сваях, похожее скорее на упаковочную коробку для какого-то габаритного груза. Небольшие окошки затянуты мелкой металлической сеткой. Сами домики стоят прямо посреди джунглей. Из примет цивилизации – только проложенные между ними и столовой каменные тропинки. Сама столовая занимает небольшую бетонированную площадку с мощными столбами по периметру. Стен здесь нет, и во время дождя (шел он ежедневно) на ближайшие к краю столы прилетали плотные струи. Вся мебель сработана из тяжелого, неподъемного по весу дерева. Выбор продуктов невелик. Словом, условия спартанские. Джунгли. По вечерам тоскливо и тихо. Ночами за хлипкими стенами домиков все время трещат цикады и переговариваются лягушки, слышны шорохи и треск ломающихся веток, несколько раз над сельвой раздавался дикий крик рыжего ревуна – местной обезьянки, которой не спится по ночам.

Утром нас ждал крепкий парень в резиновых сапогах и с мачете в руках. Он повел нас вглубь джунглей, прокладывая себе дорогу методичными ударами мачете. Сразу за домиками отеля лес стоял такой плотной стеной, что без этой безжалостной рубки было не обойтись. Наш проводник посоветовал смотреть под ноги, чтоб не напороться на змей, крупных насекомых и не зацепиться за торчащие повсюду корневища деревьев. Парень то и дело останавливался и пытался провести для нас краткий курс выживания в джунглях. По его словам выходило, что со знанием дела тут можно прожить без всяких дополнительных средств. Главное – знать, что хорошо, а что плохо. И не перепутать. Например, гигантские молочные деревья дают сладковатый млечный сок, а знаменитое дерево кастанья – богатые белками бразильские орехи, которые массово экспортируют. А вот корни кустарника стрихнос лучше на вкус не пробовать, ибо именно они содержат смертельный яд кураре. Понятно, что плоды многочисленных пальм годятся в пищу, а из сока гевеи можно получить вязкое резиновое вещество. Проводник срывал какие-то листики и мелкие плоды, растирал их на ладони и сообщал об их целебных свойствах. Но поскольку жить в тропических

лесах мы не планировали, эту часть информации с интересом послушали, но запоминать не стали. А вот красное дерево махаго-ни, славящееся во всем мире своей крепкой древесиной, вызвало большой интерес. Как и яркие цветы, пышные заросли папоротника и, конечно, удивительное творение природы необъятная сейба. Эти стройные красавцы вырастают до полусотни метров в высоту и бывают свыше десяти обхватов у основания стволов. Сейба поддерживает свои ветки дощатыми подпорками-корнями, создавая целую композицию. Между прочим, многие высокие деревья в джунглях имеют гладкие и совершенно голые стволы, вокруг которых вьются лианы, а у их подножья растут густые кустарники и деревья поменьше, которые любят тень и влагу. В этой чаще не пробиваются прямые солнечные лучи и стоит легкое марево из-за испарений.

Тут я отвлекусь от прогулки по джунглям и напомним, что леса Амазонии – самый мощный кондиционер на нашей планете. Здесь вырабатывается 20 процентов всего кислорода. Потому сохранение этой удивительной экосистемы в общих интересах. Иными словами, мы с вами пока еще свободно дышим благодаря непролазным лесам. Вот только не всем хочется об этом думать.







Изначально лесные массивы занимали больше половины территории Бразилии, сейчас – вдвое меньше. Колонизаторы рубили ценные породы деревьев и вывозили их в Европу, их дело продолжили дельцы независимой страны, а в наши дни процесс не прекращается. К тому же регулярно выгорают колоссальные лесные массивы. То ли случайно, то ли в результате поджогов. Выгоревшие площади не засаживают новыми деревьями, а расчищают под плантации. Только в 2019 году в стране сгорело два миллиона гектаров сельвы! Конечно, погибли тысячи редких зверей и птиц, по разнообразию которых с Амазонией не сравним ни один регион земли. Ученые классифицировали здесь до сорока тысяч видов растений, две тысячи видов птиц и порядка тысячи млекопитающих, а водоемы кишат диковинными рыбами (более двух тысяч видов). Все эти данные считают не особо точными, ибо отдаленные участки региона все еще мало исследованы.

...Нам, конечно, занятно было покачаться на лианах и попытаться с их помощью перелететь через предполагаемую преграду. Интересно из подручных средств смастерить лук и стрелы, а потом попробовать попасть в цель. Ясно, что все эти развлечения – для туристов. Жизнь аборигенов куда прозаичней и суровой.

На небольшом деревянном суденышке, выкрашенном яркими красками и отражающемся в тихой воде, мы не торопясь поплыли вдоль берега. Дико, пусто, тихо. Когда кораблик ткнулся носом в мокрый песок, и нам предложили сойти на берег, ничего не говорило о присутствии в этом месте людей. По песчаному косоугру мы вскарабкались на невысокий холм и там, в зарослях пальм и гевеи, увидели крытые сухими листьями приземистые домики с террасами. Они стояли на сваях, ибо в паводок вода добиралась и до них. Это была небольшая деревня, каких в джунглях сотни. Встретившие нас люди называют себя кабокрос. Они потомки от смешанных браков местных индейцев и европейцев из Южной Европы. Живут они натуральным хозяйством. Еды и воды вокруг вдоволь. Ловят рыбу, выращивают маниоку. Нам показали, как допотопными каменными жерновами перемалывают зерна в муку, как по старинке пекут пресные лепешки. Неплохой заработок был у кабокрос в период высокого спроса на каучук. Тогда они собирали и продавали сок гевеи. Сейчас резину делают



больше для собственных нужд теми же примитивными способами, как и сто лет назад. Мужчина средних лет сидел на земляном полу просторной беседки и держал в одной руке толстую палку, в другой – черпак, которым из сосуда набирал тягучую белую массу. Он лил сок гевеи на палку, которую постоянно вращал над дымящимся очагом. Словно жарил тушу на вертеле. Вокруг палки во время этого копчения нарастал слой черной резины. Мужчина не обращал внимания на зрителей и продолжал свою работу, казавшуюся бесконечной.

Кроме похода в джунгли и визита к кабокрос, которые составляют почти две трети всех жителей амазонской агломерации, туристам, как правило, предлагают еще три забавы. Одна из них – ловля пираний с небольших мостков над водой. На крючок на низывают мелкие кусочки мяса и, забросив удочку, ждут прожорливую рыбку. Нам с клевом не везло. Пирания попала только нашей юной дочурке.

Другое развлечение происходит ночью и захватывает дух. Особенно у слабонервных. В кромешной тьме вы грузитесь все на те же плоскодонки с низкими бортами и отплываете в неизвестность. На носу и корме размещаются местные ребята, кото-

рые, собственно, и ищут места обитания аллигаторов. Вы спросите, зачем их вообще искать и почему именно в темноте? В этом и фишка. Крокодилы отправляются спать в прибрежные заросли, а обнаружить их можно по светящимся глазам. Один из кормчих изредка направляет фонарик на берег и, если видит красные точки, тихо подгребают к ним. Пассажирам все это время нужно не издавать звуков и водичку не трогать. У женщин, как правило, возникает вопрос: а не увидит ли нас крокодилище первым и не захочет ли перевернуть нашу посудину? Я не знаю ответов. Могу только сказать, что прогулка по кишасей пираньями и аллигаторами ночной безлюдной реке бодрит. О происшествиях нам не сообщали. Возможно, крокодилы лодками вообще не интересуются или дремлют с открытыми глазами. А уж пираньи сами из воды не выпрыгивают. Их и мясная приманка не всегда привлекает. Разве что кровь...

Пришло время рассказать о третьем пункте развлечений, где все без обмана, но при этом удивительно и наглядно. Так называемая «свадьба рек» происходит неподалеку от главного города Амазонии. Каждый день двухпалубные деревянные кораблики отправляются туда, где сходятся воды Риу-Негру и Солимоэс (так называют верхний участок Амазонки, берущей начало в перуанских горах). Казалось бы, что тут такого? Ежесекундно тысячи притоков впадают в магистральные реки, воды их смешиваются и бегут себе дальше к морям-океанам. В том-то и дело, что здесь две реки умудряются на протяжении почти шести километров нестись вместе, но не перемешиваться. Узнать об этом очень просто. Цвет речных вод настолько разнится, что все видно невооруженным глазом. Вот за этим сюда и едут.

С верхней палубы суденышка уже издали стали видны разноцветные потоки. Темная вода насыщенной минералами Риу-Негру неторопливо текла рядом с чуть более стремительной молочно-бежевой массой Солимоэса, в которой полно глины и песка. Линия раздела между ними словно под линейку отчерчена чьей-то уверенной рукой. Удивительное зрелище!

Впрочем, в природе всему находится объяснение. Понятно, что каждая река имеет свой маршрут и свою начинку. Но почему при слиянии потоки так долго не перемешиваются? Вот что

говорят знатоки. Прозрачно-темная Риу-Негру имеет температуру порядка 28 градусов и течет со скоростью всего два километра в час. Песочно-глиняная Солимоэс в точке слияния имеет температуру 22 градуса и скорость течения до шести километров в час. И этого вполне достаточно, чтоб еще какое-то время идти своим путем, приравливаясь к параметрам друг друга. Ближе к Манаусу потоки теряют границы раздела и постепенно становятся той самой мощной Амазонкой, которая остается уникальным явлением природы.

Об этой великой реке скажу еще кое-что. Местами она течет так широко, что берега не видно в самый лучший бинокль. Расстояние между берегами доходит до двухсот километров! Внутренняя дельта Амазонки самая обширная на планете и занимает площадь в сто тысяч квадратных километров, образуя множество рукавов и устьев. Дельта эта не выдвинута в океан, а скорее образует гигантскую воронку, из которой мутные воды выносит в Атлантику, и след их виден за три сотни километров от берега. Но есть у Амазонки и другая фишка – мощнейшие приливы, которые гонят массы воды вверх по течению. Ощущаются они почти за полторы тысячи километров от места впадения в океан. То есть до самого Манауса, о котором я и собираюсь рассказать дальше.



Ах, Одесса

- 334 **Леонид Авербух**
Навеяно Жванецким
- 337 **Александр Володарский**
Инфанта и дядя Митя
- 343 **Эвелина Шац**
Сказка про букву Ё
- 346 **Виталина Бабушак**
Иронические стихи
- 350 **Виктория Коритнянская**
Маленькая фантазия по дороге на работу
- 352 **Ольга Лесовикова**
Память улиц
- 357 **Элана Соколова**
Шмаль и Шпарь

Леонид Авербух

Навеяно Жванецким

Среди разделов нового сборника Леонида Григорьевича, о котором мы рассказывали в предыдущем номере, есть посвященный памяти президента Всемирного клуба одесситов. В него вошли короткие рифмованные «лёнчики» – так их нарек автор. Многие публиковались на наших и иных страницах, выходили в авторских сборниках, попали в Антологию одесского юмора.

На сей раз – премьера.

Известно, что Михаил Михайлович с симпатией относился к творчеству автора: как сын одесских врачей он уважал в докторе Авербухе профессионализм во всем и, разумеется, чувство юмора.

Следует отметить, что тот, в свою очередь, замахнулся на диалог с самим Жванецким, уместая в несколько строк ассоциации и рефлексии, возникшие как реакция на блистательны афоризмы и шутки Мэтра.

Повторю самый соблюдаемый мною Закон Жванецкого – в осмыслении и отображении старшего товарища по клубу «Беседа», знающего многолетний толк в предмете обсуждения:

Итог проблемы (ее соль)
Жванецким в заключение сведен:
Что в малых дозах алкоголь –
В любом количестве безвреден...

Феликс Кохрихт

* * *

Жванецкий сделал заключение
И сформулировал вот так:
Ученье – свет, а неученье –
Такой приятный полумрак...

* * *

Вот что с друзьями поняли мы дружно,
Я мыслью этой поделюсь с тобой:
Для мании величия – величия не нужно,
Вполне хватает мании одной...

* * *

Врачу учиться нужно без конца,
Я помню главное из институтских лекций;
Уверен, морда этого лица –
Объект для внутримышечных инъекций...

* * *

Всегда Михал Михалыч прав, да!
Его мы с вами помнить будем вечно...
Все люди – братья, это правда,
Но вот-по разуму – не все, конечно...

* * *

В моих глазах Жванецкий страшно вырос,
Простую истину сумевший углядеть:
Чтоб плесень получить, хотя бы сырость
Необходимо, братцы, нам иметь...

* * *

Сказалось бы – во всем ты прав.
И утешаться этим можно.
Но, гордо голову подняв,
Ползти... невероятно сложно.

* * *

Жизнь содержательна, как пухленькая книжка.
В ней все влечет, как упоительная даль;
И вместе с тем она похожа на рояль –
Два цвета клавиш и, конечно, крышка...

От редакции. Леонид Григорьевич знал, что мы поместим в этом номере его «лёнчики», посвященные Михаилу Жванецкому, но убедиться в этом не успел... Он закончил свой земной путь на 92 году жизни.



Александр Володарский

Инфанта и дядя Митя

Дядя Митя. Старший из трех братьев моего папы. Единственный из моих родственников – инженеров, учителей, врачей – человек искусства, или, как говорил мой папа, «паскудства». Когда дядя узнал, что папа с пяти лет таскает меня с собой на футбол, он был вне себя: – Зачем? Ты что, хочешь вырастить из него идиота?!

Должен признать: если смотреть только наш футбол, это вполне вероятно. Когда комментатор по телевизору произносил фразу: «Автор гола...» – дядю передергивало:

– Автор чего?

– Митя, автор гола – это тот, кто забил гол, – терпеливо объяснял ему мой папа.

И дядя всегда попадался на эту провокацию:

– Кретин! – кричал он в телевизор комментатору. – Какой он автор? Автор музыки, фильма, книги – это я понимаю. А этот болван удачно пнул ногой мяч – и уже автор?!

Из всех авторов дядя больше всего ценил коллег-режиссеров.

– Можно посмотреть одно кино, ну два, но три подряд?! – жаловался мне мой старший брат-инженер, которого дядя Митя взял на какой-то закрытый просмотр. – И третий фильм – корейский. Два часа герой в лодке с женщиной. Хоть бы они куда-то причалили! Я говорю: «Дядя Митя, почти все зрители уже уплыли!». А он мне: «Ты ни черта не смыслишь, это шедевр!».

Дядя Митя, мой любимый дядя...

Первый, кто, прочитав несколько моих опусов, сказал:

– В этом что-то есть!

Первый, кто очень хотел мне помочь, но мало что мог сделать, потому что к тому времени давно был на пенсии.

Первый, кому я, приезжая в Москву, читал свои миниатюры, а он в свои восемьдесят смеялся так, что реально молодел на глазах...

Дядя Митя, сколько себя помню, не реже раза в год приезжал к нам в гости. Приезжал иногда с женой, иногда сам, но обычно в июне – на клубнику и на «Инфанту». Откуда в Киеве в июне клубника, понятно, а вот откуда «Инфанта»?

– Сеньорита, наденьте ваше парадное платье и ступайте в гостиную. Вас ждет сеньор Диего Веласкес, – строго приказал испанский король Филипп IV своей дочери Маргарите.

– Падре, я не хочу больше позировать, я хочу играть! – захныкала восьмилетняя девочка, недовольно встряхнув своими роскошными светлыми кудряшками.

– Сеньорита, вы не обычная девочка, которая может играть, когда вздумается, вы – инфанта, извольте повиноваться!..

Инфанту Маргариту придворный художник Диего Веласкес писал много раз. Холст, находящийся в Киеве, считался эскизом к портрету инфанты, который хранится в музее Прадо в Мадриде. Обычно под эскизом подразумевают нечто легкое, быстрый и точный набросок с натуры. Но бывает так, что в эскизе больше свежести восприятия, нежели в законченной картине. У маленькой Марго грустные глаза взрослой женщины. На ней роскошное платье и золотые украшения, но к ним она, похоже, безразлична, они ее только сковывают. Кажется, шепни – и она вмиг сбросит с себя всю эту красоту и убедит... История умалчивает, сколько дней девочка позировала художнику, но тут уместен каламбур: краски были масляные, и работа шла как по маслу!

В 1939 году замечательный художник Михаил Васильевич Нестеров последний раз посетил Киев, сходил во Владимирский собор, который вместе с Васнецовым и Врубелем некогда вдохновенно расписывал, а затем направился в находящийся буквально через дорогу Музей западного и восточного искусства. Точно известно, что это было в период с 10:00 до 18:00 и не в понедельник и вторник, потому что понедельник и вторник в этом музее – традиционно выходные, а первый четверг месяца – санитарный день, учтите. И под впечатлением Нестеров написал другу: «Был я в соборах, музеях. В бывшем музее Ханенко увидел удивительную «Инфанту» Веласкеса, сделавшую бы честь и самому Эрмитажу. Рядом с ней

в великом искусстве ее гениального автора все вокруг меркнет, как перед бриллиантом чистой воды оконные стекла»...

Как же попала работа Веласкеса в Киев, если специальным указом запрещалось вывозить за границу работы мастера? Долго владели картиной разные испанские доны, пока некоему дону Себастьяну позарез не понадобились песеты. В 1891 году «Портрет инфанты Маргариты» из собрания дона Себастьяна купил британский торговец картинами сэра Колнаги и тут же загнал ее знаменитому немецкому коллекционеру герру Веберу. А в 1912 году все сокровища Вебера поступили в Берлине на аукцион, где и приобрели «Инфанту» киевские коллекционеры Богдан Иванович и Варвара Николовна Ханенко, за что еще раз скажем спасибо упомянутым дону, сэру и герру. Интересно, что в Киеве и сейчас найдется несколько десятков человек, способных купить картину Веласкеса, и не одну, но это была последняя такая покупка.

Пару раз я, тогда подросток, ходил в музей с дядей, но, признаться, смотрел больше не на картину, а на него. Не думайте, едва войдя в музей, дядя Митя не бежал к «Маргарите». Как гурман, коротающий время за легкой закуской в нетерпеливом ожидании любимого блюда, дядя Митя не спеша шел по залам. Иногда ненадолго задерживался у какой-нибудь картины, как путник на знакомом перекрестке, словно вспоминая, куда идти дальше, и продолжал путь к цели. В зале с «Инфантой» он резко притормаживал у двери, недолго смотрел на нее издалека. Потом медленно приближался и останавливался на почтительном расстоянии, будто испанский простолюдин, не решающийся подойти ближе к монаршей особе. Затем дядя Митя несколько минут стоял молча. Мне казалось, он смотрит куда-то вдаль, поверх портрета, хотя там была голая стена.

– Добрый день, сеньорита!

– Дядя Митя, вы? Значит, прошел год, и снова наступило лето.

– Да. А вы все так же прекрасны!

– Это комплимент не мне, а художнику. А вот вы постарели. Но это не страшно. Я помню вас совсем молодым. Тут в музее постоянная температура. Расскажите, что на дворе?

– Лето, июнь! Еще нет жары. Поэтому дышится легко и хочется гулять.

– Гулять... Какое наслаждение гулять, я так давно не гуляла! Смотрительница говорила, что неподалеку от музея Бессарабский рынок, можно прогуляться туда.

– Конечно! Кстати, нынче на Бессарабке самая лучшая клубника не дороже двух рублей килограмм. Киевские хозяйки говорят, через неделю еще подешевеет, и можно брать на варенье...

Боже, о чем это я?! Не мог дядя Митя такое говорить, он понятия не имел, сколько стоит в магазине хлеб, не то что клубника на базаре. Тогда еще была жива его жена тетя Таня, она все покупала и говорила моей маме: «Ой, мой Митя – он же не от мира сего». А я слышал это и недоумевал: что в нем не так? Классный дядя... Постояв неподвижно, дядя Митя наконец замечал меня, делал мне знак головой и уходил быстро, не оборачиваясь, чтобы обязательно вернуться.

Я становился старше. Дядя Митя по-прежнему приезжал каждый год и в один из дней направлялся в музей. Мои родители посмеивались:

– Митя, ты куда? Опять к «Инфанте»?

Дядя Митя счастливо улыбался и уходил на долгожданное свидание. Странно, думал я, ведь в Москве и Третьяковка, и Пушкинский, а он все ездит к своей «Маргарите». Может, она похожа на какую-нибудь девочку из его детства в местечке Белая Церковь под Киевом – не знаю. Я не спрашивал.

Недавно я снова побывал в киевском музее, который нынче вновь носит имя супругов Ханенко. «Инфанта Маргарита» висит на том же месте. Когда я вошел в зал, у картины стояла молодая девушка – сотрудница музея, и рассказывала группе посетителей:

– Перед вами «Портрет инфанты Маргариты», с которым связана самая громкая история нашего музея. Когда появилась возможность ездить на Запад, одна наша сотрудница побывала в мадридском Прадо, где висит картина Веласкеса с тем же названием. Вернувшись, она сказала: «Похоже, у нас не Веласкес». Началась череда расследований, и оказалось, что наша «Маргарита» – копия, выполненная в мастерской Хуана дель Масо, зятя Веласкеса и его ученика. В то же время стало известно, что «Портрет инфанты» в Лувре также является копией. Лувр сразу признал, что у них копия. У нас это заняло больше десяти лет. Но, согласитесь, лучше честная копия, чем фальшивый Веласкес.

Согласиться?! Какого черта?! Я не верил своим ушам.

– Это не Веласкес? Не может быть! Чушь!

Я снова посмотрел на портрет. С портрета на меня глядела все та же, наверное, самая известная девочка в истории Испании.

– Привет, вы меня случайно не помните?

– Ну, знаете, всех не упомнишь. Тут за эти годы тысячи побывали.

– Я понимаю... Но у меня вопрос: ваш портрет кисти великого Диего Веласкеса?

– Во-первых, никто тогда не говорил, что наш придворный художник такой великий. А во-вторых, если бы вы знали, как я этих художников ненавидела, они мне все детство испоганили. Так что – разбирайтесь сами!

Я нагнулся – под портретом уже висела новая табличка. И на ней не было фамилии Веласкес. Мне стало жалко. Не Веласкеса, не себя, не бедной инфанты, которая, как я узнал, умерла в двадцать один год. Мне стало жалко дяди Мити, художника Нестерова, супругов Ханенко, которые наверняка были уверены, что покупают шедевр Диего Веласкеса, а потом я подумал: «Не надо никого жалеть». Мой дядя ходил смотреть на картину Веласкеса, и точка! И Нестеров считал, что это – Веласкес. И для меня это будет до конца моих дней «Портрет инфанты Маргариты» работы великого Диего Веласкеса. А тем, кто будет приходить в музей Ханенко и захочет любоваться не картиной Веласкеса, а холстом Веласкесового зятя, никто не мешает – «Инфанта» висит себе и нас переживет...

* * *

На этом можно было бы и закончить, но в Испании о гениальном мастере до сих пор ходят легенды, имеющие непосредственное отношение к нашей истории. Говорят, когда придворный художник Диего Родригес де Сильва Веласкес ругался с женой Хуаной де Мирандой, он отпрашивался с работы у короля Филиппа IV и приходил в мастерскую своего ученика и мужа дочери Франсиски – Хуана Батисты дель Масо. Заботливый зять ставил ему мольберт, доставал из погреба заветную бутылочку, и дон Диего, рассеяно потягивая херес, писал, почти не глядя на холст.

Как правило, выходил «Портрет Инфанта». Рачительный родственник художника складывал всех «Инфант» в углу мастерской и заботливо накрывал плащом. «Авторских копий много не бывает, пригодится на старости лет», – думал он не без основания.

Вот так Веласкес вдвоем со своим зятем частенько засиживались допоздна, и тогда его жена вместе с дочерью бросались искать загулявших художников. Дон Диего, взглянув на часы и предчувствуя такую опасность, волновался, а зять, смеясь, показывал ему ключ от замка, подмигивал и говорил:

– Не волнуйтесь, сеньор Диего, я запер двери надежно!

А потом добавлял два слова, ставшие позднее знаменитыми:

– ¡No pasaran!



Эвелина Шац

Сказка про букву Ё

Жил себе Ёш, был себе Ёш, ну, в общем, жил-был Ёш. А может быть, и не был. Но имя у него было такое, будто и был вовсе: Ёш Ёшевич Ёшиков. Друзья звали его просто Ёшка. Какие друзья? Ну конечно, особенные, как всё, что касается Ёшки. Это были Лары и Пенаты, домовички. И были они, эти Лары, кочевые. Ведь жильё-быльё сегодня – кочующее как никогда. Поэтому никто их так никогда и не видел. Жили они всегда на чемоданах. Чуть что – и в путь. Лары-невидимки иногда выпрашивали у Ёшки точки с ё, и тогда можно было наблюдать балет чёрного конфетти, *confandoli*, лопотали они по-итальянски, будто они на карнавале. Конфеттинки носились в воздухе, и тогда казалось, что это домовой влетел в каминную трубу и правит чёрно-снежный бал. И холодно, и жарко. Так он же и вправду влетел. Было весело и пыльно. А потом становилось тихо и грустно, как после бала и бывает. По конфеттинке осталось на чёлках у Ларов и у Пенатов, и стали они похожими на Ёшку.

В доме было красиво и уютно. Как это и проистекает, когда в доме живут домовики. Кто-то приезжал и уезжал, приходил и уходил. Ёшка учился правописанию. После того как вышел закон, установивший равноправие е и ё, надо было не просто выучить, но и заново написать все слова на ё и те, в которых ё проживало до сих пор без прописки. Когда уезжали чемоданы, в доме угасала приязнь. Исчезали точки, точки с запятой и даже тире. Казалось, что всё слегка умирало и съёживалось. Ёшка тоже, забившись в угол, почёсывал свои ёшные точки и скучал по Ларам. Вдруг снова возвращались чемоданы. Дом какие-то мгновения был ещё ёжист и пуст. Но вот открывались чемоданы и...

прыг-скок, ём-ёк, да, это Лары разбегались по дому и занимали свои домовые позиции. Всё оживало, переставало ёжиться, воздух становился улыбчивым, звуки – певучими. Ёшке уже некогда было корпеть над точками и запятыми. Он давно уже решил, что точка – она вовсе запятая, и кое-что ещё, поэтому запятые – лишние люди. Экология требует жертв. Долой запятую! Давай точки! Точек всё больше. Скоро они привлекут в свою ёшкину партию все остальные знаки препинания.

Из точек строятся навтыяжку длинные красивые тире. Их любил Айги. И вот уже черта отмечает пространство, как ножевая рана, прорез Фонтаны, выход в космос. Ах, вы не знаете, кто такие Айги и Фонтана? Спросите у Ларов, они заглянут в интернет в чемодане и всё вам скажут. Тем временем черты из множества точек летят пачками в пространство. Супрематизм Малевича. Катюша. Нет, не песня Исаковского, а орудие. А это уже Леонардо. Или ещё Леонардо. То есть Да Винчи в своих Винчи когда-то набросал такую многоствольную пушку. «А вот, может быть, он, супрематист, Малевич?» – подумал Ёшка. Малевать или малёвать? Вовсе запутался Ёшка. Мысли заплелись в косичку. Косичка повисла на девичьей головке. Может, дёвичёй? Да-да! Дёвочка появилась вместе с Ларами. Но она упрямо утверждала, что она девочка. Евочка. То есть Ева. Ёшка согласился и сказал: «Давай учиться вместе новым законам». Ёшка с Евкой взялись за руки и пошли гулять с точками и без точек.

– Но ведь с точками краше! – сказал страстно Ёшка.

– Да, – грустно отозвалась Ева. Давай я стану Ешей.

– Давай, – обрадовался Ёшка. – А я буду звать тебя Ешка. Только ты не толстей.

– Ладно.

– Ты не грусти. Когда мы поженимся, мы станем под мои точки, как под венец, и из нас получится дабл'ё. «ёё» с двумя точками, «ёё» спиной друг к другу с четырьмя точками, – хохотал Ёшка, ёкая.

– А разве такое ещё бывает? – протянула Ева неуверенно. – Женитьба. Венец. Ведь мы теперь равны?

– Ладно, поделим точки поровну, иначе они вырастут в иголки, и я стану Ёжка, а ты Ёжиха. Тебе это надо?

– Ёжик тоже божья тварь. Только вот шуршит больно по ночам. Спать не даёт. А точки тихие. И шепчутся между собой по ночам тихо-тихо.

– Ну давай поспим. Дадим им пошептаться.

– Ш-ш-шш-ша! – отозвались Лары. Наверное, этот гам-тарарам в едином громкоголосье из повелительных ША! они недавно привезли из Одессы. Ша! Все спят Ш-ш-ш-ш-ш засыпали точки, им снилось дабл'ё.



Виталина Бабушак

Иронические стихи

* * *

Ах жизнь бежит, ах жизнь идет,
А я все думаю...
И скоро выдвинут мне счет
Года угрюмые.

Ну сколько можно выбирать,
Бери хоть что-то ты!
Да только нечего хватать –
Кругом одни скоты...

Ах мужики, ой мужики!
Им только бы одно,
А я хочу, чтоб по-людски,
А он мне – пей вино!

А я хочу пойти в концерт,
Хочу пойти в музей.
А он мне: «Я ведь интроверт
Страх как боюсь людей.

Давай пойдём ко мне домой,
Посмотрим там кино,
Тебе ж ведь тоже не впервой?
Давай допей вино».

Ах жизнь бежит, ах жизнь идет,
Решаюсь я пока...
А может, парень и не врет,
А может, врет слегка?

Бегут года, бегут года,
И не угонишься...
И молода не навсегда –
Что ж церемониться?!

Вино допила и бокал
На стол поставила.
В любви иль пан, или пропал –
Такие правила.

Ах жизнь бежит, ах жизнь идет...
Да только знаешь, Люсь...
Пока года доставят счет,
Повеселюсь!

Осень в Одессе

Приходит осень так незаметно,
Роняя высохший красный лист,
Намокших улиц асфальт бесцветный
Все реже топчет ногой турист.

Волну бросает на берег грубо
Без нежности и без любви.
Все реже солнце целует в губы,
Все меньше счастья в моей крови.

* * *

Я мечтаю день изо дня...
И на то есть тысяча причин,
Чтоб мужик пахал на меня,
Я же – никогда на мужчин.

Защищать дипломы постыло,
Покорять каждый раз вершины.
Бизнес-леди забегалась в мыло,
Бизнес-леди хочет мужчины!

Интеллект оказался обузой,
Степень тоже была чересчур...
А могла же быть чей-то музой,
Тусоваться в Côte d'Azur.

Уж хотела лететь в Киото,
И была я на все согласна,
Как в ютубе какая-то тетя
Вдруг раскрыла тайну соблазна.

Излагала психолог четко:
Важно все – макияж, фигура,
Ну и если не идиотка,
Важно, чтобы была, как дура.

Лишь с пуш-апом белье покупаем,
Аппетитной мы делаем грудь,
Как бы ею их взор угощаем,
Чтобы вскоре его оттолкнуть!

Он охотник – играем в жертву.
При пожаре в избу не вбегаем!
Мы в себе выключаем стерву,
О политике не рассуждаем.

Улыбаемся, пьем лишь воду,
Восхищаемся, как он умен!
И никогда ни в какую погоду
«Бывших» не вспоминаем имен.

В телефончик советы забила,
В магазинчик с бельем зашла,
Где же раньше ты, тетя, была?
Сколько ж времени зря я жила?

Нет, не буду рожать на работе...
Мне постыло все рваться в бой.
Я быть душой совсем не против,
Если стану счастливой женой.



Виктория Коритнянская

Маленькая фантазия по дороге на работу

Сегодня утром от нечего делать я долго смотрела на небо. Весь горизонт его закрывала туча. Огромная, неподвижная, со скошенным, будто крыша, верхом и почти черная внизу, она почти лежала на земле, закрывая медленно встававшее солнце. «Ну чем не чертоги Бога?» – подумалось мне. И тут в неподвижной черноте тучи прямо посередине вспыхнуло лучами желтое солнце. «Ну вот, Бог проснулся и зажег на кухне свет!» – уверилась я в своей догадке. Когда над чертогами Бога, прямо над сияющим окошком, всплыло маленькое белое облачко, я поняла, что хозяин их уже раскурил трубку и с наслаждением попыхивает дымом в открытую форточку. А когда рядом с маленьким облаком возникла белая и воздушная, словно безе, тучка, я догадалась, что у Бога закипел чайник. Потом в нос мне ударил противный запах гари от промчавшейся мимо машины, но я его почти не ощутила, потому что была окружена в этот миг густым ароматом малинового варенья, в которое, я знала, макал Бог сдобный сухарик. Далекий треск мотоцикла показался мне хрустом сухарика на его зубах, а свист подъезжающей электрички – звуком наслаждения и удовольствия, с которым тянул Бог из блюдечка ароматный травяной чай.

Солнце тем временем почти вскарабкалось на крышу божественного жилища. Сначала оно показалось миру бледно-желтым ноздреватым полумесяцем, и сотни пролетающих ворон разом вскрикнули, в надежде, что это кусок сыра... Но светило неумолимо перло вверх, и вскоре полумесяц сияющего диска сме-

нился полукругом... Вороны, узнавшие в полукруге солнце, разочаровано загалдели, а свет в окошке Бога неожиданно погас. «Уже позавтракал и пошел работать...» – с грустью подумала я, потому что: «Что ж это у нас за государство такое, что все в нем должны работать?!».



Ольга Лесовикова

Память улиц

Улицы – как лица. Одни запоминаются и греют душу всю жизнь, другие забываются сразу, не оставляя никаких следов...

Что делает одну улицу родной, а другую чужой?

Прописка?

Архитектура?

Люди?

В каждом городе существуют общие улицы, объединяющие горожан центральной линией судьбы, там находится сердце, там назначают свидания... Осмелюсь предположить, что в Одессе такой улицей является Дерибасовская.

Я расскажу не об общей, а о личной улице, вернее, о переулке, расположенном близко к сердцу города. Эта тихая маленькая улочка берет свое начало от улицы Гоголя и бежит до изгиба Преображенской (Советской Армии) в Софиевскую (Короленко).

По Софиевской вниз струятся трамваи к Пересыпскому мосту мимо дворца Софьюшки, ставшего музеем. По улице Гоголя ходят живые и «мертвые» души. На фасаде одного из домов атланты старательно держат небо, а внутри домов частенько падает штукатурка, и ветхое строение дышит глиной и камышом... Высокие потолки, огромные окна и им под стать подоконники, на которых можно уютно сидеть, их широта и долгота определяется ракушечником, меридианы и параллели стен омыты волнами времени. Заглянем во двор дома № 6 в переулке Некрасова, поднимемся на третий этаж и рассмотрим вдоль двери звонки, под каждым фамилия, вот и наш...

Мама читает вслух и жмет на кнопку, слышатся шаги, кто-то идет к двери по длинному коридору.

Дверь открывается, и на пороге стоит дядя Сева. Он улыбается, в его серо-голубых глазах плещется море грусти, но иногда проскальзывают огоньки радости.

Он обнимает мою маму, а потом приподнимает меня на руки и говорит: «Ого, ты выросла!». И мы идем по извилистому коридору за дядей Севой в его комнату, она длинная, как трамвай, так говорит мама. Я рассматриваю все внимательно, задираю голову вверх, потолки высоченные, там лепнина, опускаю взгляд по стене вниз, на полу паркет, в конце комнаты дверь на балкон, с балкона можно смотреть на прохожих, они идут по своим делам, не замечая меня. Лето. Девушки в ярких платьях. Слышу запах моря и крики чаек, шум проезжающего трамвая и голоса идущих по переулку людей.

Возвращаюсь в комнату, там мама разговаривает с дядей Севой вполголоса. Увидев меня, они улыбаются и сообщают:

– Сейчас быстренько поедим и пойдем гулять.

Мне известно, о чем они шепчутся, мама волнуется за Севу, он после развода сам не свой, так она говорит.

Продолжаю рассматривать комнату. Сразу у двери огромный сундук, на котором лежит матрас и покрывало, рядом с сундуком стол и пара стульев, комнату перегораживает шкаф, а за шкафом диван-кровать, вдоль стены стеллажи, на которых книги и посуда.

Я хочу к морю... И прокладываю мысленно маршрут. До порта два шага, нужно пройти по улице Гоголя или по бульвару до Тещинового моста, потом мимо колоннады до Дюка и вниз по Потемкинской лестнице, спуститься в переход и вновь вверх, а там сесть на катер и доплыть до Аркадии... Добравшись до пляжа, я вздохнула:

– Мам, а когда на море?

– Подожди, дай отдышаться с дороги.

И мама дышит, распаковывая сумку, нарезаая колбасу, помидоры, огурцы...

– Яблоко будешь?

Я не хочу есть, я хочу на море.

У дяди Севы есть своя отдельная кухонька, на которой помещается только один человек, но все же отдельная, а вот туалет и ванная комната общие. Через стенку у соседей все свое, только коридор общий, а у большинства только комнатка своя, и мама считает, что Севе крупно повезло: кухня самостоятельная, хоть и крошечная.

– Сейчас картошечку сварю, с укропчиком и чесночком, как бабушка делает.

Сева одобрительно кивает.

– Да, бульба – это хорошо.

И они начинают шутить о белорусской крови, которая течет в Севиных жилах, и говорить о том, что он жить не может без картошки и готов кушать ее на первое, на второе и на третье. Потом вспоминают о Севином отце, погибшем во время войны, потом об абрикосах, эвакуации... Слушаю в очередной раз эту историю и представляю маленькую маму на руках у бабушки Лены, Севу, стоящего рядом с бабушкой Нюсей, поезд, телегу с вещами и дедушку Колю, которому всего пятнадцать лет. Летят самолеты, разрываются снаряды, крики, поезд стучит колесами, тесно, душно...

Мне становится грустно, сажусь на сундук и начинаю разглядывать рисунки на клеенке, я не хочу ни картошки, ни тюльки, ни «синеньких», я хочу к морю.

Мама возвращается из кухни с кастрюлей, от которой идет чесночный дух, комнату заполняет запах молодой картошки, и я соглашаюсь покушать.

Оживляюсь, когда слышу:

– Может, на Лузановку? А потом в гости к друзьям заедем, они на поселке Котовского живут, там недалеко.

Дядя Сева не хочет на Лузановку и предлагает другой вариант:

– Лучше пешочком через парк на Ланжерон. И по городу пройдемся, и на море попадем.

– Можно, – соглашается мама.

– А может, на катере?

– Давай в другой раз.

– Пешком так пешком, – соглашаюсь я: главное – на море.

Но мама и Сева не торопятся, продолжаются разговоры, разговоры, разговоры...

Мне становится скучно, и я начинаю болтать ногами, они барабанят по сундуку, дядя Сева говорит:

– А на этом сундуке твоя сестра спала, когда жила у меня, а сегодня я на нем спать буду, так что не ломай, пожалуйста, он нам еще пригодится.

– А за этим столом уроки делала, пока в общежитие не переехала?

– Да, она хозяйюшка: и учиться успевала, и готовить, и убирать.

Мама тоже начинает убирать со стола, идет мыть посуду, потом снова разговоры, разговоры, разговоры...

На море в тот день мы попали к вечеру, поехали двумя трамваями, сначала на третьем, а потом пересели на четвертый. Трамвай № 4 шел по улице Чичерина (Успенской). Там и тогда, сидя в трамвае, разглядывая дома, я не догадывалась, что совсем скоро буду жить в одном из них, в небольшой коммуналке с тремя звонками...

– Выйди из воды, губы вон уже синие.

– Сядь на подстилку, закутайся полотенцем, вон дрожишь вся, съешь персик.

– Не ныряй, чтоб я твою голову видела, слышишь?

– Сколько можно купаться, посиди на берегу.

Мне больше хочется сидеть в воде, вечером там теплее. Но и на берегу есть чем заняться! Насобирав стеклышек, камушков и ракушек, возвращаюсь в переулок Некрасова с дарами.

Вечерний город прекрасен своим сиянием. В темноте трамвай выглядит по-другому, похож на сказочного светлячка. Смотрю на влюбленную парочку: столько лет прошло, а я помню их, ту нежность, которая витала над ними...

Входим в дом, в нос ударяет разношерстный запах многолюдной коммуналки, голова кружится и хочется спать.

Дядя Сева ложится на сундуке, а нам расстилает постель на диване за шкафом. Я почти сразу засыпаю и сквозь сон слышу разговоры, разговоры, разговоры...

На рассвете меня разбудил звон трамвайных колокольчиков. Хочется выйти на балкон и посмотреть на мчащиеся трамваи.

Выбираюсь из-под одеяла, иду на цыпочках по паркету. Он безбожно скрипит, и в утренней тишине этот звук кажется оглушительно громким, но мама и дядя Сева спят, ничего не слыша.

Открываю дверь, вдыхаю морской воздух, выхожу на балкон и вижу виноградные гроздья. Гронки смотрят на меня десятками бубочек, листья трепещут бабочками, смешные усики цепляются за завитки балконной решетки. Мне холодно, но я стою и смотрю на улицу, ожидая, когда вновь проедет трамвай. А вот и он брызжет искрами, позвякивает и исчезает за поворотом...

Пройдут десятки лет. Дядя Сева, отмучившись, уйдет в другой мир, коммуна перейдет в наследство его дочери Ляле, комнатную выменяют с доплатой на отдельное жилье...

Больше в переулке Некрасова не живет родной человек, но улица продолжает хранить его имя, его шаги, цвет его глаз и улыбку...

Когда иду по этому переулку, всегда замедляю шаг у парадной № 6. Поднимаю голову вверх и смотрю туда, где когда-то вдоль стены тянулись вены виноградной лозы. И мне кажется, я слышу голос дяди Севы:

– Не знаю, что это за виноград, «лидия» или «изабелла»...

И я не знаю. Думаю – надо погуглить, и слышу, как гули-гулят голубки, прогуливаясь у парадной... Потом взлетают и перелетают на противоположную сторону переулку Некрасова. И мне припоминаются рассказы родителей мужа, как они жили в доме № 7, где было семь соседей и комнатка была семь метров. Но это уже совсем другая история, и я обязательно ее расскажу...



Элана Соколова

Шмаль и Шпарь

Как все непредсказуемо! Ничего вроде не происходит, вдруг – бац! – и ты уже в другом измерении.

На Базарной у нас была соседка по фамилии Шпарь. Кроме фамилии, ничего интересного в ней не было. С утра шла на базар, в обед жарила рыбу, вечером грызла на балконе семечки. Экономила свет и воду. Как все. Но владели обычной соседкой две необычные, просто-напросто непобедимые страсти. Первая – оргазмы. Да-да: о чем бы с ней ни заговорили – все дороги вели в Рим: трубы в вырытой строителями канаве, отключение воды, стекловата у ворот – все сводилось тетей Ирой Шпарь к оргазмам. И смех и грех, учитывая ее внешность. Хотя и старухой она не была – так, за пятьдесят. Но муж давно сбежал и спился (забив на оргазмы), а взрослый сын почти не заглядывал к маме, второй страстью которой были ночные прогулки. «Гуляла» она обычно в парке Шевченко, хотя в ненастную погоду довольствовалась соседним – Кировским – сквером, где вышагивала иногда до трех ночи.

Потом мы переехали и забыли о причудливой соседке. Я окончила школу и устроилась в спа на Генуэзской. Думала, поработаю – и решу, что дальше делать. Была у меня лазурная мечта: Лазурный Берег. Но как это осуществить, я не знала. Сначала надеялась подцепить иностранного клиента, но менеджмент зорко следил за нашим моральным обликом. Так жизнь и шла – никак.

И вот однажды у регистрационной стойки я увидела свою подзабытую соседку. Я бы ее и не узнала, не прочитай я фамилию в ее айфоне. Хотя и по-прежнему седая, но со стильной стрижкой,

модным маникюрчиком и главное – неожиданно стройная и молодая. Пока тетя Ира оплачивала вход (почти тысячу гривен), она успела сказать, что живет теперь... в Греции (не Лазурный Берег, но тоже неплохо...), а в Одессе остановилась у своего «бывшего». Меня сжигало любопытство, но точить лясы на работе я не могла. Мы обменялись телефонами, и преображенная соседка ушла внутрь. Остаток дня я терялась в догадках, ведь не тот возраст у женщины, чтобы внезапно раскрутиться или выскочить за олигарха. Не в ночном же парке ей привалило счастье?

Сменившись, я понеслась внутрь. И нашла бывшую соседку в аромазале среди аромата бергамота...

– Тетя Ира! – радостно ввинтилась я в узкий зал.

– Ира? – удивленно приподнялась та на бамбуковой циновке, и на меня пахнуло новогодней хвоей и еще чем-то. – А я и забыла, что я Ира!

Прежде чем и я успела удивиться, она что-то сыпанула в напольную аромалампу. При этом вид у нее стал загадочный.

– План, как у мистера Фикса, – улыбнулась тетя Ира. – У нас он легализован, не волнуйся.

Я ничего не поняла, но сделала понимающий вид:

– По паспорту я не Ира, а Эльмира, – блаженно потянулась на циновке собеседница. – Ирой стала только в седьмом классе, когда перешла в новую школу и завела новую подругу. Звали ее почти как меня, Эльвирой. Имя ей активно не нравилось, и она называла себя просто Леной, за что получала от родителей. Однако следом и я решила, что «Эльмира» – это чересчур, и сократила свое имя до Иры. И превратились мы из Эльмиры с Эльвирой в обычных Ленку с Ирой... Ну, рассказывай! Как дела? Учишься?

– Да пока нет. Мечтаю уехать. Расскажите, – взяла я быка за рога, – мы не виделись всего пару лет, и вроде вы тогда никуда не собирались. Как же вы оказались в Греции?

– А вот к этому и веду... Мы познакомились в парке Шевченко: наша школа бегала там на День здоровья. Я сидела на лавочке и щелкала семечки. И увидела, что на меня смотрит девочка со светло-зелеными глазами и таким же термосом в руках. Мы улыбнулись друг другу. Я с ней поделилась семечками, она угостила меня чаем из термоса – и чай был как раз с бергамотом.

Через полчаса паркового чаепития мы с Леной отправились искать туалет. Чуть прошли по аллейке и...

...В кустах, полузакрытый ветками, стоял высокий полусогнутый человек. Помню его как сейчас – темненький, худощавый, в серой куртке. Хорошо было видно только его голову и плечи, они двигались размеренными толчками – будто мужчина копал яму лопатой. Но, приглядевшись, мы поняли, что никакой лопаты у него нет, и держит он в руках кое-что совсем другое, а его брюки спущены и лежат на земле... Я сначала испугалась, но, повернувшись, увидела на лице Лены полный восторг. «Нам повезло! – горячо зашептала новая подруга. – А то ходишь, ходишь...» Я нервно захихикала, но Лена замахала рукой. Мы притихли и, когда поняли, что человек нас не видит и не слышит, сели на корточки и стали смотреть. «Повезло так повезло! – шепотом повторяла Лена. – Обычно эти дяденьки сразу видят меня и прячутся». Но наш объект не прятался. Он был погружен в свои ощущения. Я смотрела во все глаза. И чем дольше я на него смотрела, тем сильнее пылало перед глазами. И вдруг из самой равноудаленной точки моего тела, откуда-то из его центра, стремительными толчками выросло то, о существовании чего я и понятия не имела. Разрослось, набежало и накрыло меня с головой. И прежде чем успела это осознать, я очутилась внутри мощной непобедимой цунами, где ничего не видела и не слышала... И это длилось так долго, как будто время встало. А потом издали, с другой планеты, из другого измерения я ощутила, как меня трясут за руку. Это была Лена. Оказывается, все это время я оставалась рядом с ней!

Так и началась моя учеба в 68-й школе: после уроков мы с Леной шли в парк и высматривали «этих дяденек». Сначала, как она и говорила, найти их было непросто, но мы наловчились отслеживать их в кустах и за деревьями, чаще возле парковых туалетов. Сами же дяденьки высматривали не нас, а фигуристых взрослых женщин. Для нас, подростков, время стояло неудачное: конец 80-х, мужчины сохраняли советский менталитет, и особой надежды у нас не было. Хотя, с другой стороны, именно то, что дяденьки не брали нас в расчет, и играло нам на руку – мы-то искали именно их. Но такого, как наш слепо-глухой первый, мы больше не встретили: остальные, заметив нас, уходили на новое место

или даже пытались нас стыдить! В таких случаях мы хихикали и убегали – высмотреть следующего уже не являлось проблемой.

Тетя Ира замолчала и мечтательно задумалась... Я тоже задумалась о том, почему же мы с подругами не допетрили до такого простого способа. Потом я вспомнила знаменитую способность тети Иры сводить все разговоры к одному и сказала:

– Значит, вы с кем-то из них все-таки познакомились, и теперь он вас забрал в Грецию?

– Совсем нет, – рассмеялась моя собеседница. – Это сын поехал туда на сезонные работы и – повезло, женился на хозяйке оливковой фермы. Потом вызвал меня. И теперь я вернулась за бывшим мужем. Надо же спасти человека. Вот и все.

Теперь уже я надолго замолчала, пытаюсь понять, зачем же она мне рассказывала о парке. Видимо, виноват бергамот... или план.

– Вспомнила, – воскликнула тетя Ира, – почему я начала это рассказывать! На Лазурном Берегу живет сын моей невестки.

– Ребенок?

– Для кого ребенок, а вообще, ему лет тридцать. Хочешь, дам его координаты?

...Через полгода я уже жила на Лазурном Берегу. Мы с тетей Ирой стали официальными родственницами, хотя я так и не знаю, какими именно. Но зато теперь мы вместе ходим в парк...

Люди – существа непредсказуемые... План им в помощь.



Издано...

- 362 **Евгений Голубовский**
Книжный развал
- 367 **Вячеслав Верховский**
Дар речи Ефима Ярошевского

Евгений Голубовский

Книжный развал

Первая книга, прочитанная мною в 2022 году.

Отличная книга, надеюсь задаст тон многим романам, стихам, рассказам...

Автор – Михаил Пойзнер. Название – «На одесской волне»

Издательство «Optimum», 2021



У Пойзнера с десяток книг, и каждую из них можно было бы назвать этими же тремя словами. Во-первых, одесская, во-вторых – морская, а значит, видишь, слышишь, ощущаешь черноморскую волну.

Есть писатели, обучающиеся в литинституте. Это не про Пойзнера.

Миша учился на улицах Одессы. Поэтому его герои говорят не «как у Бабеля», а живым одесским языком начала XXI века.

Кстати, этот же «институт писательства» окончил Олег Губарь. Именно ему, другу многих лет, посвятил Пойзнер книгу, поставив три слова – «Моему Олегу Губарю».

Знаю и того, и другого много лет. И утверждаю, что более близкого друга, чем Мишаня, как говорил Олег, у него не было.

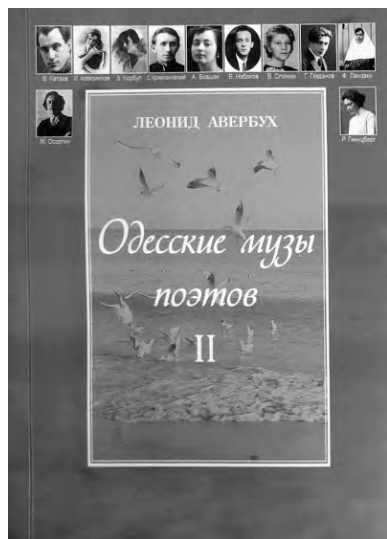
Один из разделов книги автор назвал «Мой Губарь». И это не об ученом пушкинисте, не о знатоке алкогольной географии Одессы, а о человеке, иногда веселом, иногда грустном, но всегда – отзывчивом.

До сих пор ничего не сказал о жанре книги Михаила Пойзнера. Это, как вы догадались, не роман, но и не рассказы. Когда-то Хармс ввел в жанровую палитру (не путать с поллитром) понятие «случаи».

Так вот всё, что пишет Пойзнер, – это одесские случаи. Потом умельцы из них приготовят анекдоты. А пока это литература, свежая, вкусная, нравственная, добрая.

Я мог бы опубликовать десяток новых случаев здесь, в этом обзоре. Но ведь не все 65. Не хочу лишать читателей, любящих Одессу и литературу нашего города, возможности купить эту изящную книжку.

Где? Думаю, что на «книжке», знаю, что во Всемирном клубе одесситов.



Леонид Авербух
Одесские музы поэтов II
Одесса, Optimum, 2021

На книге, подаренной мне, Леонид Григорьевич, сделал надпись, проставил число – 25 декабря 2021 года.

Так что мы знаем день рождения последней книги замечательного исследователя, неутомимого человека, ушедшего в иные миры в 2022 году.

Несколько лет Леонид Григорьевич из номера в номер нашего альманаха знакомил читателя с рассказами о подругах

поэтов. Затем издал книгу, которая тут же была раскуплена. Но остановиться Леонид Григорьевич не хотел, да и не мог. Так начали появляться новые истории о замечательных людях. Пять новых рассказов и составили последнюю книгу.

Это Валентин Катаев и его одесские музы, это Сигизмунд Кржижановский и Бовшек, Владимир Набоков и Слоним, Газданов и Ламзаки, Михаил Осоргин и Гинцберг.

Некоторые судьбы прочитываются, как детективные романы.

Авебух влюбляется в своих героинь и влюбляет в них читателя. Уверен, и эта, последняя книга врача, поэта, одессита не залежится на книжных полках.

Александр Бирштейн
**ПОЛЕЗНАЯ ЖИЗНЬ
ВРЕДНОГО
МАЛЬЧИШКИ**



Александр Бирштейн
Полезная жизнь вредного
мальчишки
Одесса, Астропринт, 2021

В последнее время Александр Бирштейн чаще выступает в печати с рассказами, стихами, краеведческими очерками.

Но он автор и серии тонких психологических повестей. И новая его книга – это повесть, даже, думаю, во многом автобиографическая повесть. Хотя и она построена как цикл рассказов, но для меня они связаны не только обаятельным героем, но и великолепной самоиронией. Качество, которое прису-

ще далеко не всем писателям. Но именно эта самоирония вводит Александра Бирштейна в круг большой одесской литературы.

Мне показалось, что по этой книге можно будет снять доброе и веселое кино. Вроде оживает одесская киностудия. Прочли бы эту книгу.



Дмитрий Жданов
Трамвайные истории Одессы
Одесса, Издательство Фридмана,
2021

Не знал, что журнал «Форбс» включил одесский трамвай в список 12 наиболее интересных трамваев мира.

Трамваю вообще повезло в художественной литературе. Вспомним Николая Гумилева – и сразу в памяти «Заблудившийся трамвай»; вспомним Мандельштама – и бубним: «Я трамвайная вишенка...». Да и Ильф и Петров, Олеша и Катаев не забывали наш трамвай.

Кстати, мы все помним артиста театра «Парнас-2» Додика Макаревского, а его хобби, увлечением сознательной жизни, была история одесского трамвая, от конки до наших дней.

С интересом прочитал я книгу Дмитрия Жданова. Его влюбленность в трамваи, его знание всех трамвайных маршрутов, память обо всех бельгийских остановках не оставляет безучастным читателя.

Да, уже есть сверхзвуковые самолеты, но в нашей жизни сохранилась привязанность к пульманам, к старому дребезжащему одесскому трамваю.

Евгений Волокин, Михаил Пойзнер, Евгений Черкез
О Фонтанах и не только, или Из истории одесских берегов
Одесса, Черноморье, 2021

Этот альбом – шестой в серии «Старая Одесса в фотографиях», задуманной и осуществляемой Евгением Волокиным.



К работе над каждым альбомом он привлекал специалистов. Это были Олег Губарь, Анатолий Дроздовский, в этот раз к работе был привлечен Михаил Пойзнер, крупнейший специалист, исследователь одесских берегов.

Принцип работы Волокина включает поиск новых, не печатавшихся ранее фотографий. Именно поэтому выходят не монографии, а альбомы. Но к каждой фотографии создается мини-исследование.

Мне всегда казалось, что я досконально знаю Малый, Средний и Большой Фонтаны. Новый альбом заставил меня усомниться в этом. Побережье менялось. Мы менялись. И поэтому я бы рекомендовал эту книгу всем, кто влюблен в Одессу.

Знаю, что сейчас Евгений Волокин работает над следующим альбомом – «Курсаки». Все, у кого есть фотографии этого района Одессы, могут помочь в осуществлении замысла.



Вячеслав Верховский

Дар речи Ефима Ярошевского

Издано в Киеве

Ефим Ярошевский

Собрание сочинений. Из записок на салфетках

Киев, Радуга, 2021



Кажется, у этой книги серьезное намерение – остаться со мной навсегда.

По крайней мере у части этой книги. Той, в которой публикуется текст «Собрание сочинений. Из записок на салфетках». Им, запискам, отдано полкниги, вторая ее часть – это «роман(с)».

И о нем – буквально несколько слов. Так же, как все, Ярошевский хотел жить в ногу со временем, но нога – у этого времени – оказалась столь короткой, что время он всегда опережал. Его вел талант. Его «Провинциальный роман(с)», да, опережающий время, впервые был издан в США (потом три тиража на родине, в Одессе) и вызвал фурор. Но сегодня – речь о «Записках», которыми удивить читающий мир, возможно, еще только предстоит.

1.

Моя рецензия на «Записки» Ярошевского, должно быть, побьет все антирекорды. В ней всего три слова. Несмотря ни на что, *эта книга – обезболивающая.*

Все остальное – будут комментарии. И так...

«Из записок на салфетках» – это, по сути, записные книжки: «А сейчас у меня роман. У меня роман с моими записными книжками. Это серьезно. И это надолго. Из них так просто не выбрать-ся. Там закодирована моя жизнь» (стр. 47). Перед нами – дневниковые записи, в которых сюжета как такового нет. Ну дневник же. Но в нем пульсирует жизнь, за которой способен угнаться далеко не всякий ловко скроенный сюжет.

О природе записных книжек. Это жанр особый. В них всегда есть нечто интимное, не предназначенное для других, потаенное, и – тем самым притягательное. Это как знаешь, что заглядывать в чужие окна нехорошо, но эти окна – силы непреодолимой...

«Записные книжки» – например, у Ильфа. Но у Ильи Ильфа они, ставшие знаменитыми только после его смерти, изначально – *для служебного пользования.* Это палитра, где смешиваются слова. Это его стартовый капитал: написанные безоглядно, для себя, они – необходимое подспорье в написании его будущих книг, это его замыслы, наброски, сюжеты, говорящие фамилии и фразы, случаи из жизни, наблюдения, то есть – и тут я употребляю словечко из лексикона Ярошевского – его «творильня». Тогда как записные книжки самого

Ефима Ярошевского – книга уже готовая, сданная читателю под ключ. И в то же время в ней сохранилось то, что должно присутствовать в записных книжках не для посторонних глаз, – повторяю: интимное, потаенное. Заветное. А потому и еще более притягательное.

Сокровенные записки Ярошевского щемяще волнуют: и вклеенный в них великий город, город недосказанного, и живущие в нем, а значит, и на страницах книги, одесситы. Из обрывков их фраз Ярошевский сконструировал дыхание города, и город этими словами дышит, и пытается сам себя досказать...

2.

Ярошевского штудирую с неделю, но его книга разбухает не по-детски: на такое количество закладок она не рассчитана. Как читаю? В общем, хаотично. Как записные книжки и читают. Но где открою – там и приживаюсь. И осознаю: по красивым не обезличенным домам ориентируешься в пространстве, по красивым не обезличенным книгам – во времени.

В книге Ярошевского – время и люди. Да, по Жванецкому, «что-то есть в этой почве», и это – несомненно. Но есть что-то и в этих людях, с необщим выражением души.

Да, в книжном море остров его книги – обитаемый: Толя Гланц, Вадим Чертков, Юрочка Новиков, «гениальный художник Одессы Валик Хрущ», Сева Сендерович, «Шурочка Рихтер», Лёня и Яша Бродские, Гриша Резников, «замечательный наш друг Хаим Токман... Дивная фамилия Гиммельфарб... Некий Суля...» А эти, которых всегда было трое: Боря Дальтоник, Фред Заморочка и Фима Магазинер, где они? Голда, Рива, Мона, Сейвл... «Лёничка Гильбурд» – и целая глава, посвященная его памяти. Читать ее – невыносимо больно.

Что с ним, безответным, случилось? – Ярошевскому не давало покоя всю жизнь. Теперь эту тоску он переложил на наши плечи, и теперь этой страшной неизвестностью мучаемся и мы.

Ленечка – мальчик книжный, тонкий, созерцательный. Не от мира сего. Он, домашний ребенок, единственный: «...с печальными красивыми глазами (как у Левитана) и большой головой на тщедушном теле жил с мамой... Любил читать, что-то всегда мастерил...

Леня часто любил уходить к морю... когда народу вокруг было мало, и там, на скамейке рядом с пляжем, он одиноко читал

какую-нибудь любимую книгу... Часто засиживался до темноты. Однажды он не вернулся». И вот здесь – читатель холодеет. «Обезумевшая мама металась по улицам и кричала: «Лёня, Лёня!..» И мучительный финал этой истории: «Его нашли через три дня на 10-й станции, в воде, почти у берега...» (стр. 139-141). Здесь ничего, кроме жизни. И смерти. Загадочной, страшной и непостижимой.

Сумерки плачевного ухода...

Галерея одесских персонажей. Вот близкий друг, поэт и художник, человек с одесским взглядом на мир Игорь Павлов. С одной стороны – бездомный, без семьи, квартиры и документов, «ночевал где придется... Когда немного (или много) выпьет, мог заснуть где угодно. На траве, на голой земле... Его не будили...». С другой стороны – это глыба. Это легенда Одессы, одна из самых ярких и незаурядных фигур «одесской тусовки» 60-70-х годов, куда входили поэты без публикаций, художники – без выставок, уличные философы – без книг и трактатов...»

Один из одесситов, уезжая из Союза, с собой вывез и любимую кошку. Летели через Вену, и случилось так: она сбежала. Где Вена, где Одесса... Понимаете. Но *осиротевший* на целую кошку он к брату-одесситу вопиет: «Яша, выходи... каждый вечер на прогулку на улицу – и смотри, не прибежала ли наша кошка домой?». А при чем здесь Игорь Павлов? А при том. Комментируя эту историю, он о безутешном земляке: «Я его понимаю. Наш человек. Но очень странный. Значит, тем более – наш».

«Тем более наш» – и он сам, Игорь Иванович Павлов, и читать о нем – захватывающе интересно. По сути, именно Ярошевский – родоначальник апокрифов о Павлове. Так как о собрате по перу написал он, до него никто и никогда. И тем не менее Ефим Ярошевский осторожен. Это не портрет Павлова и не воспоминание о нем. Это – «Попытка портрета, или Попытка воспоминания».

Как по мне, попытка удалась...

О ком бы в этих «Записках» ни говорилось, осознаешь: жизнь нужно прожить так, чтоб о тебе написал Ярошевский. Вот еще один неповторимый персонаж, из «Моих друзей, моих славных современников», Валентин Хрущ. Но современность уходит, занавес падает, и если о друзьях – то только памяти: «Памяти художника Валентина Хруща». Вот, из этой главки – Ярошевский о времени, когда все еще живы:

«Клевое было время, старик!.. участковый не шастал, были дешевые дыни и сыр, рыба сама за пазуху лезла, скумбрия ночевала в сачках... девушки пахли морем...

Люди этот секрет давно потеряли.

И потом, были евреи! С евреями было теплее...»

Чтобы город стал своим, в нем мало родиться. Чтоб к нему прикипеть, нужно найти единомышленников. Так возникает среда.

И еще раз памяти – «Памяти Даниила Марковича Шаца». Ярошевский пишет про Шаца, но эти слова можно отнести и ко всему его близкому кругу.

Для чего они все вместе? «Удовлетворить тоску по общности».

Что их объединяет? «...шарм, обаяние, веселость, оптимизм, юмор, непредсказуемость, свобода. Главным был праздник – праздник общения!» и – «Острое ощущение блаженства».

Веселые изгой, они умели дружить и не умели друг без друга обходиться.

Как и одессит с головой Даня Шац, друзья Ярошевского были азартными и солнечными...

«Собрание сочинений» – гимн великому городу, гимн жизнеутверждающий, но – переходящий в траурный марш. Да, эта книга – плач по Одессе. Которая вроде бы разъехалась по разным странам мира, а на самом деле – разъехалась по швам. И ее уже не сшить. Можно хорохориться, что ничего не случилось. А случилось.

Об эмиграции из Одессы можно написать десятки томов, и будет мало.

А можно и так, как Ярошевский: с евреями – было теплее...

3.

Аннотации полезны не только к книгам.

Если бы перед общением с людьми мы могли прочесть к ним аннотации, кого нам, боже, удалось бы избежать или – никогда не пропустить! У Ярошевского литературные портреты – в нескольких штрихах – не что иное, как аннотации к людям.

Я знал одного писателя, который был страшным человеком. Он записывал свои мысли, совершенно не заботясь о том, кому они могут испортить жизнь. Ярошевский – ни о ком худого слова. Ни о ком! Вот только жаль, что почти все герои его книги,

а точнее, его полукнижия – удручающе смертные и восхитительно бессмертные – «люди, которые из обихода исчезли».

Есть люди, и таких большинство, которые, кроме старости и смерти, за жизнь не наживают ничего. А есть – живые легенды. Живые – даже когда они ушли. Вот, музыка нездешних фамилий, занесенных в Одессу неведомо откуда. Парад планет, одесские светила: «Доктор Нутис... Профессор Энгельштейн... Доктор Спектор, хирург... Доцент Кранцфельд... Невропатолог доктор Гиндентуллер... Д-р Зборовская... Легендарный д-р Циклис...» Колоритные, сгущенно одесские типажи. Люди долга. Какой в них лоск, какое благородство! А написано как – зачитаешься. «Далее, д-р Жванецкий. Да-да, тот самый, папа Михаила Жванецкого, тогда уже совсем старый, медленно, неуклонно и героически идущий на службу. Он работал до последнего». И даже если это не брать близко к сердцу, близко к сердцу – оно подступает само...

Книга-праздник, книга-реквием, в которой – плеяда одесских врачей от Бога, ушедших к Богу вместе со своими пациентами, ибо, как долго ни живи, а ты не вечен. «С этими врачами, – подводит итоги автор, – заканчивалась целая эпоха». Конечно, на их место приходили другие. Но, как любит говаривать один классик, цитируя другого: «Песок – неважная замена овсу».

4.

«Каждый пишет, что он слышит...» Как Ярошевский «слышит, как он дышит»? Его опыты, его «творильня», разбросаны по разным страницам книги. Попробуем собрать их воедино.

Итак, с чего все началось. С того, что поиски счастья привели его безошибочно – к слову: «Первый внятней рассказ – о мальчишке и крысах в ночном доме – был написан где-то в четырнадцать-пятнадцать лет. (Я получил тогда довольно доброжелательную рецензию из «Литературной газеты»)» (стр. 70).

Побудительный мотив его творчества: «...если человека распирает от желания что-то сказать, то как прикажете поступить? Жить, жить – и не крикнуть?..» (стр. 117).

Его писательского кредо: «Если в книге нет чуда *слова*, тогда зачем она? И читать дальше будет глубоко неинтересно...» (стр. 145).

«Единственная высокая радость – дрожь в предчувствии стихотворения» (стр. 18).

Куда уходят корнями его мысли? В детство. В тени предков, Ярошевским не забытых. В его город...

Место рождения Ефима Ярошевского: Одесса. Ее культурный код совпадает с годом ее рождения. Недаром же, набрав четыре цифры – 1794 (год основания Одессы), можно войти практически в любой одесский подъезд. Это – благодарная память. Это город, где в отношении людей напрямую вмешивается небо. Здесь родиться – признак хорошего тона. Я знал одного одессита, который в Одессе прожил всю жизнь, а то, что он родился в Новогородовке, скрывал до последнего.

Как у Ефима Ярошевского рождается мысль? Можно предположить, что так же, как и у жившей в эвакуации в Ташкенте «чуть ли не в соседнем дворе» великой Ахматовой (стр. 38). Которая, по воспоминаниям современников, «жужжала», то есть, вынашивая строку, ходила по комнате и бормотала.

Открывая нам все тайны ремесла, вот так и Ярошевский: он бормочет, «жужжит», проговаривает. Он шаманит...

Он со словом – экспериментирует: «...это уже то набалтывание, когда человек идет вслед скорее за словом, чем за смыслом. Но в итоге... обогащается смысл!» (стр. 161).

Слово рождается, наверное, так же, как происходило рождение мира: методом проб и ошибок.

«Забой. Разбой. Новиков-Прибой. Борис Полевой... коммунизм, герметизм, аневризм...» (стр. 32).

Или: «Приметы времени. Приматы времени. Пыль и боль. Боль и пыль. Билль о правах...» (стр. 34).

Или, скажем, это: «Суд, Сид, сад...» (стр. 35).

Что это? Что – скажете – за бред? Бессвязное бормотание, поверхностное острословие, легкое безумие? Нет! Это идет «интимное общение с языком» (стр. 31).

«Эскулап, эскалоп, скула, скальп, экспансия...» (стр. 52).

Это прелюдия, проба пера, разминка слова, чтоб оно стало податливым, гибким. Чтоб затем буквально по Жванецкому: «Мой папа говорит-говорит, а потом как скажет!» – в результате великого брожения слов – из них у автора возникло долгожданное. Чистое, как слеза. Единственно верное. В единственно правильном месте.

Как рождение мысли видится автору самому (эта главка, кстати – «Я показываю»). Вначале «косым неверным почерком видна сосредоточенная погоня за поступками... Потом букочки выравниваются, виден чистый почерк голодной гончей... напавшей на след... Несколько судорожных метаний, заминок, клякс, сомнений... Несколько пробных (и ложных) бросков в сторону, маленькая паника в уголке листа – и след взят!» (стр. 100).

Зная цену слову, он пишет так плотно, что какое между строк... Но послевкусие! Его тексты, говоря словами Мандельштама, – «ворованный воздух», в них – преобладает «дикое мясо».

Он в Одессе не заблуждается: он знает ей разную цену. Вот о родном городе, загадочном, как изнанка вселенной, – с беспощадной любовью:

«...огромный издыхающий город, изъеденный проказой, моллюсками и мелкой рыбешкой. Висящие на честном слове чердаки и гнилые балконы... Под водой буйно росли огороды; опрокинутые в прошлом году, запутавшиеся в проводах трамваи лежали на боку... Красивый был город...» (стр. 104).

Не пройти и мимо этого: «Дул ровный, как веревка, ветер. Шел 1980 год. Дул, раздувая жабры, теплый ветер с окраин. Таяло в небе...» (стр. 112).

А чего стоит фраза, от которой становится не по себе: «Одесса оmyвается двумя морями – Черным и Кладбищенским» (стр. 115).

А вот про ночь: «Седает ночь. Океан за окном затаился. Вскрипнул – и ждет отката. Дышит протяжно и мощно под панцирем луны... На Луне движение...» (стр. 46). Хочется читать дальше? Еще как!

Но, выписывая из Ярошевского цитаты, вдруг осознаешь, что переписываешь всю книгу. Она – вся – достойна цитирования. Что и понятно: Ефим Ярошевский пишет так, что в каком бы месте я цитату из него ни оборвал, оборву на самом интересном, например – о лете и дождях:

«Шли в *то лето* питательные дожди. Дача на Дубовой росла, расширялась от ливней, горела.

Прели огороды. Пчелы сосали загноившиеся недра цветов, дурели от сладости, обморочно висели на стеблях. Тлел полдень... Вздыхали бревна во сне, жмурилась солома. Переворачивались,

не выдерживая веса, груженные ливнем облака...» (стр. 26). Такие фразы, «живые как жизнь», можно не комментировать, они сами могут за себя постоять.

И о цитатах напоследок. Есть в книге страницы, где я млею, есть – что растрavляют мою душу. Есть, где мне не по себе, и я их очень быстро пропускаю: я в тех героях узнаю себя...

5.

Однажды я был приглашен поработать в один из журналов, в Одессу. И – высшая степень доверия – мне позволили жить прямо в редакции, в очень старом доме на Базарной. Даже помню номер: дом девятый. Как-то вечером от нечего делать позвонил я другу в Анадолю. Чтоб побахвалиться:

– Привет, я из Одессы. Все в порядке. Живу прямо в редакции журнала. Ем и пью. И прикинь, в фонтане даже сплю.

– В фонтане спишь? Ты просто охренел! А что хоть за журнал?

– Журнал «Фонтан».

По вышеуказанному адресу я ошивался с месяц и, боже, каких людей я видел в том «Фонтане»! Я снова. Голубенко, Губаря. Романа Карцева. Резо Габриадзе... Где они? Время летит так, что кажется: оно уже не летит, а телепортируется. Там же единственный раз я увидел и Ярошевского. Он уже жил в Котбусе (Германия), но в родную Одессу наезжал. Ярошевский выходил из кабинета главного редактора Хаита. Он окинул меня второстепенным взглядом. Невзрачный, я приуныл. Вот и все.

Но я его запомнил. И еще запомнил, как от счастья просто задохнулся, когда открыл его стихи и прочитал. А потом открыл и не стихи. Эта проза... Как бы поточнее объяснить. Вот, как бывает, родная собака, она в тебя уткнется мокрым носом – и ты таешь. И о чем она – уже совсем неважно. Так и здесь.

6.

Одесский пересмешник, Ярошевский великих задирает, он их, не обинуясь, передразнивает. У Мандельштама «Четвертая проза», у Ярошевского «Вторая...». Сквозь само название – «Из записок на салфетках» – проступают булгаковские «Записки на манжетах». А вот переключка со Жванецким, у которого «Надо уметь

уходить с плохого фильма. Бросать плохую книгу. Уходить от плохо человека...». Ярошевский – тему развивает: «Будьте осторожны с рептилиями. Их всегда больше, чем кажется. Они – везде...». Дальше – Гаспаров. Он и с ним на дружеской ноге. У Ярошевского в одном месте его книги: «стихи и письма, записи, записочки, описи, прописи...», в другом – «Записи, прописи, описи, выписи...». А культовая книга Михаила Гаспарова, выдержавшая несколько изданий, – «Записи и выписки», которые тоже – и вряд ли это совпадение случайно – «сплав дневниковых заметок, воспоминаний и литературно-критических эссе».

Дальше. У Олеши «Книга прощания», но разве «Записки» Ярошевского – не книга прощания? Ну и по форме – это вылитый Зозуля. Помните, у Ильфа? В тех самых, упомянутых ранее «Записных книжках»: «Зозуля пишет рассказы, короткие, как чеки»...

Шутник, пересмешник. Одессит.

7.

Есть люди, и немало, с которыми ночь обходится скверно, награждая мучительной бессонницей. Ефим Ярошевский спал хорошо. Это могло остаться фактом его личной биографии. Если бы не сны. Экзотические, неповторимые. Вещие. Которые стали свершившимся фактом его биографии уже литературной.

Иногда цитаты полезно сталкивать лбами. Вот поэт-песенник Игорь Шаферан (между прочим, тоже одессит): «Присниться – не значит еще ничего!». Ему оппонирует выходящая в «Новом литературном обозрении» и, подчеркну, в серии «Научная библиотека» книга «Советская эпоха в мемуарах, дневниках – а теперь внимание: – снах». Та же эпоха – и в снах Ярошевского. В них вкрадчивая нежность и слезы. Ирония и лукавство. Доброта, всепрощение – и ужасы жизни, в которой остаться человеком не так-то просто. Но выхода нет.

Вот, в самом начале его записок: «...это странная книга... реальность и сны». Это тема его не отпускает, и уже через полсотни страниц: «главное – это все-таки те самые таинственные «творческие сны». И один из них, кажется, апокалиптический, уже в середине его «Записок»: «Потом в комнате пошел снег. Это квартира на Дерибасовской. Снег заносит картины в доро-

гих рамках... Я задеваю случайно одну, снег осыпается, и я вижу, что холст пуст».

А вот уже из стихотворения Ярошевского: «Я корневища слов из десен сна тащил наружу». И, кажется, на эту тему уже лучше не скажешь...

8.

Слова в «Записках» подогнаны друг к другу так ладно, что «трава забвения» – между ними не пробьется. Вот, говорят, благодарная память, но кто сейчас, кроме Ярошевского, о них вспомнит? Не утопая в деталях, он дает их в нескольких штрихах, и «А вот и дирижеры» – оживают: «Одесская филармония. Те, которых я видел. Натан Рахлин! Гений, толстяк... Одиссей Димитриади, его широкий жест и темперамент... и восторг!.. Курт Зандерлинг, Западная Германия... Бешеная энергия и напор. Один день в Одессе...».

9.

«Мои спутники, мои современники». Врачи, учителя, дирижеры, поэты... Прочесывая Одессу своим безотказным неводом вдоль и поперек – вспоминать так вспоминать – он ненароком зачерпнул и их. Городских сумасшедших. И оказывается: жить с безумцами невыносимо, но их парадоксальное мышление, их особый взгляд – картина перевернутого мира, висящего, как летучие мыши, вниз головой... В общем, «когда над городом спускается туман, во мне растет тоска по сумасшедшим...» (стр. 9). И Ярошевский – ее утоляет. Вот он, город, населенный безумцами: безумный Шая (стр. 17), на стр. 42 появляется безумный Яша Шапиро, на стр. 138 возникает безумный Наум. А много раньше, на стр. 28: «Мимо ворот по мостовой... держась друг за друга, два ночных безвредных сумасшедших... Они не братья. Хотя по уму – очень даже. Они всегда вместе. Всегда вдвоем. Их нельзя разделить. «И в этом их сила», – говорит Толя» (Гланц). Все, портрет готов. Его хоть в рамочку.

Кстати, совершенно непонятно, кто есть кто. Сумасшедшие вроде они, а в голове не укладывается у нас.

И в этом – их сила.

10.

Его отношения с Украиной. Во времена потрясений это так важно: «с кем вы, мастера культуры?». «Когда-то Россия так меня мучила! Я слишком любил ее, без ответа... Довольно. Обнимаю весь мир, залитый дождями, обнимаю всю Землю! Но все равно... где-то слева болит, кровоточит Украина, моя любимая страна!» (стр. 37). Украину он любит, но взаимна ли эта любовь? Да, он сгущает краски. Да, у его находок привкус беды, ибо чаще всего приходят те, кому нечего терять. И да, это юмор висельника. Но как написано! Но какой макабрический юмор!

«...вижу на стене – текст гимна Украины... Я читаю этот текст и эти строчки вслух: «Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці...» И мой друг и вполне замечательный поэт и одессит, стоящий рядом, замечает:

– А вот это уже про нас с тобой, Фима...

И я сразу загрустил.

Хотя очень надеялся, что он шутит.

Но он не шутил» (стр. 43).

11.

Те, кто интересуется работами, выдвинутыми на литературную премию Бабеля, – несколько, пожалуй, лучших страниц из «Собрания сочинений» Ярошевского прочесть уже смогли: в прошлом году за цикл рассказов «Одесские сны» Ефим Ярошевский стал лауреатом премии, а сами рассказы тогда же были выложены на «премиальном» сайте. Теперь издана и сама книга. Вместе с теми, лучшими, рассказами. И стихами...

12.

Раньше я, неискушенный, думал так: а проза поэта – это что, стихи в прозе? Раньше – мне было простительно: я не знал творчества Ярошевского.

В «Собрании сочинений», которое не что иное, как проза поэта, – множество стихотворений. Впервые стихи Ярошевского меня прогнали еще десять лет назад, когда я прочел его «Стансы времени».

И вот наступил момент, когда они оказались вещами, ибо «Стансы» из той дальней книги, изданной в 2010-м, завершались так:

Концертная слава при жизни,
Посмертный костюм ледяной...

Смертями последнего времени я переполнен. В меня они уже не вмещаются. То, что все умирают, это-то как раз неудивительно, но чтоб все так сразу, скопом... Будто залпом! «А ты слышал?» «А ты знаешь?!» Всё, приплыли...

И вот честно, даже как-то совестно: боль утраты сразу при-тупляется. Ты начинаешь плакать об одном, умирает следующий, ты теряешься, и человек недооплакан...

Вот *присоединился к большинству* и Ефим Ярошевский. Большой поэт, он ушел 21 марта, в Международный день поэзии. Его «Собрание сочинений» вышло в свет незадолго до его ухода. Еврейское счастье – до своего бессмертия не дожить каких-то несколько дней.

13.

Чтобы поразить своих знакомых-киевлян, я назначаю им встречу у станции метро «Университет», затем везу их по эскалатору вниз к ровесницам динозавров – доисторическим улиткам. Вот они, смотрите! Срезы их раковин – навсегда в мраморе, которым подземный вестибюль облицован. С той же целью, и уже не первый месяц, я привожу знакомых в книгу Ярошевского, к его стрекозе. Изумление и прикосновение к вечности – почти такие же: «Я беру стрекозу за твердое бестрепетное крыло, с трудом отдираю ее от своей головы, смотрю в выпуклые, неземные глаза, в которых ключевой холод; она выгибает горячее длинное тело в пластинках, присасывается к самой себе... Я ее отпускаю, и она, подумав, летит в огорода. В полете я вижу, что у нее голова в скафандре».

14.

Не объять необъятного. Поэтому – что текст книги не доскажет, отчасти договаривают фотографии, помещенные специальным блоком – в центре книги. Они – как фотораздел между ее двумя частями. На старом снимке – его обстоятельные предки. Так вот какой он, вот в кого пошел... А вот он маленький, и вот – его мама...

Среди рисунков, которые там же или рассыпаны по тексту, – и работы самого автора. Он был гордым: в автопортретах себя не жалел. Неприкаянная душа, находящая утешение в слове...

Между текстом и иллюстративным материалом разночтения нет. Это – единое целое: Хрущ, Павлов, снова мама и отец. И все живые.

15.

В Одессе не все как у людей. У людей во всем мире – в полном соответствии с анекдотом про англичан (а на самом деле про евреев): «Англичане уходят, не прощаясь, а евреи – прощаются, но не уходят». А здесь, представьте, попрощались – и ушли. С Одессой всё. Но душа не умирает. Душа Одессы уходит в книги. И одна из них, очень немногих, – «Собрание сочинений. Из записок на салфетках» Ярошевского.

Тают зеркала в пустыне комнат,
Время движется к весне...
Кто нас помнит? Нас никто уже не помнит,
Дикий снег заносит нас во сне...

Киев



Содержание

| | |
|--|----|
| От редакции | 3 |
| Михаил Жванецкий Где находится любовь? | 5 |
| Юрий Михайлик Никто не прав | 8 |
| История, краеведение | |
| Андрей Добролюбский Мир гарлий и каллипидов | 16 |
| Константин Васильев Два одесских периода жизни профессора Всеволода Викторовича Стратонова | 31 |
| Виктория Коритнянская Одна из тысячи историй о войне | 43 |
| Татьяна Потапова Мы из «Солнечного» | 58 |
| Феликс Кохрихт, Михаил Пойзнер Нашему Губарю | 66 |
| Рафаэль Гругман Исхода жертвенный алтарь | 70 |
| Одесский календарь | |
| Олег Губарь Гостиница «Лондонская» | 78 |
| Проза | |
| Елена Андрейчикова Ухо | 84 |
| Алена Жукова Мадам Дубирштейн | 91 |

| | |
|---|-----|
| Анна Коренева Египетские страсти... | 104 |
| Ганна Костенко Так ніхто не кохав | 109 |
| Александра Свиридова Проце в роще | 119 |
| Виктория Петренко Записки хвостатой сосиски, или Мое собачье дело | 137 |

Поэзия

| | |
|---|-----|
| Тина Арсеньева Святочное: прямая трансляция | 164 |
| Инна Квасивка Не тревожь | 171 |
| Наталья Королева Я учусь любить людей | 175 |
| Анна Стремнинская Вот моря Черного полоска | 180 |
| Елена Палашек Мне много зим, но мало лет | 185 |

Первые шаги

| | |
|--|-----|
| Михаил Пригожев: «Я был бы рад...» | 190 |
|--|-----|

Искусство – жизнь – искусство

| | |
|---|-----|
| Евгений Деменок Валентина Маркаде | 194 |
| Ольга Танган Жена художника | 207 |
| Екатерина Пименова Одесские коллекции. Семен Верник | 222 |
| Алена Яворская «О, граждане воры...» | 227 |
| Евгений Деменок «Вот это настоящее, брат Мюллер!» | 236 |
| Леонид Нейман Амазонка еврейского авангарда | 249 |

| | |
|--|-----|
| Феликс Кохрихт Степан Рябченко: прогулки с облаком | 267 |
| Алексей Овчинников Почему в XXI веке так скучно смотреть кино? | 272 |
| Публикации | |
| Нора Гомрингер С немецкого – на украинский и русский | 278 |
| Исаак Вайншельбойм Особняк в Отраде | 283 |
| Сокровища из сокровищницы | |
| Татьяна Щурова «Ты – любовь моя!» | 302 |
| Путешествие | |
| Аркадий Рыбак Половина континента | 324 |
| Ах, Одесса | |
| Леонид Авербух Навеяно Жванецким | 334 |
| Александр Володарский Инфанта и дядя Митя | 337 |
| Эвелина Шац Сказка про букву Ё | 343 |
| Виталина Бабушак Иронические стихи | 346 |
| Виктория Коритнянская Маленькая фантазия по дороге на работу | 350 |
| Ольга Лесовикова Память улиц | 352 |
| Элана Соколова Шмаль и Шпарь | 357 |
| Издано... | |
| Евгений Голубовский Книжный развал | 362 |
| Вячеслав Верховский Дар речи Ефима Ярошевского | 367 |

Литературно-художественное издание

Дерибасовская – Ришельевская

Одесский альманах

Книга 88

Deribasovskaya – Rishelievskaya

Odessa almanac

Book 88

Издается с 2000 года

Технический редактор Геннадий Танцюра

Верстка, корректура Татьяна Коциевская

Подписано в печать 07.02.2022

Бумага офсетная РАМО SUPER 80 г/м



Печать офсетная. Гарнитура Cambria. Формат 60×84/16

Физ. печ. л. 20,75. Усл. печ. л. 19,2

Заказ № Тираж 100 экз.

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Всемирный клуб одесситов | Worldwide Club of Odessits |
| 65014 Одесса, Маразлиевская, 7 | 7 Marazlievskaya Str. 65014 Odessa |
| Украина | Ukraine |
| Тел.: +38 (048) 725-45-67 | Tel.: +38 (048) 725-45-67 |

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии «ТакиБук»

Украина Одесса, ФЛП Карпенков О.И.

Свидетельство ОД № 121 от 20.01.2003 г.

E-mail: takibook.odessa@gmail.com. Тел.: +38 (067) 486-20-34

www.takibook.od.ua